ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

2015

10

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

“НЕМЕЦКАЯ ЭССЕИСТИКА XXI ВЕКА”

РОМАН МЮРИЭЛ СПАРК “УТЕШИТЕЛИ”

НИЧЕГО СМЕШНОГО: “ТОТ САМЫЙ ВУДХАУЗ?”

Основан в 1955 году

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

denkmal, Москва

Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия

www.denkmal-moscow.com

14 - 16 октября 2015 г.

ВДНХ, павильон №75. Москва, Проспект Мира, 119

Основные разделы выставки:

- реставрация, консервация памятников истории и культуры;
- государственная и общественная деятельность по сохранению культурного наследия;
- материалы, оборудование, технологии и инструменты для реставрации, археологии, строительства;
- реставрация предметов искусства и дизайна;
- образование в сфере сохранения, реставрации и использования объектов культурного наследия;
- популяризация исторического и культурного наследия (издательская деятельность, музейная и выставочная техника и технология, пр.);
- развитие туризма.

Выставка «denkmal, Москва» проводится под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке и участии Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы.

Партнеры выставки:

ВООПИиК, Союз московских архитекторов, компания Remmers

Организаторы выставки «denkmal, Москва»:

Leipziger Messe International GmbH,
АНО «Национальная Гильдия Хранителей Наследия»

Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству.
Контакты: denkmalmoscow@gmail.com, +7 966 157 61 11
Дополнительная информация: http://www.denkmal-moscow.ru

[10]
2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Мюриэл Спарк *Утешители.* Роман. Перевод с английского В. Скороденко

129 Лео Липский *Пётрусь. Апокриф.* Микророман. Перевод с польского и вступление Владимира Окуня

190 Ингмар Хэйтце *Стихи.* Перевод с нидерландского и вступление Елены Данченко

Литературный гид: Немецкая эссеистика XXI века (Составление, перевод с немецкого Наталии Васильевой)

196 Наталия Васильева "Об чем бишь *нечто*? — обо всем"

197 Ханс Магнус Энценсбергер *Наш ласковый монстр Брюссель, или Установление опеки над Европой.* Главы из книги

212 Петер Слотердайк *Сколь безмерна безмерность Земли?*

225 Маркус Мец и Георг Зеслен *Почему свободный рынок делает нас одновременно умнее и глупее?* Глава из книги *Машины оболванивания. Массовое производство идиотизма*

230 Ханс-Ульрих Трайхель *Бездетность. Далекое настоящее музыки*

243 Мартин Вальзер *Законы человеческой термодинамики.* Фантазия

249 Луц Зайлер *"...а под ногами лежат прошедшие дни..."*

256 Ханс Магнус Энценсбергер *Что такое стихи?* Наброски словарной статьи

Ничего смешного

259 *Тот самый Вудхауз?* Стихи. Переводы с английского Елены Калявиной, Татьяны Зюликовой. Вступление Елены Калявиной

Письма из-за рубежа

266 Сергей Гандлевский *Экскурсия в Африку*

БиблиофИЛ

274 *Среди книг* с Верой Калмыковой

279 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Г. М. Кружков
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн
Януш Гловацкий
Милан Кундера
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Мюриэл Спарк

Утешители

Роман

Перевод с английского В. Скороденко

Алану и Эдвине Барнсли с любовью

Часть первая

Глава 1

В первый день отпуска Лоуренса Мандерса разбудил донесшийся снизу голос бабушки:

— Дайте-ка из непросеянной. Ко мне на неделю приехал внук, он работает на Би-би-си. Сын моей дочки, леди Мандерс. Он белого хлеба не ест, это один из его бзиков.

Лоуренс крикнул из окна:

— Бабушка, я обожаю белый хлеб, а бзиков у меня вообще нет.

Сквозь разбегающиеся морщинки она послала ему лучезарную улыбку.

— Кричит из окна, — объяснила она булочнику.

— Ты меня разбудила, — сказал Лоуренс.

© Copyright Administration Ltd., 1957
© В. Скороденко. Перевод, 2015
Журнальный вариант.

— Мой внук, — сообщила она булочнику. — Большой каравай непросеянного, и не забудьте прийти в среду.

Лоуренс посмотрелся в зеркало, произнес "Нужно вставать" и снова забрался в постель. Он дал себе еще семь минут.

По звукам, отчетливо проникавшим снизу сквозь потертые половицы, он представлял себе каждое бабушкино движение. В свои семьдесят восемь лет Луиза Джепп все делала очень медленно, но с величайшей сосредоточенностью, как порой бывает с людьми, знающими, что они подшофе. Звон стекла — пауза, звяканье — пауза: стол накрывался к завтраку. Она ходила между буфетной и жаркой кухонькой, и каблучки ее постукивали, как часы, у которых кончается завод. Шаркать она себе не позволяла.

Еще не кончив одеваться, Лоуренс вытянул из верхнего яруса высокого старомодного комода ящичек. В нем оказались разные бабушкины мелочи — она отвела Лоуренсу собственную спальню. Он насчитал три шпильки и восемь нафталиновых шариков, а еще нашел лоскуток черного бархата, расшитого гагатовым бисером. В другом ящичке он обнаружил гребень с застрявшими бабушкиными волосами и отметил, что данный предмет туалета пребывает не в самом чистом виде. Находки доставили ему своеобразное удовольствие: три шпильки, восемь нафталиновых шариков, не самый чистый гребень — вещи его бабушки, здесь, сейчас, в ее суссекском доме. Такой уж он был, Лоуренс.

— Это ненормально, — как-то сказала ему мать. — В остальном с тобой все в порядке, но ты замечаешь глупые мелочи, а это глупо.

— Такой уж я есть, — парировал Лоуренс.

Она знала, что спорить с ним бесполезно, но по привычке продолжила:

— И это неестественно. Иной раз ты видишь то, чего видеть не следует.

— Например?

Она не ответила, хотя знала, что он забирался в ее будуар и рылся в переполненном шкафчике с косметикой, перебирал и осторожно, как кошка лапкой, поглаживал крохотные флакончики, вслух называя содержимое каждого. Ей так и не удалось убедить его, что так делать нехорошо. В конце концов, он вторгается в чужую личную жизнь.

— Для тебя нехорошо, а для меня — нет, — часто говорил Лоуренс.

И его мать, Хелена Мандерс, неизменно возражала "Не вижу почему" или "Не согласна", хотя по-своему и была согласна.

Ребенком он терроризировал всех домашних, в прямом смысле глаголя истины.

"Дядя Эрнест мажется дамским питательным кремом, каждый вечер втирает в локти, чтоб были мягкие...." "Айлин наказали..." "У Джорджины Хогг на подбородке три волоса, когда она забывает их вырвать..."

Такие его выступления западали в память. Другие тирады, произнесенные на том же дыхании, слушатели встречали с радостным оживлением или с полным безразличием и тут же забывали. Например: "На площадке третьего этажа паук сплел паутину, так она провисела две недели, четыре дня и пятнадцать часов".

С возрастом он научился скрывать свои скандальные открытия, сообщая лишь о тех, что помогали упрочить его славу выдающегося наблюдателя. В те дни отец способен был заявить, просмотрев его школьный табель:

— Я всегда знал, что со временем Лоуренс избавится от этой нездоровой привычки.

— Будем надеяться, — замечала Хелена Мандерс.

Родители меняются. В те дни Лоуренс ощущал, что мать чуть ли не подозревает его в каком-то непонятном половом извращении, которого не могла ни назвать, ни представить и которым он в любом случае не страдал. Так что он успокоил ее и укрепил в мысли, что ее сын остался прежним Лоуренсом, объявив:

— Айлин ждет ребенка.

— Она добрая католичка, — возразила Хелена.

Сама она обратилась в католичество после замужества. Тем не менее, когда Айлин приперли к стене, та призналась, что это правда. Хуже того, она решительно отказалась назвать будущего отца, необходимые сведения смог предоставить Лоуренс.

— Я всегда читаю письма к Айлин, — объяснил он. — Это разнообразит каникулы.

— Ты забрался в комнату несчастной девушки и без ее ведома прочел адресованные ей письма, вот бедняжка!

— Рассказать, что пишет ее дружок? — спросил Лоуренс, поддразнивая.

— Ты прекрасно знаешь, я шокирована, — произнесла Хелена, понимая, что ее слова на него не подействуют. — Как ты, добрый католик... — да и вообще, по-моему, читать чужие письма незаконно, — сказала она, смиряясь со своим поражением.

Только затем, чтоб последнее слово осталось за ней, Лоуренс напомнил:

— Но ты же, голубушка, заставила их обвенчаться, как положено добрым католикам. Таков счастливый конец возмутительного чтения чужих писем.

— Цель не оправдывает средства.

В точку, как он и ожидал. Готовый ответ на все случаи жизни. Однако же подобные случаи помогли смягчить удар, когда мать осознала, что Лоуренс отходит — и отошел — от религии.

В ожидании Лоуренса Луиза Джепп присела за стол и стала заполнять купон футбольной лотереи.

— Спускайся, милый, — сказала она в потолок, — хватит совать нос в чужие дела.

Не успел он появиться, как она сообщила:

— Если б "Манчестер Сити" выиграл на прошлой неделе, я бы получила тридцать тысяч.

Луиза сложила лотерейный купон, засунула его под часы и все свое внимание отдала Лоуренсу с его завтраком.

Она была наполовину цыганка, младший и единственный черноволосый ребенок в семействе рыжеволосых, которое к моменту ее появления на свет жило в достатке благодаря успехам его главы на поприще торговли зерном.

Волосы у Луизы по-прежнему черные, хотя изрядно поредели. У нее глубоко посаженные черные глаза, очень маленькие руки и ноги. Она носит очки без оправы. Она все еще жива и почти не изменилась с того дня, когда Лоуренс спустился к завтраку. Тогда на ней было коричневое платье, коричневый шерстяной жакет с золочеными пуговицами, а в ушах бриллиантовые сережки.

Лоуренс оглядел ее с головы до ног — он поступал так со всеми без исключения, — потом запустил вилку в баночку и извлек нечто длинное, белое и замаринованное.

— Это что за диво?

— Рубцы, — ответила она, — пальчики оближешь.

Он привык к Луизиной стряпне — к рубцам, моллюскам, молокам и икре, к требухе, зобным и поджелудочным железам, птичьим потрошкам, к мозгам и желудкам жвачных животных. Луиза готовила их неспешно, долго и разнообразно: шпарила, шинковала, томила и варила на медленном огне; все это требовало множества кастрюлек с рассолами, бесконечных выварок, маринадов, чисток и добавлений сахарного песка. Она редко покупала нормальную вырезку или мясо на косточке и считала, что те, кто пренебрегает внутренними органами животных и моллюсками, сами не знают, что им на пользу.

— Если б ты выиграла тридцать тысяч в лотерею, что бы ты сделала? — спросил Лоуренс.

— Купила бы лодку.

— Может, интереснее купить дом? — спросил Лоуренс, неожиданно вспомнив просьбу матери: "Если подвернется возможность, ты уж уговори ее принять от нас немного денег, чтоб она могла зажить со всеми удобствами".

— Нет. Но если б выигрыш был меньше, я бы купила этот коттедж. Мистер Вебстер точно бы продал.

— Получи ты коттедж в свою полную собственность, я был бы в восторге. "Логово контрабандистов" просто премиленький домик.

Уже договаривая, Лоуренс спохватился, что выражения вроде "в свою полную собственность" и "премиленький домик" выдавали, к чему он клонит, настолько не вписывались они в бабушкин стиль.

— Знаю, к чему ты клонишь, — сказала Луиза. — Угостись сигаретой.

— У меня свои. Почему ты не позволишь отцу купить тебе коттедж? У него есть деньги.

— У меня и так все прекрасно. Закури мою, болгарскую.

Лоуренс изучил сигарету. Бабушка не устает удивлять. Снимает коттедж, а жизнь ведет старой пенсионерки.

Ее дочь Хелена часто говорила: "Одному Богу ведомо, как она живет. Но у нее, похоже, всегда всего вдоволь".

Хелена жаловалась знакомым: "Мать ни от кого не примет и пенса. Такая независимая. Протестантские добродетели, сами понимаете. Одному Богу ведомо, как она живет. Правда, она наполовину цыганка, так что без денег никогда не сидит".

— Вот как! Значит, у вас, Хелена, в жилах цыганская кровь? Надо же, а вы такая белокурая, такая романтичная. Кто бы подумал...

— Ну, время от времени кровь дает о себе знать, — обычно замечала Хелена.

Муж Луизы умер, оставив ее без гроша, и за четыре года, что прошли с его смерти, она постепенно и в мелочах проявила непостижимую способность разживаться роскошными иноземными штучками.

"Фиги Мандерса в сиропе", уже семьдесят лет известные своей торговой маркой (восточная дама, чьи формы скрыты под свободными одеждами, вожделенно устремляется к объекту своего поклонения, фиговому дереву), были единственным продуктом, который Луиза соглашалась принимать от семейства зятя.

— Передай отцу, — сказала Луиза, — что я не написала ему и не поблагодарила, потому что он весь в делах и писем не читает. Ему понравятся болгарские сигареты, у них пьянящий аромат. А *мои* фиги ему понравились?

— Уверен, что он пришел в полный восторг. Они всех нас очень развеселили.

Когда на адрес сэра Эдвина Мандерса прибыли две банки Луизиных фиг в сиропе, снабженные аккуратно надписанными карандашом ярлычками, Хелена поначалу встревожилась.

"Она что, решила пошутить, Эдвин?"

"Конечно, решила".

Хелена не могла раскусить эту шутку и написала Луизе, что фиги их всех очень развеселили.

— Они получили удовольствие? — выпытывала Луиза у Лоуренса.

— Да, чудесные были фиги.

— Значит, ты их попробовал, да?

— Вообще-то нет. Но знаю — они прямо тают во рту, так сказала мама. (Ничего подобного Хелена не говорила.)

— Поэтому я им и послала. Чтоб у них во рту таяли. Тебя угощу потом. Не представляю, что они имеют в виду — "очень развеселили". Передай отцу, что посылаю сигареты, чтоб его развеселить. Так и скажи ему, мой милый.

Лоуренс затянулся болгарской сигаретой.

— Очень крепкие, — сказал он. — Но мама всякий раз падает в обморок, стоит тебе отправить им что-нибудь дорогое. Она знает, что ты должна себе отказывать и...

У него едва не вырвались жалостливые слова матери "И у тебя каждый грош на счету", но он вовремя себя одернул: эти слова рассердили бы старую даму. К тому же они явно не отвечали действительности — бабушку окружала атмосфера достатка, в которой неизменно ощущался намек на умеренную роскошь. Даже ее странные кулинарные пристрастия, казалось, продиктованы инстинктивной тягой к экономии, а не желанием сберечь деньги.

— Хелена милая девочка, но сама себя обманывает. Я ни в чём не нуждаюсь, она и сама могла бы это заметить, если бы захотела. Ей вовсе не нужно из-за меня переживать.

Лоуренс целый день провел в своем маленьком быстроходном автомобиле, затолкав длинные ноги под панель управления. Нужно было объехать и осмотреть знакомые места и побережье, нужно было повидаться с приятелями таких же "корней" и воспитания, что и он, из тех, кого он иной раз привозил домой, чтобы похвастаться своей забавной, очаровательной бабушкой. В этот день Луиза Джепп переделала много дел. Покормила голубей и отдохнула. С довольно сосредоточенным видом она извлекла на свет буханку белого хлеба, срезала корку с одного конца, осмотрела срез, отрезала ломтик, опять осмотрела. После второго ломтя взялась за другой конец буханки — срезала корку и принялась нарезать ломти, каждый раз внимательно изучая срез. На третьем ломте она улыбнулась тому, что увидела, и, приложив отрезанные ломти к буханке, вернула ее, откуда взяла, — в жестянку с надписью ХЛЕБ.

В девять вечера вернулся Лоуренс. Гостиная в доме выходила окнами на деревню и имела форму вытянутого прямоугольника. Там он и застал бабушку и ее гостей — троих мужчин. После партии в рамми все подкреплялись Луизиными закусками, устроившись по одному у каждой стены. Один гость был в инвалидном кресле — молодой человек, на вид не старше двадцати четырех.

— Мистер Хогарт — мой внук; мой внук — мистер Вебстер; а это мистер Хогарт-*младший.* Внук работает на Би-би-си, он сын моей дочери, леди Мандерс. Вы слышали его репортажи с футбола и скачек. "Репортаж вел Лоуренс Мандерс".

— Слыхал вас в прошлую субботу, — подал голос самый старый из гостей, мистер Вебстер, почти ровесник Луизы.

— Я видел вас нынче утром, — сказал Лоуренс. — Мистер Вебстер удивленно поднял брови. — С хлебным фургончиком, — добавил Лоуренс.

— Лоуренс очень наблюдательный, у него работа такая, — сказала Луиза.

Лоуренс чувствовал, что он им не нравится, что вызывает у них подозрения.

Их присутствие у бабушки было странным и удивительным, и уже по этой причине не удивило его. Луиза разливает чай. Молодого Хогарта она называет Эндрю, его отца — Мервином, а Вебстера — мистером Вебстером.

В мистере Вебстере с его сединой, седыми усами и темной морской курткой трудно опознать утреннего посетителя — торговца хлебом в песочного цвета комбинезоне. Лоуренс был доволен собой: он установил личность мистера Вебстера, чей возраст приближался к семидесяти пяти и который, судя по голосу, был родом из Суссекса.

Мервин Хогарт был тощий и низкорослый. Кожа и волосы у него были песочно-линялого цвета. Луиза намазала ему маслом кусочек черного хлеба.

— Мервину нужно есть часто и понемногу, у него болезнь желудка, — объяснила Луиза.

Речь Хогарта старшего выдает в нем искушенного столичного жителя, одному Богу ведомо, что он делает у Луизы и откуда знает ее настолько хорошо, что она обращается к нему по имени и в курсе его желудочных недомоганий. Его сын Эндрю с пухлыми алыми губами имел коренастую фигуру и крупное лицо и носил очки. У него были парализованы ноги.

— Хорошо поездил, милый? — спросила Луиза Лоуренса, и Эндрю ему подмигнул.

Лоуренс обиделся — это было несправедливо по отношению к бабушке. Ему бы претило вступать с Эндрю в сговор против старой дамы; он взял отпуск для того, чтобы разобраться с соб-

ственными любовными делами, ему хотелось отдохнуть от сложностей, какими чревата принадлежность к особой, избранной, касте. С бабушкой ему было хорошо, и нечего перемигиваться у нее за спиной. Поэтому Лоуренс улыбнулся Эндрю, словно хотел сказать: "Я видел, что вы мне подмигнули. Решительно вас не понял. Думаю, вы имели в виду нечто приятное".

— Вы живете в здешних краях? — спросил Лоуренс Эндрю.

Отец и сын ответили одновременно:

— О, нет, — сказал Мервин;

— О, да, — сказал Эндрю.

Луиза не выдержала и, хотя губы у нее оставались плотно сжатыми, испустила носом легкое ржание, будто пони. Мистер Вебстер вздрогнул, словно это стены заговорили, и со звоном поставил чашку на блюдечко.

Хогарты поспешили исправить свой грубый промах и опять заговорили хором. Мервин:

— Ну, большей частью мы живем в Лондоне.

Эндрю:

— Я хотел сказать, что больше времени мы проводим здесь.

Отец решил поддержать версию Эндрю и вяло закончил:

— А иногда ездим за границу.

Лоуренс поглядел на часы и поспешно сказал Эндрю:

— Пойдемте выпьем. До закрытия еще минут пятнадцать.

Он сразу понял, что ляпнул совсем не то, но в ту минуту парень выглядел вполне здоровым, вовсе не инвалидом.

— Спасибо, но не сегодня. Как-нибудь в другой раз, если вы еще здесь будете, — ничуть не удивившись, ответил Эндрю.

— Лоуренс останется до конца недели, — сказала Луиза.

Лоуренс поспешил уйти. Они слышали, как он перешел дорогу и направился по деревенской улице в "Розу и корону".

— Приятный парень, — произнес мистер Вебстер.

— Да, — согласилась Луиза, — и такой умница.

— Занимательный малый, — сказал Мервин.

— Я подумал... — начал Эндрю.

— О чем, мой милый? — спросила Луиза.

— Может, нам лучше не появляться до следующей недели?

Мистер Вебстер повернулся лицом к старой даме и произнес:

— Не думал, что вы позволите вашему племяннику с нами встретиться. Насколько я понял, нынче вечером он должен был находиться в другом месте. Надеюсь, он не утратил из-за нас душевного равновесия.

— Что вы! — любезно возразила Луиза. — Он душевного равновесия не утратит, мистер Вебстер. Нынешняя молодежь лишена предрассудков.

На самом деле имелось в виду другое. Следующим высказался Мервин, закуривая болгарскую сигарету:

— Думаю, он начнет задавать вопросы. В конце-то концов, Луиза, это вполне естественно, чего еще ожидать?

— И какие же вопросы он начнет задавать?

— Он непременно... — начал Эндрю.

— Он непременно спросит, кто мы такие и что мы тут делаем, — сказал Мервин.

Мистер Вебстер с грустью воззрился на Мервина, уязвленный грубой прямотой его слов.

— Еще бы! — сказала Луиза. — Лоуренс наверняка станет обо всех вас расспрашивать. Не сыграть ли нам еще партию, господа?

Мервин поглядел на стенные часы.

— Он ведь вернется после закрытия паба? — спросил Эндрю.

Мистер Вебстер улыбнулся Луизе отеческой улыбкой.

— Время нас не торопит, — сказал он, — мы можем отложить наше дело до конца недели, если вы скажете, в какой вечер вашего внука не будет дома.

— Дело можно обсуждать и при Лоуренсе, — заметила она. — Лоуренс — милый мальчик.

— Ну еще бы, — произнес Мервин.

— Именно это мы и хотим сказать, — добавил Эндрю. — Не следует заставлять милого мальчика задаваться вопросами...

Луиза казалась слегка раздраженной — ее что-то расстраивало.

— Я-то надеялась, — сказала она, — что мы примем Лоуренса как своего. Уверяю вас — проявив осмотрительность, мы сможем обсуждать при Лоуренсе все, что нужно. Он по натуре совсем не подозрителен.

— Вот именно, осмотрительность, — произнес мистер Вебстер. — Осмотрительность, дорогая моя миссис Джепп, никогда не помешает.

Луиза наградила его теплой улыбкой, словно он понял ее если и не до конца, то лучше всех остальных.

— Я тебя понимаю, Луиза, — сказал Мервин. — Ты неспособна жить в раздельных мирах. У тебя врожденная тяга к единству, к согласованию несовместимых элементов жизненного опыта. У тебя страсть отбирать случайные жизненные явления и соединять их в единое целое. Это твой идеал, когда-то он был и моим идеалом. Реальность, однако, не желает идти навстречу идеалистам. В твои годы трудно постичь факт, который ты не имела возможности осознать, но...

— Не понимаю, о чем ты говоришь, и никогда не пойму, — заявила Луиза.

— Разумеется.

— Далеко же тебя занесло, — сказала она, но затем оживилась: — Послушай, Мервин, если ты сочтешь, что я такая уж старомодная, я пойму. Ты всегда можешь выйти из нашей компании.

Мервин успел встать, но теперь снова сел.

Она посмотрела на Мервина и мистера Вебстера, но они промолчали. Затем они поднялись. Мистер Вебстер взял ее за руку и произнес:

— Понимаете, миссис Джепп, ваш милый внучек и вправду чрезвычайно наблюдателен. Только по этой причине я и воззвал к здравому смыслу.

— Ну, от него ничего не ускользнет, — рассмеялась Луиза, — я в жизни не встречала человека, столь внимательного к мелочам. Но, видите ли, милый мальчик не способен сообразить что к чему.

— Вы хотите сказать, он не способен к аналитическому мышлению? — спросил Мервин.

— Я хочу сказать, — сказала бабушка Лоуренса, — что в некоторых делах он мог бы проявлять больше сообразительности. Но у него хватает ума преуспевать в жизни и у него чудесный характер, а это главное.

— Но если он станет задавать вопросы... — начал Эндрю.

— Станет, обязательно, — ответила Луиза.

С ней решительно не было сладу.

— Но, миссис Джепп, вы будете осмотрительны, не правда ли? — спросил мистер Вебстер.

— Мой внук не способен сообразить что к чему, у него даже два и два не всегда четыре, — изрекла она с довольным видом, так что им стало немного не по себе.

— Он уезжает в пятницу? — спросил Мервин.

— К сожалению, да.

— Тогда до вечера пятницы? — спросил Мервин.

— Да, — печально согласилась она.

— До пятницы, — попрощался Эндрю.

— Благодарю за в высшей степени приятный вечер, миссис Джепп, — произнес мистер Вебстер.

Лоуренс начал писать письмо, положив на колени книгу, а на нее — лист бумаги, поэтому Луиза принялась расчищать для него стол, приговаривая:

— Ну же, золотко, садись за стол, так будет удобней.

— Нет, я всегда пишу таким манером.

Луиза накинула белую скатерть на угол стола, расчищенный для Лоуренса.

— Когда пишешь письмо, всегда клади бумагу на белую скатерть. Так полезней для глаз — белое отражает свет. Ну же, милый, садись за стол.

Лоуренс пододвинулся к столу, не переставая писать. Минуты через две он заметил:

— Белая скатерть и вправду помогает. С ней лучше.

Луиза растянулась на кушетке у заднего оконца, где обычно отдыхала перед чаепитием, и закрыла глаза. Через несколько секунд она их открыла и сказала:

— Если пишешь матери, передай ей привет.

— Вообще-то я пишу Каролине.

— Ну, так передай привет Каролине и сообщи, что я надеюсь, ей сейчас лучше, чем было на Пасху. Как она там?

— Хандрит. Поехала отдохнуть в какое-то религиозное заведение на севере.

— Тоже мне отдых — в религиозном заведении.

— Ты права. Но это одна из маминых затей, она договаривается со своими священниками, и они организуют строительство зданий. Построив, посвящают их святым. Потом мать отправляет знакомых там пожить.

— Но ведь Каролина не католичка.

— Только что обратилась.

— То-то мне показалось, что она похудела. На тебе ее обращение отразилось?

— Ну, Каролина в известном смысле все-таки ушла от меня. По крайней мере, решила пожить в другом месте.

— Это хорошо, — заметила старая дама.

— Мы, может, еще и поженимся.

— Ну что ж, золотко, все к лучшему. Надеюсь, ты сможешь на ней жениться, и скоро. Тебя не станут делать католиком, только возьмут обещание, что детей воспитаешь в католической вере. В конце концов, нынешние дети, когда вырастут, сами решают, кем быть. И нет ничего плохого в том, что ты католик, если только сам этого захотел.

— Тут все несколько осложнилось, — сказал Лоуренс. — Бедняжке Каролине нездоровится.

— Бедняжка Каролина. Вот до чего доводит религия. Передай ей от меня сердечный привет и скажи, чтоб приезжала ко мне. Я ее тут откормлю, и, думаю, все будет в порядке.

Бабушка только что опять задремала, после того как открыла глаза и спросила про тебя, — писал Лоуренс. — При известии о твоем обращении глубокомысленно нахмурилась и стала похожа на старуху с картины Рембрандта, но быстро вернула себе прежний вид. Хочет заполучить тебя к себе и откармливать разными разностями.

Когда твой поезд отошел от юстонского перрона, у меня защемило сердце, а потом стали одолевать мысли, не отправиться ли следом, вечерним поездом. Но на станции метро "Пиккадилли-серкус" я повстречал Барона, вернулся с ним в его книжную лавку, и он по дороге отговорил меня. "Присутствие неверующего в католическом заведении выводит тамошних обитателей из равновесия, если только неверующий не собирается принимать их веру. В таких местах заверяют, что охотно принимают неверующих, но, если вы туда отправитесь только затем, чтоб повидать Каролину, это их расстроит, и вам там не обрадуются. Хуже того, еще и Каролину не взлюбят — за то, что вы явно предпочитаете ее, а не веру". Вот я и решил — глупо являться в дом непрошеным гостем, как получилось так получилось и жалеть об этом не стоит.

Я не мог заставить себя вернуться в нашу квартиру и отправился в Хампстед. Мамы не застал, отец был дома. Он обронил фразу, которая меня не на шутку встревожила. Видимо, в заведении, где ты гостишь, проживает женщина по фамилии Хогг. Она там вроде как управительница. На это место ее устроила мама. Непонятно зачем. Мы все ее не выносим. Поэтому всегда лезем вон из кожи, лишь бы ей угодить. Это та самая Джорджина Хогг, про которую я тебе, кажется, рассказывал. Она была у нас вроде бонны до того, как мы пошли в школу. Она вышла замуж, но муж сбежал от нее, бедолага. И не удивительно. Мы его жалели. Она страдает хронической правотой и подвергает окружающих моральному шантажу. Маму заедает совесть — из-за нее, вернее, из-за того, что она люто ее ненавидит и страшно боится, но не желает это признать. Отец называет ее Мандерсовой Мучительницей. На самом-то деле она, конечно, безобидна, если не подпускать ее слишком близко. По-моему, я могу управляться с этой женщиной, по крайней мере, мог в свое время. Но лучше всего, милая, ее избегать. Надеюсь, ты с ней не встретишься. Я поругался с мамой, это ведь она сдуру отправила тебя туда, где служит Джорджина, да еще когда ты себя неважно чувствуешь. Вид у мамы был немного виноватый, но она заявила: "Ну, Каролина поставит Джорджину на место". От всей души надеюсь, что поставишь. Если она начнет действовать тебе на нервы, немедленно уезжай и направляйся сюда, тут тебя раскормят. Тут у нас такое творится!

Я приехал вечером в воскресенье. Моя крошка-бабушка — великая женщина, я всегда это знал. Я такое обнаружил! Она возглавляет *шайку*. Чем они занимаются — решительно не представляю, можно подумать, это шпионы-коммунисты. Трое мужчин. Отец и сын. Сын — калека, бедный парнишка. У отца вид явно manqué[1]. Третий — довольно милый, смахивает на моряка торгового флота, да-

1. Здесь: неудачник (*франц.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

леко не первой молодости. Питает к бабушке нежные чувства. Он хозяин местной пекарни и сам развозит клиентам хлеб.

Не знаю, насколько основательно замешана бабушка в дела шайки, но она у них точно главная. У нее водятся немалые деньги, по-моему, она забирает пенсию лишь для того, чтобы не вызывать подозрений. Представляешь, где она хранит капитал? В *хлебе*. Засовывает бриллианты в хлеб. Я не преувеличиваю. Я обнаружил буханку, непонятно зачем нарезанную с обоих концов, и с одного конца в ней были спрятаны алмазы. Самые настоящие. Я сперва не понял, что это такое, и осторожненько выковырил один из камушков. Без драгоценной оправы бриллианты смотрятся совсем по-другому. Когда я увидел, что это такое, я засунул камень на прежнее место. Бабушка, конечно, не знает, что я в курсе. Правда, она прелесть? Интересно, что у них за дельце? На самом-то деле я, конечно, не считаю их шпионами, но они занимаются чем-то подозрительным. Соль в том, что не они используют бабушку, а она у них верховодит. Главное, чтобы это не дошло до мамы, так что, любовь моя, следи за каждым своим словом.

Я собираюсь все выяснить, даже если для этого придется задержаться еще на неделю и испортить себе Рождество. Я начал составлять досье.

Если у тебя появятся какие-то мысли, сообщи. Лично я считаю, что бабушка переживает свой звездный час, но у нее могут возникнуть проблемы, если мужчин поймают. Я даже отдаленно не представляю, на чем именно. Возможно, они крадут драгоценности, но это плохо вяжется с образом старого морского волка. С бабушкой-то вяжется все что угодно.

Она на людях называет их, как могла бы называть ветреная красотка из Сохо, — моя шайка. Говорит, что они приходят играть в карты. Я на днях познакомился с ними здесь, у бабушки, и с той поры начал шпионить. Мечтаю, чтобы ты приехала на несколько дней и помогла мне сообразить что к чему, как выражается бабушка. Надеюсь, в Святой Филомене ты не заработала нервный срыв. Уж поверь мне, в Англии к католикам нужно подходить с большой разборчивостью, ошибешься — недолго и чокнуться. Мама знает, что напрасно тебя туда отправила. А все ее неодолимая страсть основывать "центры" и заселять их постояльцами. Отец готов ручаться, что она положит начало новой секте.

Завтра жду от тебя письма. Мне не терпится прочесть, что миссис Хогг у тебя под контролем. В определенном смысле было бы забавно, если б вы с ней схлестнулись. Хотел бы я на это посмотреть. Но так, чтобы меня не увидели.

Луиза открыла глаза и сказала:
— Миленький, поставь чайник.
Лоуренс положил ручку и спросил:

— Как ты думаешь, кто заправляет в религиозном заведении, куда отправилась Каролина?

— Кто, милый?

— Миссис Хогг.

— Она?! Я думала, там монастырь.

— Нет, всего только центр. Джорджина у них экономка или вроде того.

— Твоя мать знает?

— Да, она ее туда и устроила.

— По-моему, у Хелены с головой не в порядке, — сказала Луиза.

— Миссис Хогг! Ты только представь, бабушка, как она подбирается к Каролине.

— Миссис Хогг, — повторила Луиза, словно никогда не слышала этого имени. — Миссис Хогг. Что ж, Каролина задаст ей перца.

Лоуренс пошел в буфетную налить в чайник воды и прокричал оттуда:

— Ты давно ее не встречала?

Бабушка не ответила, но, когда он вернулся и поставил чайник на почерневшую угольную плиту, заявила:

— Я не встречала ее очень давно. Несколько месяцев назад твоя мать мне написала и предложила пригласить Джорджину Хогг в компаньонки.

Лоуренс хихикнул.

— Полагаю, ты ответила решительным "нет".

— Я ответила, что не желаю пускать в мой дом эту гадюку даже на пять секунд. Из-за таких, как она, и не любят католиков.

Лоуренс снова взял ручку.

— Мне отвратительна эта женщина, — сказала Луиза.

Теперь бабушка не спит, — писал Лоуренс, — и излагает свое мнение о матушке Хогг. Назвала ее гадюкой. Мне даже жалко старуху Хогг — она всем неприятна. По правде сказать, чтобы ее оценить, нужно ее основательно распробовать.

— Предупреди Каролину, — подала голос Луиза, — чтобы она была поосторожнее с миссис Хогг. Предупреди, что та опасна.

— Уже предупредил, — ответил Лоуренс.

Глава 2

Шторм, достаточно сильный, чтобы запереть суда в устье Мерси, продвинулся достаточно далеко вглубь острова, чтобы не дать Каролине Роуз выйти на улицу. Она мерила шагами

бледно-зеленые коридоры. Не для моциона, а чтобы поразмышлять. Зеленые коридоры как площадка для размышлений. Паломнический центр Святой Филомены.

— Совершаете моцион.

К ней прилепилась несносная миссис Хогг. Совершаете моцион. Не вопрос — утверждение.

— И вам одиноко, — сказала миссис Хогг со своей особой улыбочкой.

Моцион. Одиноко. Каролина не стала отвечать. Безупречная маленькая мысль, что начала было оформляться у нее в голове, превратилась в туман. Ладно, отдаю себя на съедение. Смирись с судьбой. Рим сказал[1].

— В другой раз вам не стоит искать здесь затворничества, — сказала миссис Хогг. — Нужно приехать сюда летом вместе с большой группой паломников на один из больших Праздников.

— Правда? — спросила Каролина.

— Да, — сказала миссис Хогг. — Именно так. Кстати, называйте меня, пожалуйста, Джорджиной. А я буду звать вас Каролиной. Иногда нам приходится принимать в этих стенах до ста тридцати паломников. А таких, кто приезжает без ночевки, — так целые тысячи. Сэр Эдвин, леди Мандерс и отец Ингрид сами не понимали, что затеяли, когда брались за Святую Филомену. Вы должны познакомиться с Мандерсами.

— Я с ними знакома, — сказала Каролина.

— О, вот как. Это не они вас обратили? Они постоянно кого-то обращают.

— Куда обращают? — спросила Каролина, на которую нашло непреодолимое упрямство. Она произнесла про себя свое тайное заклинание: "Будь ты проклята. Приговариваю тебя гореть в вечном огне. Тебе капут, считай, что конец. Ты, милочка, получила свое". Выразительней, а, стало быть, больше тешит душу, чем простое "Пошла к черту", и срабатывает почти так же, как "Пиф-паф, ты убит!" в устах малыша.

— В веру, куда ж еще, — ответила миссис Хогг.

За три дня в Святой Филомене Каролина успела наглядеться на миссис Хогг. В первый же вечер она невольно подслушала ее слова:

— Здесь чего дают, то и ешьте. Иногда нам приходится принимать до ста тридцати паломников. Если все они разом потребуют чаю без молока...

1. "Рим сказал — и дело кончено" — знаменитая формула разделения христианской церкви на католическую и православную.

Ее жертва — выздоравливающий от алкоголизма молодой адвокат — возразил:

— Но я всего лишь попросил не наливать мне в чай молока.

— Неважно, чего вы просите, важно, чего вам дают.

Потом все сидели в трапезной за натертым дубовым столом и в молчании поглощали жирный ужин, воплощающий монастырский уклад Святой Филомены. Челюсти едоков бесшумно работали в четком ритме: жуй-пауза-жуй-пауза-глотай-пауза-жуй. Сестра из соседнего монастыря читала вслух "святой текст", предписанный для трапез. Каролина узнала Послание апостола Иоанна. Она слушала, уперев взгляд в белую блузу сидящей напротив миссис Хогг. Вскоре ее мысли переключились на миссис Хогг и недавние пререкания о чае. Она начала внимательно ее разглядывать: костлявое лицо, коротко подстриженные седые волосы, ресницы отсутствуют, очки без оправы, маленький жирный нос, кончик которого дергался при жевании, неимоверно тонкая шея и чудовищный бюст. Каролина осознала, что уже какое-то время не сводит глаз с грудей миссис Хогг, и в тот же миг поняла, что под хлопковой блузой соски выпирают темными пятнами. Судя по всему, на женщине не было лифчика. Каролина поспешно отвела взгляд — ее затошнило от этого зрелища, поскольку сама она была чопорной и ее плотские грехи отличались неизменной утонченностью.

То был первый вечер.

Теперь же шел третий день. В конце длинного коридора они свернули. Каролина глянула на часики. Миссис Хогг не отставала.

— Вас обратили Мандерсы. Они вечно кого-нибудь обращают.

— Нет. Меня, по крайней мере, они не обратили.

— Мандерсы — очень хорошие люди, — заявила, словно защищая их, миссис Хогг.

— Милейшие.

— Очень хорошие, — стояла на своем миссис Хогг.

— Не спорю, — согласилась Каролина.

— Тут и спорить не о чем. Почему же вы стали католичкой?

— По многим причинам, — ответила Каролина. — Их не так-то легко назвать, так что не будем обсуждать их.

— М-м... ваш тип мне знаком, — заявила миссис Хогг, — я распознала его в первый же вечер. Во многом вы все еще протестантка. Придется вам от этого избавляться. Вы относитесь к необщительной породе людей, а католики — люди очень общительные. Почему вы не хотите говорить о своем обращении? Обращение — это замечательно. Не говорить о нем — это не по-католически.

Старушенция была в своем роде занятным созданием. У Каролины словно камень свалился с души. Она хихикнула и снова глянула на часики.

— Мне пора.

— Благодарение начнется только в три часа.

— Но я приехала сюда за отдыхом и покоем.

— Но вы же не на реколлекции.

— Напротив, представьте, именно что на реколлекции.

Каролина ощущала нервное напряжение пополам с тайным удовольствием и решила уступить. Уделить миссис Хогг еще десять минут. Дождь внезапно забарабанил по окнам в полную силу. Каролина со снисходительным терпением обратилась к своей собеседнице:

— Расскажите о себе, миссис Хогг.

Миссис Хогг недавно назначили Администратором по обслуживанию.

— Когда б не Вера, мне бы с работой не справиться. С шести утра до двух часов на ногах, потом в три, потом два часа перерыва до ужина, а там уже надо думать о завтраке. А сколько испытаний выпадает на мою долю! Тот молодой адвокат, с каким вы подружились, мне недавно сказал: “Я не пью чай с молоком”. Вы его слышали? Иногда нам приходится принимать до ста тридцати человек. И если эти сто тридцать потребуют чаю без молока...

— Ну, это же довольно просто устроить.

— А если каждый паломник потребует чего-то другого?

— Все разом? — спросила Каролина.

На лице миссис Хогг появилось такое выражение, что Каролина подумала: “Ее осенило, что я враг Веры”.

Однако миссис Хогг взяла себя в руки: ее внутренний механизм был настроен на разговор.

— Расскажу вам, как я здесь оказалась, — это чудо.

Но у Каролины снова переменилось настроение. Утонченная выдержка уступила место стеснению в груди — щемящей боли от близости чего-то гнусного и непереносимого. Ее внезапно охватило острое желание почистить зубы.

“Ох, уж эти чокнутые с их чудесами, — подумала она. — Ненавижу женщин, но из них больше всех — миссис Хогг. Опять у меня нервы на взводе. Очень важно выдержать несколько следующих бесконечных минут. Нужно следить за своими словами. Оставаться безучастной. Ни в коем случае не позволить себе сорваться”.

— Значит, так, — приступила миссис Хогг, — я никак не могла решить, ехать или нет в Бристоль к одной женщине, которая собралась рожать дома, я ведь, знаете ли, дипломированная акушерка, хотя большей частью мне доводится служить

гувернанткой. Я все колебалась, то ли подрядиться на это дело в Бристоле, то ли занять постоянное место на севере у одной глухой леди. А тут утром во вторник приходит письмо, что у дамы из Бристоля начались осложнения и ей пришлось лечь в больницу, там и будет рожать. Ее муж прислал мне недельное жалованье. А после обеда приходит другое письмо из другого места. Глухая леди скончалась. И осталась я без работы. Тогда я обратилась к Деве Марии: "Что мне теперь делать?" А Дева Мария ответила: "Возвращайся в Святую Филомену и подумай над этим".

— Вы действительно слышали голос? — осведомилась Каролина.

— Голос?

— Ну, когда вы сказали "Дева Мария ответила", вы имели в виду, что она обратилась к вам вслух?

— Нет, конечно. Но Дева Мария всегда ко мне так обращается. Я спрашиваю — она отвечает.

— Как же вы тогда слышите ее ответы?

— Ко мне приходят слова, но вы, понятно, об этом мало что знаете. Тут нужен опыт духовной жизни.

— Откуда вы знаете, что слова исходят от Богородицы? — упорно добивалась ответа Каролина. Миссис Хогг вздернула верхнюю губу в непристойной улыбке. Каролина подумала: "Ей хотелось бы исступленно убивать меня в какой-нибудь долгой ритуальной оргии; она видит, что я худая, костлявая, острая на язык и люблю задавать вопросы; она видит, что я отъявленная правдолюбка; она видит, что я красива и хорошо одеваюсь. Возможно, она улавливает мою слабость, мое отвращение к человеческой плоти, когда тело берет верх над разумом.

— Я знаю, что это были слова Девы Марии, потому как они потом подтвердились, — продолжала миссис Хогг. — Я приехала в Святую Филомену и встретила леди Мандерс, она как раз была здесь в это время. Я объяснила ей про мое положение, и она сказала: "А ведь здесь для вас и впрямь найдется работа, если захотите попробовать. Мы собираемся распроститься с Администратором по обслуживанию, ей не хватает сил справляться с работой. Работа тяжелая, но Пресвятая Дева вам поможет". Меня взяли с испытательным сроком на месяц. Это было осенью, и уж как мне работа нравится — сказать не могу.

— Это было чудо, — заметила Каролина.

— Чудо, и самое настоящее. Что я приехала в то самое время, когда леди Мандерс захотела обновить персонал. И работа мне не в тягость — помогает Дева Мария. Когда кухонная прислуга начинает ворчать, я им говорю: "За вас поработает Дева Мария". И она работает.

— Значит, им и не нужно работать, — произнесла Каролина.

— Послушайте меня, Каролина, — сказала миссис Хогг. — Вам нужно поговорить со священником. Вы не понимаете толком католической веры. Вам нужно поговорить с отцом Ингридом.

— Тут вы ошибаетесь, — возразила Каролина. — Я как-то слышала его проповедь. Мне хватило и одного раза. А теперь мне пора.

Она пришла к себе в комнату и принялась методично, не спеша упаковывать вещи.

"Я прекрасно укладываю чемоданы, — сказала она себе, мысленно составив эту фразу, чтобы закрыть доступ другим словам, другим мыслям, что так и лезли в голову. Три дня в Святой Филомене прямо-таки взывали об описании, но она не давала себе воли, забивала мысли бормотанием: 'Туфли туда. Книги сюда. Футляр с гребенками в тот угол. Блузки кладем на постель. Рукава складываем. Вот так. Еще раз складываем. Это туда, это сюда. Грелка.Плотно. Вещь к вещи. Распятие обернуто в вату. Брошюра Общества католической истины для чтения в поезде. Я делаю то, что делаю'".

Таким путем она полчаса удерживала Святую Филомену под контролем. Этот способ она около года тому назад разработала в читальном зале библиотеки Британского музея, когда ее разум напоминал ночь Гая Фокса: мысли петардами разлетались во все стороны, а в центре черные фигурки ряженых скакали вокруг пылающей груды хлама.

Каролина вошла в купе и села, забросив чемодан на полку. Боль в голове утихала, и Каролина принялась размышлять. "Есть ли у меня оправдания? Есть, черт возьми, и немалые". Вдумчиво и целенаправленно она начала вспоминать Святую Филомену.

На второй вечер она присоединилась к другим постояльцам в комнате отдыха и подумала: "Не забыть бы, здесь их нужно именовать паломниками". Она уже один раз попала впросак, назвав их постояльцами.

Как бы то ни было, их было восемь, не считая Каролины. Она сидела как вкопанная в поезде, который вез ее в Лондон, и по одному вызывала их перед своим мысленным взором.

В тот вечер она лишь урывками поглядывала на своих товарищей, но теперь, вспоминая о них, она заглядывала им в глаза, рассматривала одежду, изучала даже кожу на лицах.

В ее памяти они возникали сначала поодиночке, затем сидящими полукругом перед камином; среди них она видела и саму себя.

В тот вечер в группе обсуждали, как в Англии третируют католиков. Это было излюбленной темой их разговоров.

— Вы только представьте, в местечке, где живет моя мать, католиков не берут на работу в общественном транспорте.

— Ни одному ребенку из католиков не дали стипендии...

Общеизвестно, поведала полная цветущая дама из Западной Ирландии, что католиков не принимают в Кембридж.

— О нет, неправда, — мгновенно возразила Каролина.

— Там делают все возможное, чтобы изолировать католиков, — продолжала дама из Западной Ирландии.

— Не замечала, — сказала Каролина.

Молодой адвокат с ней согласился, но его свидетельство не вызвало доверия. Ирландская дама громко шепнула соседке:

— Бедный парень лечится от алкоголизма.

— Разумеется, — добавил адвокат, — в определенных кругах всегда имеется предубеждение.

Это восстановило его репутацию в глазах собравшихся.

По мере того как множился список злодеяний, дама из Западной Ирландии безостановочно приставала к Каролине:

— Что вы об этом скажете?.. Вот ужас-то... Как вы это находите?

— Я нахожу это странным, — ответила Каролина, вставая.

Все это время миссис Хогг было и видно, и слышно. Она, в свою очередь, вставляла острые замечания, знала, что такое преследования, и часто награждала Каролину подозрительным взглядом.

Вспоминая эту сцену, Каролина возвратилась памятью к другому похожему сборищу у камина — ее еврейской родни и их знакомых, все они давно стали достоянием ее прошлого. Они вновь возникли перед ее мысленным взором: устроившись полукругом, они предавались разнузданному смакованию выдуманных страданий: “Предрассудки!”, “...оскорбление чистейшей воды!”. Католики и евреи, подумалось Каролине: богоизбранные, влюбленные в трагический образ самих себя. А трагический лишь потому, что вызывает смех. Каролина подумала, что неплохо бы дернуть стоп-кран и остановить поезд, чтобы стереть эти воспоминания. Но стоило ей подумать об этом, как она поняла, что определенно этого не сделает.

Однако в собственной жажде страдания Каролина намертво вцепилась в образы двух миров — того, что оставила много лет тому назад, и того, в который вошла совсем недавно. Она дергала и перебирала в кармане четки, пережевывая в острых, как зубы, мыслях воспоминание о рассевшихся перед камином лжемучениках, об их чудовищной несообразности по сравнению с мучениками истинными... оскорбительной несообразности.

Только в вагоне-ресторане Каролина снова вернулась мыслями к Джорджине Хогг. Эта женщина застряла у нее в голове, как комок в пищеводе, который не срыгнуть и не проглотить. До Каролины внезапно дошло, что она поедает свой ленч и одновременно вспоминает о трапезах в Святой Филомене, о том, как миссис Хогг жует в одном ритме с хорошо поставленными модуляциями голоса сестры-монахини, читающей Святое Писание: “Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога... Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец... И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего”.

Каролина подумала: “Требования христианской религии чудовищно непомерны. Христиане, которые не понимают этого с самого начала, лишены истинной веры. Они нечестны, их наставники говорят как во сне. ‘Будем любить друг друга... возлюбленные, братия мои... брат ваш, ближние, любовь, любить, любви’, — они хоть понимают смысл собственных слов?”

Покончив с ленчем, Каролина осознала, что у нее раскалывается голова и перед глазами стоит миссис Хогг. Этим мечтательным трепачам на тему любви приходилось хоть раз сталкиваться лицом к лицу с миссис Хогг? Возвратившись в свое купе, она начала размышлять о том, что миссис Хогг может легко превратиться в наваждение, в демона плотского ханжества, которое овладевало ею всякий раз, как она оказывалась в компании католиков или евреев, предающихся своим извращенным общинным утехам. Она стала думать о своей лондонской жизни, о работе, о Лоуренсе, которому должна отправить телеграмму. Его позабавит ее рассказ о Святой Филомене. Она похихикала, ее потянуло в сон, и, угнездившись в своем уголке, она заснула.

Глава 3

Отправив письмо, Лоуренс возвратился в коттедж, и бабушка вручила ему телеграмму.

Он прочитал и сказал:

— От Каролины. Она вернулась в Лондон.

— Странно, но я как чувствовала, что телеграмма от Каролины. — Луиза частенько, хотя и в слабой форме, демонстрировала цыганские парапсихологические способности. — Жалко, что ты успел отправить письмо в Ливерпуль.

Снова собравшись на почту звонить Каролине, Лоуренс спросил в дверях:

— Не пригласить ли ее погостить?

— Да, разумеется, — ответила Луиза с легким кивком — облегченной имитацией царственного жеста. В детстве Лоуренс часто от нее слышал: "Не отвечай просто 'Да', говори 'Да, разумеется', так всегда отвечала королева Мария". — Откуда ты знаешь, бабушка? — Мне рассказывал один человек. — И ты ему поверила? — О да, разумеется.

— Передай Каролине, — крикнула Луиза ему вдогонку, — что у меня для нее черносмородиновое варенье. — Этим она давала Лоуренсу понять, что и вправду желает приезда Каролины.

— Хорошо, передам.

— И попроси на почте вернуть тебе письмо. Теперь бессмысленно засылать его в Ливерпуль.

Номер Каролины был занят. Небо очистилось, и лучи низкого осеннего солнца оживили сельский пейзаж. Лоуренс решил пройтись до Лэдл-Сэндса — полчаса ходу — и оттуда опять позвонить, к тому времени и пабы откроются. Ему не терпелось поговорить с Каролиной. Его желание заинтересовать ее и вовлечь в разгадку бабушкиной тайны само по себе было почти что исполнением другого, более острого, желания — сохранить непрерывный характер их с Каролиной близости.

Но в тот вечер Лоуренсу не суждено было с нею поговорить. Он все настойчивее втолковывал телефонисткам, что ему надо срочно дозвониться; телефонистки, в свою очередь, продолжали обреченно и тупо твердить в ответ, что телефон не в порядке, о чем уже доложено на линию.

Незадолго до полуночи телефон подозвал Каролину необычным дребезжанием.

— У вас снята трубка. Мы пытались соединить вас с Сассексом, — произнес весьма раздраженный голос.

— Трубка на месте, — возразила Каролина.

— Значит, ее неправильно положили. Положите, пожалуйста, правильно.

— А вызов? Вы меня соедините?

— Нет. Звонивший уже ушел.

"Ничего, перезвонит утром", — подумала Каролина. Она лежала на диване и смотрела в ночное небо за балконом — задернуть занавески у нее не было сил. Ее согревала мысль о том, что Лоуренс недалеко и хочет с нею поговорить. Она могла на него положиться — он будет на ее стороне, если ее поспешный отъезд из Святой Филомены вызовет у Хелены неудовольствие. Но вообще-то она не думала, что Хелена обидится.

В этот миг она услышала треск пишущей машинки. Он, казалось, шел из-за стены слева. Машинка смолкла, и тут же не-

кий голос повторил собственные мысли Каролины: *Но вообще-то она не думала, что Хелена обидится.*

Возникло впечатление, что голосов было несколько: это был речитатив, пение в унисон. Голоса эхом накладывались один на другой. Каролина вскочила и бросилась к двери. Ни на площадке, ни на лестнице никого не было. Она вернулась в комнату и закрыла дверь. Было тихо. Стена, за которой раздавался треск машинки, отделяла комнату от площадки второго этажа. Дом, бывший особняк, был разделен на квартиры. Квартира Каролины занимала весь второй этаж. Она не сомневалась, что звуки доносились со стороны лестничной площадки. Каролина исследовала свое крохотное жилище. Стена напротив отделяла комнату от ванной и кухни. Там все было тихо. Она вышла на балкон, с которого открывался панорамный вид на Куинз-Гейт. По улице прошли, громко стуча каблуками, два гвардейца и свернули на Кромвель-роуд. На соседних балконах было темно и пусто. Каролина вернулась в комнату, закрыла окна и задернула занавески.

Она ломала голову: пишущая машинка и хор голосов в столь поздний час — что бы это значило? Но по-настоящему ее волновало другое: прозвучавшие слова в точности повторили ее собственные мысли.

Тут все началось заново. Тюк-тюкити-тюк: машинка. И те же голоса. Каролина выскочила на площадку, потому что почти не сомневалась — голоса доносились оттуда. На площадке никого не было. Пение настигло ее уже в комнате — в точности ее же словами:

Каролина ломала голову: пишущая машинка и хор голосов в столь поздний час – что бы это значило? Но по-настоящему ее волновало другое: прозвучавшие слова в точности повторили ее собственные мысли.

И снова машинка: тюк-тюк-тюк. Каролина застыла как вкопанная.

— Господи! — вырвалось у нее. — Я схожу с ума?

Не успела она это произнести, как слова и звук собственного голоса включили в ее сознании твердое желание сохранить рассудок. Ее приковала фраза “Каролина ломала голову”. И Каролина мгновенно, при том что испытала страшное потрясение, начала обдумывать две возможности: чем было услышанное — реальностью или обманом чувств? Ее приводила в ужас мысль, что ее преследуют люди — духи или живые существа, — создания, которые читают ее мысли и, чего доброго могут проникнуть в святая святых ее сердца; но другая возможность была еще чудовищней, не оставляла надежд и внушала еще больший страх. Она боялась, что эти звуки, такие реальные, словно раздавались за стеной, были наважде-

нием, порожденным ее собственным разумом. Следующие полчаса Каролина просидела в страхе и оцепенении, не зная, что делать. Ее била дрожь, она была смертельно напугана, правда, не до слепого ужаса.

Тюк-клик-тюк. Опять голоса: *Ее била дрожь, она была смертельно напугана, правда, не до слепого ужаса.*

— Господи! Да кто же там?

Хотя она вполне резонно решила, что эти звуки никак не могли исходить от кого-нибудь из обитателей дома, она, тем не менее, стоило ей опять услышать голоса так ясно, прямо за стеной, вскочила и принялась искать по всей квартире, даже под низеньким диваном, где человеку не спрятаться, даже в стенном шкафчике, где был газовый счетчик. Эти действия несколько притупили панику. Она, конечно, понимала, что так ей не обнаружить своих мучителей, но все же отдавалась поискам с лихорадочным рвением — передвигала мебель, хлопала дверями и дверцами. Она допускала все, даже самое невероятное, например, что звуки мог издавать какой-нибудь крохотный предмет вроде коробочки с упрятанным в ней механизмом, который управляется на расстоянии. Исходя из таких предположений, она тщательно разглядывала каждый предмет, чтобы не пропустить что-нибудь необычное.

Внезапно в потолок застучали. Каролина вылетела из квартиры и включила свет на площадке.

— Кто там? — крикнула она в пролет лестницы, задрав голову. — Кто это?

Поглядев вверх, Каролина увидала наклонившуюся через перила женщину; на лицо ей падали длинные пряди седых волос, свободная белая одежда проглядывала между балясин. Каролина завизжала, прежде чем узнала обитательницу верхней квартиры.

— Вы пьяны? — вполголоса спросила сердитая жиличка. — Вы уже целый час грохочете, двигаете мебель, хлопаете дверями. Я глаз не могла сомкнуть, а утром мне идти на службу.

На третьем этаже открылась еще одна дверь и мужской голос спросил:

— Что случилось? Я слышал женский крик.

Жилица — она была в ночной рубашке — мигом нырнула в свою квартиру и закончила тираду, выставив голову в приоткрытую дверь:

— Это все молодая женщина этажом ниже. Она уже целый час как шумит. Вы слышали шум?

— Что я несомненно слышал, так это крик, — ответил мужской голос.

Каролина взбежала на несколько ступенек, чтобы увидеть жилицу за лестничным изгибом.

– Я жутко испугалась, увидев вас, – объяснила она. – Это вы стучали?

– Конечно, я, – ответила женщина. – Утром я на вас пожалуюсь.

– Это вы печатали на машинке? – продолжала Каролина. Она чувствовала себя беспомощной и слабой: – Я слышала стук машинки и голоса.

– Вы сумасшедшая! – заявила женщина, втянула голову и захлопнула дверь. Молодой человек тоже удалился в свою квартиру.

Каролина вернулась к себе и, спеша и оглядываясь, принялась собирать чемоданчик. Она задавалась вопросом, где провести остаток ночи. Гостиничный номер на одного решительно исключался, нужно было искать приют в знакомом доме у знакомых людей. Она суетилась, лихорадочно хватая нужные вещи, словно ждала, что в любую секунду спрятанная в каждом предмете невидимая рука сомкнется у нее на запястье и не даст забрать вещь. Она старалась по возможности не шуметь, однако из-за нервного возбуждения налетала на мебель и перевернула стеклянное блюдо. Для защиты от шума, который сама же производила, она напрягла носоглотку, так что в ушах словно зазвучал шелест ветра, он перекрывал звук шагов и приглушал все остальные шумы.

Каролина нажала на крышку чемоданчика. Она решила, где ночевать. У Барона. Он не спит или хотя бы доступен в любой час суток.

Пальто – шляпа – сумочка – чемоданчик. Подхватив их, Каролина вылетела на площадку, громко хлопнув за собой дверью. Она сбежала по лестнице, стуча каблуками, и выскочила на улицу, захлопнув парадную дверь. В конце Куинз-Гейт поймала такси, свернувшее с Олд-Бромптон-роуд, и отгородила себя от мира, вновь хлопнув дверцей.

– Это часто бывает, – произнес Уилли Сток. – У вас перенапряжение мозга.

Так изрек Барон. Он стоял у электрического камина, мерцающего искусственными угольками, и потягивал “Кюрасао”.

Каролина отпила из своей рюмки. Она свернулась на диване и плакала. Впитывая тепло искусственного огня и ликера, она испытывала к Барону теплую благодарность. Он уже целый час объяснял ей ее психическое состояние. Ее утешали не его объяснения, но его знакомое лицо, ограниченность его мыслей и сама реальность его теплой квартиры и бутылки “Кюрасао”.

Впервые в жизни она почувствовала, что Уилли Сток — ее старый друг. Отнеся его к категории старых друзей, она могла с чистой совестью искать у него защиты. Ибо Барон принадлежал к одному из полусветских кругов в прошлом Каролины. К тому, с которым она постепенно прощалась. К обществу, которое она полузабыла и теперь решительно порицала. Она уже больше года не встречалась с Бароном, но Лоуренс поддерживал с ним отношения и порой упоминал его в разговоре, и сейчас это укрепляло Каролину в убежденности, что она находится в обществе старого друга. А до утра старый друг с его защитой был ей ох как нужен.

— Элеонора сейчас на гастролях, — заметил он.

— Знаю, Лоуренс получил от нее открытку.

Элеонора Хогарт была любовницей Барона.

— Вот как? — сказал Барон. — Когда именно?

— Еще на прошлой неделе. Он просто упомянул про это.

Его называли Бароном, потому что он сам называл себя Барон Сток. Каролина не знала, где именно получил он свой аристократический титул, да никто этого и не выяснял. Однако она, в отличие от некоторых, была уверена, что он не самозванец. Родом он был из Бельгийского Конго, много поездил по Ближнему Востоку, пожил в Европе и, наконец, осел в Англии и принял британское подданство. Это произошло пятнадцать лет тому назад, и теперь ему было под пятьдесят.

Барон открыл на Чаринг-Кросс-роуд книжную лавку, из тех, что ориентируются исключительно на интеллектуального покупателя. “Интеллектуального”, — произносил Барон. “Разумеется, в Англии нет интеллектуалов”, — любил повторять он.

Каролина лежала в темной комнате на застеленном диване-кровати. Барон удалился, как только часы пробили четыре. Плакать она перестала. На всякий случай Барон оставил на стуле у дивана пузырек с таблетками аспирина. Каролина потянулась за пузырьком, отвинтила пробку и извлекла, как рассчитывала, скрученную полоску ваты. Разорвав ее надвое, она заткнула уши. Теперь, оставшись одна, она подумала, что с самого начала взяла в обращении с Бароном неверную ноту. А все оттого, что заявилась к нему в поздний час, потеряв голову. “Уилли! Откройте, я слышу голоса!”

После этого ей не оставалось ничего другого, как принять его защиту, его дружескую манеру. Он устроил ее у камина:

— Каролина, дорогая моя, вы совсем ослабели, вас бьет озноб! Что за голоса? В высшей степени интересно. Это как-то связано с религиозными переживаниями?

Она расплакалась и начала извиняться.

— Каролина, дорогая моя, вы же знаете, я никогда не сплю. Я и вправду ложусь спать, если только мне больше решительно нечем заняться. Нет слов, как я счастлив. Каролина, дорогая моя, вы оказали мне большую честь — вы в беде, дорогая моя, вы даже не представляете, что я чувствую.

Так что пришлось ей играть отведенную роль. Теперь же, оставшись в темноте, она подумала: “Нужно было справиться с этим дома. Я не должна была сбегать”.

Барон, разумеется, был уверен, что у нее галлюцинации.

— Такое случается с очень многими, дорогая моя. И совсем незачем из-за этого переживать. Если это явление повторится, то курс психоанализа или какие-нибудь таблетки прогонят голоса. Но я сомневаюсь, чтобы оно повторилось. Вы испытываете нервное перенапряжение, до меня дошло, что вы порвали с Лоуренсом.

— Вообще-то, знаете, мы с ним не расставались.

— Но вы же разъехались?

— Да. Я снимаю жилье в Кенсингтоне, а квартира пока что остается за Лоуренсом. Он сейчас за городом. Завтра первым делом нужно с ним связаться.

Всем своим видом она дала понять, что хочет прекратить разговор.

— В Суссексе? У миссис Джепп? — В его голосе прозвучал неподдельный интерес.

— Да.

— Я познакомился с ней около трех лет назад. Меня представил ей Лоуренс. Замечательная старая дама. Прекрасно выглядит для своих лет. Просто отлично. Вы с ней часто встречаетесь?

— Мы виделись на прошлую Пасху, — ответила Каролина. — Она была великолепна.

— Да, она великолепна. В Лондон она, конечно, не заглядывает?

— Нет. Вы, должно быть, познакомились в ее самый последний приезд. С тех пор она в Лондоне не бывала.

Теперь, бодрствуя в темноте, Каролина вспоминала их разговор и жалела о том, что попала в полную зависимость от Барона. “Нужно было остаться дома и справиться с тем, с чем пришлось бы справляться”, — она снова и снова возвращалась к этой мысли. Она знала, что у нее достало бы сил. Растравляя душу признанием в собственной слабости, она с болью вспоминала последний час, и ей приходили на память обрывки разговора, который она дремотно воспринимала какой-то частью сознания. Ее на мгновение удивило, что Барон, видимо, прояв-

ляет к бабушке Лоуренса необычайный интерес. Запомнить, да еще по имени, непримечательную старую даму, с которой случайно познакомился три года тому назад, — это было решительно на него не похоже. Миссис Джепп была не из тех женщин, что производят на незнакомых людей мгновенное впечатление, и уж подавно не принадлежала к тому типу, который мог поразить Барона.

В темноте со стороны камина до Каролины донесся звук. Тюк.

Пишущая машинка. Она села, и тут последовали голоса:

Барон, видимо, проявляет к бабушке Лоуренса необычайный интерес. Запомнить, да еще по имени, непримечательную старую даму, с которой случайно познакомился три года тому назад, – это было решительно на него не похоже. Миссис Джепп была не из тех женщин, что производят на незнакомых людей мгновенное впечатление.

Каролина завопила:

— Уилли! Господи Боже ты мой, голоса... Уилли!

Она услышала, как он завозился за стеной.

— Вы звали, Каролина?

В конце концов, он пришлепал и включил свет.

Каролина укутала плечи халатом, который был ей велик, в ее голубых глазах застыл испуг.

— Расскажите о голосах, — сказал он. — Сам я ничего не слышал. Откуда они раздавались?

— Вон оттуда, со стороны камина.

— Не хотите чая? По-моему, у меня где-то был чай.

— Нет, кофе. Можно кофе? Не думаю, что мне удастся заснуть.

— Мы с вами выпьем кофе. Не вставайте.

"Он хочет сказать, что тоже едва ли заснет", — подумала Каролина и сказала:

— Мне так стыдно, Уилли, простите меня. Выглядит нелепо, но на самом деле ужасно. А вы, должно быть, страшно устали.

— Кофе с аспирином. Дражайшая Каролина, вам не нужно ни за что извиняться. Мне так приятно...

Но он разве что не спал на ногах. Вернувшись с кофе и бутылкой бренди на подносе, он сказал с таким видом, словно поддерживал разговор, несмотря на угрозу для жизни:

— Вы должны все рассказать мне о голосах. — Он увидел, как она извлекла из ушей ватные тампоны, но притворился, что ничего не заметил, и продолжил: — Я всегда предполагал, что в этой комнате водятся бестелесные существа, а теперь знаю наверняка. Без шуток, я уверен — безоговорочно убежден, Каролина, что вы вступили в контакт с неким явлением. Как жаль, что я не могу предложить вам фенобарбитон, это

отличное успокаивающее, или какое-нибудь снотворное. Но я, конечно же, с вами побуду, сейчас почти пять утра...

О галлюцинациях он уже не заикался, из чего Каролина заключила, что теперь он и вправду считает ее сумасшедшей. Не переставая плакать, она послушно пила кофе судорожными глотками. Она попросила его уйти.

— Разумеется, нет. Я хочу послушать про голоса. Это и в самом деле крайне загадочно.

Попытка описать случившееся принесла облегчение, хотя ей не давал покоя тот факт, что для Барона весь эпизод был утомительным и досадным. Но ради собственного блага она безжалостно говорила и говорила. И пока говорила, до нее дошло, что Барон примирился с неизбежным, уступил обстоятельствам и внимательно ее слушает, но слушает как человек, который ищет в словах собеседника не смысл, а симптомы.

Он выяснил у нее, что стук пишущей машинки неизменно предваряет появление голосов, а иногда и сопровождает их. Сколько было голосов, она не знает. Мужские или женские? И те и другие, ответила она. Было невозможно вычленить отдельные голоса, потому что все они сливались в едином хоре. Отличить хор от одного голоса можно было только по изменению тембра.

— На самом деле, — продолжала она, подхлестывая себя и переходя на скороговорку, — такое впечатление, будто один человек разом говорит разным тоном.

— И всегда в прошедшем времени?

— Да. Голоса издеваются.

— Значит, вы говорите, что этот хор высказывается о ваших мыслях и действиях?

— Не всегда, — ответила Каролина. — и это непонятно. Он сообщает: "Каролина думала или поступала так-то и так-то", а потом, случается, добавляет кое-что от себя.

— Приведите мне пример, дорогая моя. Я такой тупой — никогда не могу ухватить...

— Хорошо, — согласилась Каролина, поддавшись внезапному приступу уверенности в бескорыстии Барона, — взять хотя бы эту ночь. Я засыпала и думала о нашем разговоре — как оно обычно бывает, — добавила она, — и мне пришло на ум, что вы запомнили встречу с бабушкой Лоуренса, я еще подумала — странно, с чего бы это? И тут же услышала машинку и голоса. Они повторили мои мысли примерно так: "Ей пришло в голову, что Барон — вы знаете, мы всегда называем вас Бароном — проявляет к бабушке Лоуренса необычайный интерес". Вот что сказали голоса, а затем добавили в том духе, что запомнить, да еще по имени, пожилую женщину по одно-

му лишь случайному знакомству за три года до этого было решительно на Барона не похоже. Понимаете, Уилли, слова тут не имеют значения...

— Вы помешались, — заявил Барон резким тоном.

Эти слова принесли Каролине облегчение, несмотря на то, а отчасти из-за того, что они подтвердили ее недуг. Было облегчением услышать от Барона, что́ он думает на самом деле, ничего другого она и не ожидала, это была нормальная человеческая реакция на ее рассказ. Опасаясь этой реакции, она поначалу нарочно избегала определенности, говоря о своей беде: "Стук машинки, затем голоса. Говорят в прошедшем времени. Они надо мной издеваются".

После того как ее рассказ оброс подробностями и ей заявили, что она сумасшедшая, она испытала извращенное удовлетворение и одновременно с ним удушье при мысли, что ей, может быть, так и не удастся передать другим всю реальность услышанных звуков.

Барон быстро взял себя в руки.

— Я, конечно, употребил слово "помешались" в разговорном значении. В том смысле, что все мы, знаете ли, помешаны каждый на свой лад.

— Разумеется, — произнесла Каролина. — Я понимаю, что́ вы хотите сказать.

Но теперь она задавалась вопросом, откуда взялось в его тоне столько злобы: "Вы помешались!" — так пес мог огрызнуться на муху. Она поняла, что допустила бестактность. Надо было привести другой пример.

Тот, казалось, забыл, что выступает в роли заинтригованного дознавателя, проявляющего бескорыстное любопытство. Он подробно рассказал Каролине, почему и как миссис Джепп произвела на него впечатление.

— Видите ли, она своеобразная личность. Такая миниатюрная и однако же столько силы. Лицо старое, но такое живое. Миниатюрная смуглянка. Это лицо мне никогда не забыть.

"Он оправдывается", — удивилась про себя Каролина.

— В темно-синей бархатной шляпе, дорогая моя, она была такой изящной. И эти темные морщинки. Незабываемая картина.

— Три года тому назад, Уилли?

— Почти. Я хорошо это помню. Лоуренс привел ее в мою лавку, и она заметила: "Сколько тут книг!"

Барон ласково рассмеялся, но Каролина не присоединилась к нему. Она прикидывала — когда Луиза Джепп последний раз приезжала в Лондон три году тому назад, синей шля-

пы у нее точно не было. Каролина наперечет знала все ее шляпы. Все они покупались от случая к случаю и через большие промежутки времени. Не далее как на Пасху прошлого года она сопровождала старую даму в Хейуордс-Хит, где они полдня ходили по магазинам и, в конечном итоге, остановили свой выбор на синей бархатной шляпе, которая так понравилась Луизе, что с того времени она всякий раз ее надевала.

— В синей шляпе?

— Вы не поверите, дорогая моя, но в синей. Я хорошо эту шляпу запомнил. Из синего бархата, плотно прилегает к вискам, и пышное черное перо сбоку. Никогда не забуду ни этой шляпы, ни лица под нею.

Точно, та самая шляпа.

Явная ложь Барона — с какой целью? — и тот очевидный факт, что рассказ о голосах каким-то образом его спровоцировал, подействовали на Каролину: к ней начали возвращаться силы. Намек на тайну, не связанную с ее собственной проблемой, стал благодатным противоядием от ее замешательства. Она хранила спокойствие и прихлебывала кофе. Барон мог считать, что она помешалась, однако милосердное провидение позволило ей выяснить, пусть совершенно непреднамеренно, что ее состояние представляет для него опасность. Она и в самом деле заставила его с собою считаться — вплоть до самооправданий и вранья.

Об этом она размышляла, но когда подняла на него глаза и увидела, что, несмотря на крайнюю усталость, он по-прежнему сохраняет учтивость, то снова заплакала.

— Ох, Уилли! Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас? Вы так добры. Так добры, — повторила она, словно усталый ребенок, который застрял на одной фразе. — Так добры, так добры...

Она из благодарности отказалась от приобретенного преимущества и опять превратилась в обезумевшую женщину, которая ищет защиты у старого друга.

Барон, как будто сделав шаг ей навстречу и желая представить ее не в столь жалком виде, спросил:

— Что вы сейчас пишете?

— Все ту же книгу, но за последнее время не очень продвинулась.

— Работу о романе двадцатого века?

— Да. “Форма в современном романе”.

— И как пишется?

— Пока что неплохо. Трудно дается глава о реализме.

Внезапно ее охватила злость: голоса нарушили ее планы. Она собиралась выкинуть из головы все личные неурядицы и возобновить работу на этой неделе, так нет же — эта мерзкая,

унизительная история! Она снова потеряла контроль над собой.

— Не должно было со мной такое случиться! Такое не должно случаться с разумными женщинами!

— Как раз с разумными такое и случается, — заметил Барон.

И он, и Каролина пили бренди неразбавленным.

Через какое-то время Барон сварил еще кофе, а там, слава Богу, пришел рассвет.

Барон возражал, однако в конце концов позволил ей уйти, после того как она пообещала дать днем о себе знать. Ей не терпелось покинуть его квартиру. Ей хотелось вернуться в Кенсингтон. И связаться с Лоуренсом — он возвращается в Лондон. Дома предстоял разговор с управляющим: Каролина не сомневалась, что другие жильцы уже пожаловались на ночной тарарам.

— Домом управляет форменная скотина, — пожаловалась она Барону, собирая вещи.

— Выдайте ей десять шиллингов, — посоветовал он.

— Это мужчина.

— Ну, так выдайте два фунта.

— Может, один, — сказала Каролина. — Что ж, Уилли, огромное вам спасибо.

— Дайте два, не ошибетесь, — настаивал Барон.

— Дам тридцать шиллингов, — серьезным голосом ответила Каролина.

По дороге к метро "Хампстед" она отправила телеграмму Лоуренсу: "Немедленно приезжай происходит нечто загадочное".

"Голоса могут и не повториться", — подумалось ей. В некотором смысле она надеялась, что повторятся. Лоуренс вполне мог стать орудием их разоблачения, всего лишь отпустив какое-нибудь невинное замечание. На такое он был способен. Она не думала, что голоса заговорят с ней в чьем-то присутствии. Но Лоуренс предпримет расследование. Она испытывала неестественное возбуждение и чувствовала себя чуть ли не авантюристкой. Утро было ясное, солнечное. В метро она открыла сумочку, переложила фунт с десятью шиллингами в отдельный кармашек и улыбнулась: деньги для управляющего. В целом она надеялась, что голоса вернутся, дадут ей шанс установить их существование и обнаружить источник.

До Куинз-Гейт она добралась в половине десятого. Удобное время. Жильцы разошлись на службу, а управляющий еще не появился. Она тихо прикрыла дверь и на цыпочках поднялась на второй этаж.

Лоуренс не стал закрывать дверь телефонной будки, чтобы впустить воздух и солнце осеннего утра.

— По-прежнему не отвечают?

— К сожалению, нет.

— Вы уверены, что правильно набрали?..

Но телефонистка уже повесила трубку. Он был уверен, что она неверно набрала номер или, по крайней мере, Каролина отправилась ночевать в другое место. А может, пошла на утреннюю мессу.

Он позвонил родителям. Мисс Роуз не давала о себе знать. Мать была на мессе. Отец только что уехал. Он послал Каролине телеграмму с местной почты, она же сельская лавка, и, раздраженный, решил прогуляться, но пришел в хорошее настроение в предвкушении приезда Каролины в гости к бабушке. Он решил продлить свое пребывание еще на неделю. Через полчаса он дошел до коттеджа, где его ждала телеграмма от Каролины.

— На почте все перепутали, — сказал он Луизе.

— Что перепутали, милый?

— Я послал Каролине телеграмму, а Каролина, судя по всему, послала мне. Но на почте непонятно как перепутали содержание. Это — то, что я посылал Каролине, даже слова те же самые.

— Какие, милый? Прочти вслух, а то я не понимаю.

— Пойду объясняться на почту, — выпалил Лоуренс и сразу вышел. Ему не хотелось создавать впечатление, будто он скрывает от бабушки содержание телеграммы, составленной, по его признанию, из его же слов. Он перечитал текст: "Немедленно приезжай происходит нечто загадочное". Подпись — "Люблю Каролина".

На почте, где несколько соседок Луизы покупали чай и прочий товар, Лоуренс вызвал легкое оживление. Текст его телеграммы сравнили с текстом полученной. Он четко расслышал, как почтмейстер в своем закутке обратился к дочери: "Они написали одни и те же слова. Это шифр или какое-то дельце, о котором они сговорились".

Он вышел и сказал Лоуренсу:

— Обе телеграммы, сэр, полностью совпадают.

— Однако странно, — заметил Лоуренс и повторил: — Происходит нечто загадочное.

— Да, по-видимому, — согласился почтмейстер.

Лоуренс поспешил удалиться, пока история не запуталась окончательно и не стала предметом общего разговора. Он вошел в телефонную будку и попросил набрать номер Каролины. После первого же звонка она подняла трубку.

— Каролина?

— Лоуренс, ты? Я сию минуту вернулась и нашла телеграмму. Это твоя?

— Да, а ты отправляла?

— Да. Как прикажешь ее понимать? Мне так страшно.

В комнатке Бенедиктинского монастыря стоял резкий запах политуры. Четыре стула, стол, половицы, оконные рамы отдыхали в сиянии полировки, словно деревянные эти изделия только перед рассветом завершили тяжелый труд, натирая самих себя. Снаружи позднее солнце конца октября светило на узкую полоску садика перед зданием, и до Каролины, ожидающей в монастырской приемной, доносились знакомые звуки пригорода — птичья возня и шаги прохожих. Эту приемную с ее запахом лака она знала как свои пять пальцев — ходила сюда раз в неделю три месяца за наставлением в католической вере. Каролина увидела, как на столешницу села муха, и ей на миг показалось, что муху подстерегает смертельная опасность — вдруг ее затянет гладкая поверхность, по которой она скользит. Но муха легко взлетела. Каролина вздрогнула и нервно обернулась на звук открываемой двери. И поднялась: вошел священник — ее добрый друг, стареющий отец Джером.

Он, как всегда, улыбался всем своим красноватым лицом и прихрамывал на больную ногу. В руке у него была выцветшая папка, из которой, как всегда, торчала беспорядочная пачка помятых бумаг.

— На прошлой неделе я взял два дня, чтобы переписать в Британском музее отрывки из "Жизнеописания Богоматери" Лидгейта[1]. Они у меня тут. Вы знакомы с этим сочинением? Я вам сейчас почитаю. Восхитительно. А вы что пишете? У вас усталый вид, вы хорошо спите? Едите здоровую пищу? Что у вас было на завтрак?

— Вот уже неделю как я не сплю по-настоящему, — ответила Каролина. Затем рассказала ему про голоса.

— Это началось с вами после возвращения из Святой Филомены?

— Да. Ровно неделю тому назад. И с тех пор продолжается. Происходит это днем, когда я одна. Лоуренс вернулся из-за города и перебрался ко мне. Мне страшно оставаться ночью одной.

— Он спит у вас?

— В другой комнате. Это можно?

1. Джон Лидгейт (ок. 1370 — ок. 1451) — английский поэт и автор богословских сочинений, последователь Чосера.

— Пока что, — рассеянно ответил священник.

— По-моему, я одержима дьяволом.

— Нет, — возразил он, — не дьяволом. Может быть, идеей, но я в этом сомневаюсь.

— По-вашему, это галлюцинации? — спросила она.

— Откуда мне знать?

— По-вашему, я безумна?

— Нет. Но вы больны.

— Правда. По-вашему, я неврастеничка?

— Конечно. Это понятно само собой.

Каролина рассмеялась. Когда-то она могла называть себя неврастеничной, не испытывая при этом дурных предчувствий. Когда-то это слово было всего лишь паролем в ее кругу.

— Если я еще не сошла с ума, то скоро сойду. Если это не прекратится, — сказала она.

— Неврастеники не сходят с ума, — заметил он.

— Но это невыносимо.

— Разве это не зависит от вашего восприятия?

— Отец, — сказала она, словно обращаясь к себе самой, чтобы привести мысли в порядок, — если б я только знала, откуда берутся голоса. По-моему, это одно и то же лицо. Оно пользуется пишущей машинкой. Оно использует прошедшее время. Ну, в точности, как если бы кто-то пристально за мной наблюдал и мог читать мои мысли; как если бы он дожидался случая вцепиться в какую-нибудь незначительную мысль или поступок, чтобы извратить их и тем самым придать им значение. Откуда оно знает про Лоуренса и моих знакомых? А еще на днях случилось странное совпадение. Мы с Лоуренсом послали друг другу по телеграмме в одно и то же время и с одними и теми же словами. Ужасно. Голос судьбы, да и только.

— Такое случается, — сказал отец Джером. — Совпадение или что-то вроде телепатии.

— А пишущая машинка и голоса? Словно автор из другого измерения пишет о нас роман.

Произнеся это, Каролина поняла, что попала в самую точку. Больше она на эту тему ничего ему не сказала.

Когда она уходила, отец Джером спросил, как ей понравилось в Святой Филомене.

— Отвратительно. Я выдержала всего три дня.

— Что ж, я и не думал, что тамошняя обстановка вам подойдет. Вам надо было отправиться к бенедиктинцам, они вам ближе по духу.

— Но вы же сами рекомендовали мне Святую Филомену! Помните, тогда у леди Мандерс вы в два голоса уговаривали меня туда поехать?

— Ох, прошу прощения. Да, так оно, вероятно, и было. Что вам там не понравилось?

— Люди.

— Ну да, люди, — усмехнулся он. — Все дело в том, как вы их воспринимаете.

— Именно в этом, — сказала Каролина таким тоном, словно ей в голову внезапно пришла некая мысль.

— Что ж, Господь да благословит вас. Спите спокойно и не пропадайте.

Вернувшись на Куинз-Гейт, она застала Лоуренса в квартире. Он возился с какой-то черной коробкой, которую она поначалу приняла за большую пишущую машинку.

— Что это? — спросила она, рассмотрев коробку получше.

— Послушай, — ответил Лоуренс.

Он нажал на клавишу. Раздалось жужжание, и коробка заговорила натужливо хриплым неестественным мужским голосом. "Дорогая Каролина, — произнес голос, — я хочу кое-что предложить". Затем последовала смешная, но совершенно непечатная фраза.

Каролина облегченно расхохоталась и повалилась на диван.

Лоуренс что-то сделал, и машинка снова прохрипела те же слова.

— Я сразу узнала твой голос, — сказала Каролина.

— Готов поспорить, что не узнала. Я его потрясающе изменил. Послушай еще раз.

— Ни за что! Нас могут подслушать. Скотина ты грязная.

Он опять проиграл запись, и они не смогли удержаться от смеха.

— Зачем ты притащил сюда эту штуку? — спросила Каролина. — Она могла меня до смерти испугать.

— Чтоб записать твои призрачные голоса. Теперь посмотри. Я закладываю сюда этот диск. Услышишь их снова — нажми на это. Он запишет любой голос в пределах слышимости.

Он поставил магнитофон у стены, от которой исходили голоса.

— Потом, — объяснил он, — можно будет вытащить диск и проиграть.

— Может, эти голоса не запишутся, — сказала она.

— Запишутся, если звучат в воздухе. Всякой звук порождает волны. Если звук существует в настоящем мире, он непременно запишется.

— Звук может существовать в другой реальности и все равно быть настоящим.

— Ладно, давай-ка сперва проверим возможности естественного порядка...

— Но мы не знаем всех возможностей естественного порядка.

— Если звук не запишется, мы можем считать доказанным, что либо его вообще не существует, либо он существует в рамках сверхъестественного порядка, — объяснил Лоуренс.

— Он существует, — настаивала она. — Я считаю его естественным. И считаю, что эта машинка его не запишет.

— Ты даже не хочешь попробовать? — чуть ли не разочарованно спросил он.

— Напротив, прекрасная мысль.

— И лучше всех остальных, что приходили тебе в голову.

— Сейчас у меня появилась новая мысль, — сказала Каролина, — и я уверена, что она правильная. Меня осенило в разговоре с отцом Джеромом.

— Ну так поделись.

— Не сейчас. Я хочу собрать доказательства.

Каролина была счастлива. Лоуренс погляделся в зеркало, улыбнулся и сказал своему отражению:

— Она называет меня грязной скотиной.

Теперь они жили в квартире вдвоем. Управляющему было сказано, что они поженились. Объяснение устроило его только наполовину, но другую половину, как предсказал Лоуренс, он не преминет вставить в счет. Она уже привыкла к обращению "Миссис Мандерс" — это было нетрудно, они словно и не расставались, хотя знали, что их заставили съехаться чрезвычайные обстоятельства. Каролина жалела о том, что посвятила Барона в эти обстоятельства: тот начал уговаривать Лоуренса определить ее в частную лечебницу. Не то чтоб ей не нравилось само предложение — не нравился вложенный в него смысл. "Частная лечебница". Барон имел в виду психушку высшего класса. Лоуренс не соглашался — он хотел вернуться с ней к бабушке. Барон рассказал обо всем Хелене. Та предложила оплатить пребывание Каролины в частной лечебнице для католиков. При этом психушку она не имела в виду.

— Я бы не против отдохнуть две-три недели в частной лечебнице, — заявила она Лоуренсу. — Не думаю, что там меня смогут избавить от голосов, но на какое-то время сделают к ним невосприимчивой. Я бы тогда отдохнула.

Лоуренс был в принципе не согласен.

К тому же ему нужно было раскрыть другую тайну. "Я тебе все о ней рассказал в письме. Не успел я отправить письмо в Святую Филомену, как от тебя пришла первая телеграмма — что ты уже в Лондоне. Думаю, письмо тебе перешлют".

— Ну так расскажи. — Каролина была наполовину готова услышать "тайну" наподобие собственной.

— Дело в том, что бабушка связалась с весьма подозрительными типами. Я было решил, что она возглавляет банду, но теперь, с учетом всех обстоятельств, думаю, что она их марионетка.

— Нет, — возразила Каролина, — твоя бабушка решительно не способна быть чьей-то марионеткой.

— Ты и вправду так думаешь? Честно говоря, я и сам так считаю. Тебе нужно приехать и самой посмотреть.

— Я подумаю, — ответила Каролина.

Четыре раза на предшествующей неделе она в отсутствие Лоуренса слышала стук машинки и голоса.

Тогда она сказала Лоуренсу:

— Повидаю отца Джерома. Если он посоветует частную лечебницу — пусть будет лечебница. Если отправит к твоей бабушке — к ней и поеду. В частную клинику я могу лечь и позже.

Но она забыла спросить совета у отца Джерома, а теперь чувствовала, что это уже не важно.

— Я отправлюсь в Суссекс, — сказала она.

— Вот как, правда? Тебе посоветовал святой папаша?

— Нет. Я забыла у него спросить. Он посоветовал лучше есть и больше спать.

Лоуренс знал, что и в благополучные времена у Каролины были проблемы с едой и сном. Он рассмеялся, но Каролина его не поддержала и сказала:

— Мне стало лучше. По-моему, худшее уже позади. Я начинаю кое-что понимать.

Он узнал этот знак — за последние шесть лет он самолично выхаживал Каролину, когда та болела. То были в основном времена бедности — еще до того, как его родители смирились с их внебрачной связью, как он получил работу на Би-би-си, как Каролина приобрела имя в литературе.

Каролина знала, о чем он думает. Он не ожидал, что она столь внезапно излечится от болезни такого рода.

Теперь же он думал: "Итак, ей стало лучше. Она кое-что понимает. Но так ли это? Неужели она права?

Каролина увидела у него на лице выражение, которое, как ей помнилось, уже видела раньше. Смесь удивления и растерянности, какие испытывает человек, сталкиваясь с абсолютно новым для него и не поддающимся объяснению явлением. Выражение отчасти боязливости, отчасти возмущения, отчасти любопытства, но в основном радости. Это выражение появилось на лице Лоуренса во время спора, когда она заявила ему о своем решении принять католичество, из-за чего им

предстояло расстаться. И он, и она были в расстроенных чувствах и едва ли понимали, что говорят. В ответ на какое-то замечание Лоуренса она со злостью бросила: “Я Бога люблю сильней, чем тебя”. Тогда-то она и увидела у него на лице смесь удивления и растерянности, непонятным образом выдающую неосознанное и чуждое его натуре удовольствие, — то же самое выражение, которое появилось снова при ее словах: “Худшее уже позади. Я начинаю кое-что понимать”.

— Но помни, я все еще болею, — добавила она.

Он долго смеялся. Она пожалела, что ей пришлось его разочаровать, — она знала, что ее “выздоровление”, по его расчетам, должно было быть другим и что он задавался вопросом: “С чего она взяла, что больше никогда не услышит эти голоса?”

— Ты и вправду считаешь, милая, что теперь все будет хорошо? — спросил он.

— Да. Я в полном порядке. Только немного устала, но теперь, видишь ли, я знаю, что это за голоса. Жуткое испытание, но я сумею с ним справиться. Не сомневаюсь, что мне удалось установить настоящую причину. У меня есть план, и я постепенно тебя в него посвящу.

Она прилегла и закрыла глаза.

— Мне за тебя боязно, — заметил он.

— Из-за голосов. Ты хочешь сказать, мне не будет хорошо, если я все так же буду их слышать.

Он подумал и произнес:

— Посмотрим, запишет ли что-нибудь эта машинка.

— Хорошо, — согласилась Каролина. — Но если, допустим, она ничего не запишет, то что из этого следует?

— Ну, в таком случае, по-моему, тебе следует попытаться осмыслить это в символическом плане.

— Но голоса — они и есть голоса. Конечно, они что-то символизируют, но все же они — голоса. А еще пишущая машинка — тоже символ, но это настоящая пишущая машинка. Я ее слышу.

— Каролина, дорогая моя, я надеюсь, ты больше ее не услышишь.

— А я не надеюсь.

— Нет? Но почему, скажи на милость?

— Потому что теперь я знаю, что они такое. Теперь я настороже. Понимаешь, мне и в самом деле много лучше. Вот только усталость. — Она чуть повысила голос и заявила: — Если кто-то слушает, то пусть запишет.

Вот те раз!

— Бьюсь об заклад, ты их напугала, — весело сказал Лоуренс.

Она стянула юбку и скользнула под одеяло.

"При всем том, — подумал он, — она и вправду лучше выглядит. Почти совсем поправилась, только усталая".

Она засыпала, когда он ушел. Он спешил в Хампстед повидаться с матерью — та позвонила ему и попросила срочно прийти. Он пообещал Каролине вернуться ближе к вечеру и сводить ее куда-нибудь поужинать. Перед уходом он напомнил ей про магнитофон:

— Не забудь нажать на клавишу, если что-то произойдет. Ты уверена, что с тобой все будет в порядке?

— В полном порядке, — сонно ответила Каролина. — Я могла бы проспать целый месяц.

— Вот и хорошо. Крепкого сна. Если что-нибудь понадобится, позвони моей матери. Я там буду минут через двадцать.

Каролина очень быстро уснула. Но даже во сне она оценивала свой сон. Говорила себе, что за последние полгода ей не спалось лучше. Приказывала себе спать дальше, потому что скоро она проснется и займется делом.

В этом месте повествования вполне уместно было бы заявить, что все действующие лица настоящего романа придуманы автором и всякое их сходство с реальными людьми чисто случайно.

Тюк-тюкити-тюк. В этом месте повествования... Каролина вскочила и нажала на клавишу магнитофона. Затем схватила заранее выложенные блокнотик и карандаш и застенографировала вышеприведенный абзац. И лишь после того, как умолк хор голосов, ее охватила дрожь. Она лежала в темнеющей комнате, дрожала и обдумывала, как ей быть с новой разновидностью муки — теперь, когда она вновь хорошо себя чувствует и обречена на здоровье.

Глава 4

Хризантемы и астры стояли в вазах, хризантемы и астры можно было с трудом различить на выцветшей обвисшей мебельной обивке в гостиной. Обивку давно следовало поменять, но Хелена Мандерс ее не меняла, чтобы не подумали, будто в семье придают значение возведению Мандерса в рыцари, имевшему место, когда обивка уже была не первой свежести. Мандерсы мирились со многими неудобствами, лишь бы никто не подумал, что они придают значение возведению в рыцарское достоинство. Вот и огонь горел в камине только из-за прихода Лоуренса, а так камин разжигали не раньше ноября.

— Ты куда-то спешишь? — спросила Хелена, потому что Лоуренс, не успев прийти, начал поглядывать на часы. А делал он это потому, что знал: если мать хотела видеть его по какому-нибудь конкретному поводу, она обычно вспоминала о деле, только когда он вставал уходить, и уговаривала его остаться на ужин, а то и заночевать. Или же вспоминала уже после его ухода, и в этом случае снова звонила, и ему приходилось возвращаться.

Лоуренсу отнюдь не претило бывать у родителей в Хампстеде, ему даже нравилось приезжать к ним пообедать или поужинать, а то и погостить несколько дней и даже недель, но в подходящее для него самого время, когда у него созревало желание и он говорил самому себе: "Неплохо было бы побывать в Хампстеде". Когда же его призывали, желание погостить пропадало.

Итак, он опустил взгляд на часы и ответил:

— В моем распоряжении всего час. Я ужинаю с Каролиной. Я бы взял ее с собой, но она отдыхает.

— Как она себя чувствует?

— Говорит, что ей лучше. По-моему, так и есть.

— Ты считаешь? И галлюцинации кончились? Бедняжка рассказала мне совсем мало.

— Ну, не знаю. Не знаю, лучше ли ей на самом деле. Говорит, что лучше.

— И не собирается лечь в частную лечебницу? Для нее это было бы лучше всего.

— Нет. Я завтра повезу ее к бабушке.

— Я волнуюсь, Лоуренс.

У нее и вправду был взволнованный вид. На лице читалась растерянность. На чулке спустилась петля. Она сказала, что хотела видеть его по срочному делу, и уже через пять минут перешла к самому делу. Были и другие признаки того, что она крайне взволнована.

— Я попросила тебя приехать, Лоуренс, потому что очень волнуюсь.

Он присел на ручку ее кресла, приобнял мать за плечи и спросил:

— Это имеет отношение к нам с Каролиной?

— Нет, — сказала она.

Лоуренс встал и налил себе виски. Мать забыла предложить ему выпить — она волновалась.

— Вчера ко мне приходила Джорджина Хогг.

— Ну и ну! Что ей было нужно?

— Не знаю. Она рассказала невероятную историю. Я так волнуюсь.

– За Каролину? Я же тебе говорил, что Каролина уехала из Святой Филомены по милости Джорджины Хогг. Прикажешь Каролину за это винить?

– Разумеется, нет.

– Тебе не следовало ее туда отправлять. Ты знаешь, что́ Джорджина собой представляет.

– Ну, отец Джером был согласен...

– Отец Джером не знает Джорджины Хогг. Ты не должна была принимать ее на работу. Что только тебя заставило? Для Церкви страшнее рекламы не придумаешь.

– Я просто подумала. Хочется сделать что-нибудь доброе. Я подумала. Она говорила, что ее ко мне возвращение похоже на чудо. Вот я и подумала: “Может, она переменилась”. В нашей вере чего только не бывает. С каждым может случиться все что угодно.

– Что ж, Джорджина, судя по всему, не переменилась. Как была душемучительницей, так ей и осталась. Я, если честно, считаю, что у Каролины случился рецидив по ее вине. Джорджина, вероятно, разбередила старую рану.

– Налей мне, Лоуренс, – попросила Хелена.

– Чего именно?

– Того же, что себе.

Лоуренс налил ей виски и не стал разбавлять, причем она не возразила.

– Что тебя беспокоит, милая? Что понадобилось Джорджине на этот раз?

– Не знаю. Она пришла рассказать мне одну вещь.

– Как всегда, заявила, что считает это своим долгом? И что же она рассказала о Каролине?

– Совершенно верно, она так и сказала про долг. О Каролине она мало что рассказала, но поведала мне невероятную историю про то, что мама занялась каким-то жутко преступным делом. По ее словам, мама укрывает краденое.

– Господи, откуда у нее такие сведения?

– Не представляю, Лоуренс, как тебе рассказать. Каролина не оставила им своего адреса. Джорджина утверждает, что письмо пришло на другой день после отъезда Каролины. Джорджина взяла на себя смелость вскрыть письмо исключительно с одной целью, как она утверждает, – узнать адрес отправителя, чтобы возвратить письмо. И выяснила, что письмо от тебя. Она его прочитала – обязана была прочитать из чувства долга передо мной. Понимаешь, Лоуренс, у нее на все готово оправдание.

– Но это противозаконно! Никто не имеет права вскрывать письмо, адресованное другому лицу. Это могут сделать

только на почте, и то если невозможно установить адрес получателя. Но и в этом случае разрешается только ознакомиться с подписью отправителя и указанным в письме адресом.

Лоуренс порядком рассвирепел.

— Ты ей сказала, что ее поступок — серьезное преступление?

Лоуренс пил уже третью порцию виски.

Его мать слегка улыбнулась, посмотрела на Лоуренса и вернулась к тому, что ее волновало:

— Джорджина очень великодушно отозвалась о том, что ты написал *про нее*, хотя уточнять не стала.

— Полагаю, она не предложила вернуть мне письмо? Оно моя собственность.

— Нет, она отказалась.

— И чем мотивировала?

— Сказала, что считает это своим долгом. Говорит, такие вещи частенько замалчивают.

— Шантажирует? — спросил Лоуренс.

— Она ничего не потребовала, — ответила Хелена. Затем, словно все сказанное было всего лишь нудным вступлением, она произнесла тоном человека, берущего быка за рога: — Лоуренс, это правда — то, что ты написал Каролине о бабушке?

— Да. Но я не считаю бабушку преступницей. Возможно, ее использует преступная банда. — Последняя фраза прозвучала у него не очень убедительно.

— Я была слепа, — сказала Хелена. — Проявляла элементарную невнимательность все эти четыре года после смерти отца. Нужно было сделать заботу о матери моей святой обязанностью. Нужно было заставить ее принять...

— Где Джорджина сейчас? Вернулась в Святую Филомену?

— Нет. Она уволилась. Я не знаю ее нынешнего адреса — была слишком ошарашена, чтобы спросить.

— Как она собирается поступить с письмом?

— Сказала, что сохранит его, больше ничего.

— Как она собирается поступить с бабушкой?

— Этого она не сказала. Ох, Лоуренс, я так волнуюсь за твою бабушку. Расскажи мне про это. Расскажи все-все-все.

— Всего я не знаю.

— Расскажи про алмазы в хлебе. Я ушам своим не поверила, но Джорджина и не думала меня разыгрывать. Я хочу знать, что происходит. Расскажи, что именно ты обнаружил.

— Хорошо, — согласился Лоуренс. Он знал о причудливой вере матери в то, что никакое зло не может ее затронуть.

Когда он закончил рассказ, она спросила:

— Когда ты отправляешься в Ледилис?

– Завтра пораньше. Поездом – машину сдам в ремонт. Возьму напрокат другую на несколько дней в Хейворд-Хите.

– Каролину с собой не бери.

– Почему?

– Она еще недостаточно окрепла, чтобы впутывать ее в эту историю.

– А по-моему, так это пойдет ей на пользу.

– Если ты намерен заняться расследованием, она будет тебе только мешать.

– Только не Каролина – она очень смышленая.

– В таком случае попроси Каролину держать со мной связь. Попроси ежедневно звонить и сообщать, что там у вас происходит. На Каролину я могу положиться.

Когда он уходил, она робко сказала, так, чтобы его не обидеть:

– Попытайся выяснить, во сколько нам обойдется вызволить ее из лап этих мошенников.

– Мы не знаем, кто у кого в лапах, – возразил он. – Отцу лучше пока не говорить – история может оказаться вполне невинной, бабушкиным розыгрышем...

– Твоего отца я пока не буду посвящать в это дело, – решительно пообещала она. – Он так восхищается мамой.

– Все в порядке?

Голос Лоуренса разбудил Каролину, но она все еще не очнулась от сна, и это затяжное пробуждение было одним из признаков ее выздоровления. Полусонная, она не могла сообразить, то ли Лоуренс произнес “Все в порядке?”, то ли это еще предстояло произнести и вопрос должен был исходить от нее. Поэтому она села в постели и, все еще полусонная, спросила:

– Все в порядке?

Лоуренс рассмеялся.

Она встала, покачиваясь со сна, и прошла в ванную умыться и переодеться, но не стала закрывать дверь, чтобы можно было разговаривать.

– Что-нибудь было? – спросил Лоуренс.

Теперь она окончательно проснулась и сказала:

– Я нажала клавишу. Но не знаю, записалось ли что. Я проверю?

– Давай, проверяй.

Он подготовил устройство к воспроизведению и нажал клавишу. Раздался короткий стрекот, затем последовали раскаты голоса Лоуренса “Дорогая Каролина...” и забавное непристойное предложение.

Каролина вышла из ванной с полотенцем в руке послушать запись. Они с нетерпением ждали продолжения. Лоуренс поднял на Каролину внимательный взгляд. Женский голос произнес: “Гнусная ложь. По-моему, вы боитесь. А то с чего бы вам вдруг прятаться за этим заявлением?”

На этом запись кончилась.

— Господи Всемогущий! — сказал Лоуренс.

Каролина не без смущения объяснила:

— Это мой голос, я возражала. Похоже, мой милый, что посещающие меня голоса не записываются. Да я, собственно, на это и не рассчитывала.

— Что они тебе говорили? Почему ты так ответила? Что заставило тебя сказать про ложь?

Она прочитала ему свои рукописные заметки.

— Сам видишь, — сказала она с обиженным смехом, — это все вымышленные персонажи.

Лоуренс рассеянно возился с магнитофоном. Когда Каролина замолчала, он велел ей побыстрей одеваться и поцеловал как малого ребенка.

Накладывая макияж, она возбужденно заявила:

— Я знаю ответ. Знаю, как управиться с этим голосом.

Она ждала, что он попросит “Расскажи как”, но так и не дождалась. Он смотрел на нее, и в его глазах она все еще оставалась милой маленькой девочкой.

Наконец он сказал:

— Мама волнуется. Боюсь, нам предстоит грандиозное разбирательство с бабушкой.

Лоуренсу показалось, что не след Каролине быть ребенком. Ему требовался ее упорядоченный ум, чтобы связать воедино загадочные факты бабушкиной жизни. Здесь он ощущал себя беспомощным.

— Ты ведь поможешь мне с бабушкой, да? — попросил он.

— Зачем? — весело сказала она. — Что такого ты собираешься сделать со своей бабушкой?

Вид у нее был смешливо-зловещий. Она выздоравливала. Лоуренс перевел взгляд с ее лица на блокнотик со стенографической записью на столе, со свидетельства ее нормальности на свидетельство ее умопомрачения. Возможно, подумал он, человек способен прожить жизнь с небольшим сдвигом, оставаясь во всем другом абсолютно нормальным. Возможно, Каролина была ребенком только в отношении воображаемых слуховых образов.

Он сказал:

— Миссис Хогг прочитала письмо, что я отправил тебе в Святую Филомену.

— То есть вскрыла конверт и прочла письмо?

— Да. Это отвратительно, хуже того — преступно.

При этих словах Каролина едва заметно улыбнулась. Лоуренс вспомнил, что похожая улыбка промелькнула днем на лице матери, при том что та волновалась. До него дошло, чему именно обе женщины улыбнулись одной и той же улыбкой.

— Признаю, я и сам читал чужие письма. Я прекрасно это понимаю, но тут совсем другое дело. Страшно подумать.

Дав своей улыбкой понять, что считает его отчасти ребенком, Каролина произнесла:

— Скажи честно, это серьезно? — и начала его расспрашивать, как равный равного.

Не прерывая разговора, они потушили камин, выключили свет и вышли из квартиры.

В пабе, где какой-то тучный поэт попросил Каролину: "Расскажите мне, дорогуша, все-все о ваших видениях"; где поэтесса в пелерине и с огромным ртом вопросила: "Основательно ли укоренен сатанизм в нынешней католической церкви?"; где писатель другого типа, мужчина за пятьдесят, осведомился у Каролины, кто ее психоаналитик, и назвал своего, — в этом пабе Каролина по крупицам дозналась, что Барон рассказывал о ней то да се мальчикам и девочкам неопределенного возраста, которые наведывались к нему в книжную лавку на Чаринг-Кросс-роуд.

Каролина спросила у женщины в пелерине, известно ли той, что Элеонора Хогарт ушла от Барона.

— Не может быть!

— Ушла. На той неделе он приютил меня на ночь в своей квартире. Там не осталось ни одной ее вещи. Даже фотографии не осталось. Он всего раз упомянул о ней. Сказал, она отправилась в путешествие, что правда, но ни словом не упомянул про разрыв. Лоуренс потом все выяснил — он всегда выясняет, когда нужно.

— Она с кем-то уехала?

— Чего не знаю, того не знаю. Но это она его бросила, а не он ее. Я точно знаю.

— Бедняга Уилли.

— Ну, ее нельзя осуждать, — возразила Каролина, довольная, что теперь все об этом заговорят.

Женщина в пелерине спросила:

— Вы не пробовали обратить Барона?

— Кто, я? Нет.

— Обычно католики пытаются всех обращать в свою веру, даже заведомо безнадежных. Мне казалось, для них это вроде как обязательно.

Для ровного счета Каролина припечатала Барона словами, сказанными на ее слуху о другом человеке:

— Став англичанином, он исчерпал свою способность к обращению.

Барон и вправду довольно строго соблюдал английские обычаи и законы и не сомневался в том, что проникся английской идеей, поэтому его презрение к англичанам с их складом ума и манерами объяснялось досадой на то, что они не в полной мере этой идее соответствовали. В свете этого Каролина и обменялась с женщиной в пелерине мнением о Бароне.

— А знаете, — сообщила ей та, — Уилли Сток — двойственная натура. Он тайный оргиаст.

— Кто-кто?

— Отправляет черную мессу. Сатанист. Вероятно, поэтому Элеонора и ушла от него. Она страшная буржуазка.

Внезапно паб и публика в нем привели Каролину в уныние. Словечко "буржуазка" испортило ей удовольствие от вечера — оно относилось к скучному расплывчатому словарю полусвета, который она отринула два с лишним года тому назад.

По дороге к такси Лоуренс придерживал Каролину за локоть, поскольку ее покачивало. Но приступ отвращения заставил ее протрезветь.

Элеонора Хогарт внимательно присмотрелась к паре, что танцевала перед ней в сонном полумраке. Встретив Каролину и Лоуренса в подобной обстановке, она поначалу глазам своим не поверила, поскольку до того ни разу не видела их в ночном клубе, тем более танцующими.

Элеонора помахала им рукой — окликать их через площадку было бы неприлично. В конце концов, она привлекла внимание Каролины.

— Ой, смотри, это же Элеонора.

И правда, это была она в обществе своего делового партнера с седой шевелюрой и моложавым лицом — Эрнеста Мандерса, дядюшки Лоуренса, младшего брата его отца, избравшего балет, а не "Фиги Мандерса в сиропе".

Еще маленьким мальчиком Лоуренс однажды сообщил матери: "А дядя Эрни чудной". — "Да, чудной, моя лапочка", — радостно согласилась она и успела повторить слова ребенка нескольким знакомым, прежде чем муж объяснил ей разницу между "чудным", то есть чудаком, и "чудным" в смысле гомосексуалистом. После этого в семье считали долгом молиться за дядю Эрнеста: всем было понятно, что этого дядю надлежит упоминать в любой молитве. И, судя по всему, это принесло

свои плоды, поскольку на сороковом году жизни, когда его связи становились все необузданней, он отказался от мужчин благополучия ради. Правда, женщины их места в его жизни так и не заняли. Как-то раз Лоуренс сказал Каролине: "Я постепенно избавился от неуважения к дяде Эрнесту". — "Неуважения из-за его гомосексуализма?" — "Нет, из-за того, что мы всегда поминали его в молитвах".

Дядя Эрнест был человеком набожным и приятным. Каролина прекрасно с ним ладила. Она говорила, что он из тех католиков, что ей нравятся, — верующий, ничего не берущий на веру. Эрнест неизменно соглашался с Каролиной в том, что истинная, она же католическая, церковь ужасна, хотя, к сожалению, является истинной, что нёвозможно отрицать.

Последнее время Каролина не могла долго выносить общество Элеоноры, хотя именно благодаря ей познакомилась с Лоуренсом. Одно время молодые женщины были подругами, и даже близкими, — когда в квадратных комнатушках студенческого общежития в Кембридже они, облокотившись на примитивную деревянную стойку с кругами от бесконечных кружек какао, болтали о том о сем, главным образом о высокомерии других студенток и о высокомерии старших, благо обе девушки обладали непризнанными скрытыми талантами.

Когда Элеонора вышла замуж, Каролина была за границей и до нее мало что доходило. Она знала только, что после войны Элеонора бросила мужа, взяла его фамилию и открыла школу танцев, выбрав в партнеры мужчину — Эрнеста Мандерса. Спустя несколько месяцев Каролина и Лоуренс стали жить вместе. К этому времени связь Элеоноры с Бароном начала приобретать постоянство. Теперь Каролину раздражало в старой подруге то, что со студенческих дней в Кембридже Элеонора, видимо, не изменилась по существу и, казалось, была счастлива такою и оставаться. Правда, Лоуренс был из таких же, но в Лоуренсе Каролине нравились многие качества, какие она не терпела в других. Она понимала, что эти ее чувства и нелогичны, и предвзяты, но не могла заставить себя чувствовать по-другому.

Глава 5

— Я сказала: "Уилли, так дальше продолжаться не может, не может — и всё".

Элеонора впадала в пьяную сентиментальность. Она вряд ли относилась к неврастеничкам, но безразлична Лоуренсу она была не поэтому. Просто ему был симпатичен Барон, а Элеонора, хотя ее измены и были ее личным делом, рассказывала о

них кому не лень, за исключением самого Барона, который о них и не подозревал.

Лоуренс впился взглядом в ее маленький золотой портсигар, словно тот был сама Книга Жизни, и кивнул в знак того, что слышит откровения Элеоноры.

— Если б он мне изменял, — продолжала она, — я бы могла это понять, могла бы простить. Но я даже не подозревала об этой мерзости, а ведь он, судя по всему, занимается этим долгие годы. Я, конечно, знала про его интерес к сатанизму и тому подобным штучкам, но думала, этот интерес чисто теоретический. У него полно таких книг, я-то думала — он их собирает. Но, похоже, это тянется уже много лет — черные мессы и всякое такое, жуть, спроси у Каролины, она все знает про черную мессу. Я чувствую, что он лично мне нанес личное оскорбление, словно я застукала его со шлюхой. Я сказала ему: "Уилли, придется тебе выбирать между мной и всей этой мерзостью, совместить одно с другим не получится". Потому что, Лоуренс, как я говорила, он нанес обиду моему здравому смыслу, не говоря обо всем прочем. А он ответил, что мое отношение его забавляет. Забавляет. Я не склонна к преувеличениям, больше того, я не религиозна, но я, Лоуренс, твердо знаю, что черная месса — поистине зло в самой ее сути. Я вполне допускаю, что он как-то воздействовал на Каролину.

— В каком это смысле, милочка?

— Не знаю, правда или нет, но я слышала, что недавно она провела ночь с Уилли и...

— Да, с его стороны было очень мило принять ее на ночь. Тогда она болела. Но, думаю, то был своего рода кризис. Он миновал, и сейчас она выздоравливает.

— Но я слышала, что после той ночи она начала слышать разные вещи. Так я слышала, а если тебе что-то рассказывают, пусть самое невероятное, как не услышать!

— Пойдем потанцуем, — предложил Лоуренс.

Это была их вторая попытка. Она держалась на ногах еще хуже, чем в первый раз, и все его усилия сводились к тому, чтобы не дать ей упасть.

— Слишком много народа, правда? — сказал он.

— Да. Пойдем выпьем.

Эрнест и Каролина уже вернулись с площадки. Элеонора сразу спросила ее:

— Каролина, что ты думаешь о черной мессе?

— Ничего не думаю, — ответила она, — но спроси у Барона. Он в этом понимает, по крайней мере, мне так говорили. — Тут она вспомнила, что Элеонора ушла от Барона, и сказа-

ла: — Лоуренс, хватит разглядывать портсигар Элеоноры будто старый еврей, что выискивает знак пробы.

— Я пытаюсь прочитать девиз, — сказал Лоуренс.

На верхней крышке портсигара красовался крохотный герб. Каролина с преувеличенным интересом наклонилась к Лоуренсу.

— Волчья голова, — сказал он. — Какой там девиз? Я не могу разобрать.

— "Fidelis et..."[1], а дальше не помню, — сказала Элеонора. — Хотя в свое время знала. Это герб Хогартов. Викторианская подделка, я думаю. Мой бывший муж подарил мне этот портсигар на свадьбу. У него была страсть ставить семейный герб буквально на всем — на ложках, щетках для волос, ты даже не представляешь. Нет, Каролина, если серьезно, ты не думаешь, что все мы подвержены влиянию зла из-за этих черных месс? Я выяснила про Уилли. Ты-то, должно быть, все время знала, а мне и в голову прийти не могло. Как ты, вероятно, знаешь, их служат на Ноттинг-Хилл-Гейт.

— Она ни о чем не может думать, кроме черной мессы, — вздохнул Эрнест.

— Ты бы тоже не мог, если б жил с сатанистом, — заявила Элеонора, и ее лицо исказилось. Положив ладонь на руку Каролины и сверля ее взглядом, она произнесла, растягивая слова:

— Каролина, бедняжка, тебя преследуют духи, верно? И ты ведь знаешь, кто за этим стоит?

— Но она одержима, — заявила Элеонора, все так же пристально глядя на Каролину.

Каролина в жизни не чувствовала себя менее одержимой. Она обнаружила, что становится тем спокойнее, чем очевиднее распад личности подруги, и это открытие повергло ее в шок.

— В жизни не чувствовала себя менее одержимой, — сказала она.

— Это я одержим, — произнес Эрнест, — потому что мы оказались на грани банкротства, а Элеонора бросила нашего единственного гаранта.

— Уилли не может забрать деньги из дела. Но он погубит нас всех по-другому. Я знаю. Я чувствую. Он напускает на нас могучую силу, — продолжала бредить Элеонора.

— Как звали вашего мужа? — спросил у нее Лоуренс.

— Ты воистину одержима, бедная девочка, — гнула свое Элеонора, по-прежнему сверля Каролину взглядом.

1. "Верный и..." (*лат.*)

— Хогарт, — сообщил Эрнест с улыбкой фокусника, вытащившего кролика из цилиндра.

— Мервин, — запоздало ответила Элеонора.

— По-моему, мы с ним встречались. Он часом не проживает в Лэдл-Сэндсе что в Суссексе?

— Да, — сказала Элеонора. — Умоляю, не напоминайте. Ему место в тюрьме. У меня была не жизнь, а трагедия, Лоуренс. Эрнест, правда у меня была не жизнь, а трагедия?

— Сплошная трагедия, — произнес Эрнест.

— А трагическая судьба этого мальчика-инвалида, — продолжала Элеонора. — Каролина, я ведь не рассказывала тебе о моем замужестве. Жуть. У него сын от первого брака, беспомощный инвалид. Но что я могла сделать? Такие трагедии происходят повсюду под влиянием злых духов, в них-то я верю. Эрнест, ты налил мне чистого лимонада, не скупись на джин.

— Ты надираешься, — сказал Эрнест.

— Разве это моя вина? Каролина, ты хоть сознаешь абсолютную силу черной мессы? Она, эта сила, действует все время.

— Я бы не стала переживать, — заметила Каролина. — Это всего лишь примитивные оргии, они не могут причинить большого вреда.

— Ты бывала на черной мессе?

— Ни разу. Я с трудом поспеваю на белые мессы по воскресеньям.

— Что такое белая месса? Эрнест, объясни, что такое белая месса.

— Она говорит о мессе, дорогая моя. Об обычной католической мессе, — сказал Эрнест.

— Ну, это совсем другое. А у черной мессы страшная сила. Она способна заставить предметы двигаться. Их не трогают, а они двигаются. Я про это столько всего читала. Еще там голые девушки, они всё говорят задом наперед. И непристойности. Эрнест, ты меня не принимаешь всерьез, а тебе бы сходить на черную мессу и поглядеть своими глазами. Наберись мужества. Я бы лично не посмела. Умерла бы на месте.

Каролина и Лоуренс в один голос сказали:

— Католики не могут пойти на черную мессу.

— Им не разрешается, — объяснил Эрнест.

— С ними обращаются как с малыми детьми, — сказала Элеонора. — Ты согласен, Лоуренс? — спросила она, потому что знала о его отходе от религии.

— Согласен, — миролюбиво ответил он.

— Если в черной мессе нет никакого чудовищного зла, то почему тогда ее запрещают? — настаивала она, не убирая ладони с руки Каролины.

— Я не утверждаю, что в ней нет великого зла, — ответила Каролина. — Я только говорю, что в ней много паясничанья.

— Бедная девочка, ты одержима злыми духами, — заявила Элеонора, выбрав такую минуту, что ее слова привели Каролину в бешенство. — На твоем месте я бы не имела дел с Уилли. Послушай моего совета и держись от него подальше.

— Бедняжка Уилли! — воскликнула Каролина с веселым смехом, хотя ее переполняла злость.

— Барон очень мил, видит бог, — рассеянно заметил Лоуренс, поскольку договаривался с Эрнестом, как им платить по счету.

— Уилли наживает деньги на черной мессе, — решительно заявила Элеонора. — Уверена, оттуда они у него и берутся.

— Да не может черная месса быть источником дохода, — снова вмешался Лоуренс.

— Продажа освященных облаток поставлена у них на широкую ногу, — сказала Элеонора.

— Поставка чего? — переспросила Каролина, в первый раз серьезно встревожившись, с тех пор как разговор пошел о черной мессе.

— Сомневаюсь, чтобы там придавали значение, освященные облатки или нет, — сказал Лоуренс.

— Я думаю, что придают, — возразил Эрнест. — Боюсь, что именно в этом, по всей видимости, смысл черной мессы.

— В наше время черная месса служится крайне редко, — сказала Каролина. — Сатанизм выдохся в двадцатые годы.

— Неужели? — спросила Элеонора, готовая оспорить ее слова.

Лоуренс перебил ее вопросом:

— Почему вы сказали, что вашему бывшему мужу место в тюрьме?

— Не лезь в чужие дела, дорогуша, — сказала Элеонора, скривившись в пьяной ухмылке.

— Вы не знаете, состоит ли с ним в родстве некая Джорджина Хогг?

— Как я понимаю, — заметила Каролина, — мы дошли до той стадии, когда каждый разглагольствует о собственной одержимости, не считаясь...

— Меня заинтересовало, — объяснил Лоуренс, — что на портсигаре Элеоноры тот же самый герб, что и на некоторых вещах Джорджины.

— Быть может, обе фамилии происходят от одного корня, — предположила Каролина. — Хогг и Хогарт.

По пути в гардероб Каролине пришлось взять Элеонору под руку, чтобы та не упала.

— Лоуренс что-то говорил о женщине по фамилии Хогг? Я не разобрала — так напилась, меня так тянет в сон.

В подтверждение она зевнула во весь рот.

Каролина ответила с преувеличенной точностью, ей не хотелось повторять то, что Элеонора уже знала.

— Да, говорил. Много лет тому назад она была нянькой или гувернанткой у Мандерсов. Лоуренс подумал, что между ней и твоим мужем может быть какая-то связь, потому что герб на твоем портсигаре, судя по всему, тот же самый, что на вещах миссис Хогг.

— Нянька с семейным гербом?

— Судя по всему. Такое вполне возможно, — сказала Каролина.

— Возможно, фамилии Хогг и Хогарт происходят от одного корня, — произнесла Элеонора, словно не слышала сделанного ранее предположения Каролины и эта мысль только что пришла в голову ей самой.

— Вот именно, — произнесла Каролина и заметила, что Элеонора осталась недовольна резкостью и окончательностью ее ответа.

Пока они ждали пальто, Элеонора спросила:

— Где ты сейчас живешь?

— На Куинз-Гейт, совсем близко от нашей прошлой квартиры.

— А Лоуренс?

— Лоуренс живет все там же.

— Официально, как я понимаю? — спросила Элеонора.

— Что ты имеешь в виду?

— Керри, милочка, я слышала, что Лоуренс не смог расстаться с тобой и задержался в твоей новой квартире.

— Ну, это на короткий срок. Я плохо себя чувствовала.

— На короткий срок! Вам, католикам, все сходит с рук. Вы, можно сказать, только и делаете, что забегаете в исповедальню между очередными "короткими сроками".

— Мы спим в разных комнатах, если ты это имеешь в виду. — Каролина страшно на себя разозлилась за то, что попробовала себя защищать, хотя никакой защиты не требовалось. Лоуренсу это тоже не понравилось бы. — Я ценю дружбу неизмеримо выше плотской любви, — прибавила она, попытавшись сгладить неловкость, но только усугубила ее.

Лоуренс и Эрнест ждали их с такси.

— Давай пройдемся, подышим свежим воздухом, — сказала Каролина Лоуренсу.

— Тогда и мы прогуляемся с вами, будет очень мило, — сказала Элеонора.

Но Эрнест с присущим ему тактом усадил ее в такси. Прежде чем распрощаться, Элеонора произнесла заплетающимся языком:

— Ты уж, Лоуренс, заботься о Каролине. Она только что мне сказала, что вы спите в разных комнатах. Это вы хорошо придумали, только не проболтайтесь. Но в любом случае это должно действовать вам на нервы. Немудрено, что Каролина одержима.

На другой день, они, вместо того чтобы отправиться поездом, выехали из Лондона на машине, хотя "эм-джи" Лоуренса давно пора было отдать в ремонт. Но они поздно встали и потратили время на бессмысленные разговоры сперва об Элеоноре, которая, по их единодушному мнению, была "бедняжкой", потом о самих себе.

Ночью Каролина почти не спала. Начать с того, что она пожелала Лоуренсу, который спал в кухне на раскладушке, "спокойной ночи" уже в пятом часу утра. Около получаса она пролежала без сна, затем застучала пишущая машинка и следом раздались голоса. При Лоуренсе это случилось впервые.

Услышав знакомый стук, она тихо позвала Лоуренса. Он был практически рядом, всего в паре метров, а дверь в кухню стояла открытой.

— Ты спишь?

Он мгновенно проснулся:

— Что такое?

— Оставайся у себя, только слушай. Опять этот звук. Не шуми.

Голоса уже завели свой речитатив. Она включила свет и схватила блокнотик и карандаш. Начало она пропустила и начала записывать со слов:

...вместо того чтобы отправиться поездом, выехали из Лондона на машине, хотя "эм-джи" Лоуренса давно пора было отдать в ремонт. Но они поздно встали и потратили время на бессмысленные разговоры сперва об Элеоноре, которая, по их единодушному мнению, была "бедняжкой", потом о самих себе. Тюк. Тюк.

— Ты это слышал? — окликнула она Лоуренса.

— Нет, милая, я ничего не слышал.

Он встал с раскладушки и вошел с тревожным выражением на лице.

— С тобой все в порядке?

Она сидела в постели, изучая стенографическую запись.

— Ничего не понимаю, — заявила она. — Ровным счетом ничего.

И она прочитала ему записанное.

— Твои мысли опережают время. Не волнуйся о завтрашнем дне. Мы сможем поспать подольше и уехать поездом ближе к вечеру.

— Эти слова не я придумала, мне их сказали, — заявила она, но как-то не очень уверенно.

— Мне перебраться к тебе?

— Сперва приготовь чаю.

Наутро они проснулись в двенадцатом часу.

За приготовлением омлета она поведала Лоуренсу, уверенно, как о неоспоримом факте, про свою теорию автора, который пишет книгу на основе их жизни.

Лоуренс знал, что страдающие от наваждений обычно находят доказательства в подтверждение своих самых безумных домыслов. С того времени, как он услышал про голоса, в нем не утихал внутренний спор о том, как это скажется на их с Каролиной отношениях. Отсутствие на магнитофонной ленте записей звуков, надеялся он, докажет ей, что они ей только кажутся. Но когда это не произвело на нее впечатления, он задался вопросом — способен ли он до бесконечности ублажать ее фантазию, с тем чтобы она оставалась для него все той же Каролиной, не считая этого единственного различия между ними в восприятии реальности. Или же реальность заставит их расстаться, и для него придет время порвать с ней со словами: "Каролина, ты неправа, ты ошибаешься, ты безумна. Нет никаких голосов, ни пишущей машинки — все это обман. Тебе нужно лечиться от душевного недуга".

Эти слова едва не сорвались у него с языка, когда она в халатике готовила им яичницу с ветчиной и вдруг заявила:

— Я выяснила, в чем тут дело.

Оказалось, что дело в фантастической идее, будто бы их с их знакомыми используют как действующих лиц романа.

— Откуда ты знаешь, что именно романа?

— Дело в том, — продолжала она, — что я стала объективно оценивать случившееся. Это признак того, что снова нормальна, правда?

Вот уж нет, подумал он. И даже позволил себе предположить:

— Ты работаешь в жанре романа, поэтому не может ли быть, что твой ум...

— Удобно, что я кое-что понимаю в романной форме, — сказала Каролина.

— Да, — согласился он, но немного поспорил с ней, задавая вопросы. — Автор бестелесен? — Этого она не знала. — Если да, то как он может печатать на машинке? Как она может его слышать? Способен ли один человек петь хором? — Этого она тоже не знала, и этого тоже. — Автор — человек или дух, и если дух, то...

— Откуда мне знать ответы на все эти вопросы? Я только-только начала сама их себе задавать. Автор, ясное дело, находится не в нашем, а в другом измерении. Это затруднит расследование.

Тут до него дошло, что против одних безумных доводов он приводит другие, что он спорит с чужим откровением. Он едва не пожалел о том, что утратил веру и поэтому не может с бóльшим успехом использовать католическую полемику в опровержение ее личной убежденности.

— С католической точки зрения, я мог бы сказать, что подобное убеждение опасно для души.

— Для души все опасно. С католической точки зрения, убеждение опасно в первую очередь соблазном его отрицать.

— Однако его следует поверять здравым смыслом.

— Я так и делаю, — сказала Каролина. — Я уже приступила к расследованиям.

— У тебя слегка расшалились нервы, — сказал он.

— У меня то, что следует называть галлюцинациями. Для здравого смысла это твердая истина.

— Каролина, милая, не нужно себя расстраивать.

— Здравый смысл не может меня не расстраивать, потому что он такая же истина, как существование автора или истины веры. И все эти истины причиняют мне боль, каждая на свой лад.

— Что я могу сделать? — спросил он далеко не в первый раз за последние дни. — Что мне сделать, чтобы тебе помочь?

— Ты сможешь время от времени уступать логике моего безумия? — спросила она. — Потому что в наших отношениях это будет неизбежным. В противном случае мы потеряем друг друга.

Ее ужасала возможность потерять Лоуренса.

— Я всегда старался войти в твой мир, разве нет?

— Старался, но сейчас я нахожусь совсем в другом мире.

— Не совсем, — возразил он. — Во всем остальном ты вполне нормальна.

Он подумал, не обидел ли ее своими словами, подумал, хватит ли у него решимости заставить ее сходить к психиатру.

— Нам придется держать это в тайне, — сказала она. — Я не хочу прослыть совсем уж рехнувшейся. Барон и так достаточно обо мне наболтал.

Они проговорили большую половину дня, когда Лоуренс позвонил на вокзал справиться о поездах, после чего сказал:

— Лучше поехать на машине. Одну поездку она потянет, к тому же в Хейворд-Хите мне ее быстренько починят, и можно будет ее использовать. Это куда удобней поезда.

— Ты можешь арендовать машину в Хейворд-Хите, — быстро возразила Каролина, — а я хочу отправиться поездом. Мы должны отправиться поездом.

— Не капризничай. Одевайся, а я пойду за машиной. Глупо ехать поездом, если можно добраться в автомобиле.

— Нет, я буду капризничать, — заявила Каролина и принялась искать блокнотик.

— До меня только-только дошло, — объяснила она, — что мы проводим день в точности как предсказали голоса. Мы поболтали об Элеоноре, раз. Потом о нас самих, два. Прекрасно. Мы проболтали весь день. В повествовании говорится, что мы поехали на машине. Прекрасно, значит, нужно отправиться поездом. Ты понимаешь, Лоуренс? Мы должны проявить свободу воли.

Он понимал. И подумал: "Какого черта, не будем же мы в рабстве у ее тайных фантазий".

— Не понимаю, — сказал он, — с какой стати доставлять себе неудобства по той или иной причине. Будем поступать естественно.

Но он видел, что Каролина твердо настроилась обмануть свой призрак именно в этом вопросе.

— Прекрасно, — согласился он. Его искренности, чувствовал он, грозит нехватка воздуха. Он желал, чтобы их отношения претерпели по возможности наименьшие перемены, но с их последнего разговора они стали меняться. Не то чтобы они с Каролиной разошлись еще больше, но он ощущал, что теперь она ступила на зыбкую почву и ее в любую минуту может безвозвратно от него оторвать. Он не знал, достанет ли у него сноровки поддерживать с ней отношения, а если да, то стоит ли поддерживать их за той гранью, когда Каролина может измениться до неузнаваемости.

Эти опасения сводили его с ума.

— Хорошо, поедем поездом, — сказал он.

От этих слов она разом повеселела, что изменило ход его мыслей. "Она поможет мне с бабушкой, несмотря на болезнь, — подумал он. — Отдых пойдет Каролине на пользу. Мы по-прежнему нужны друг другу". И еще он подумал: "Я ее люблю". Возбуждение при мысли о раскрытии бабушкиных тайн почему-то делало Каролину еще желаннее.

Чтобы вознаградить Лоуренса за уступку, она оделась и упаковала их вещи к половине шестого. Лоуренс диктовал по телефону телеграмму бабушке, что они приедут около восьми.

— Видимо, она ждала нас к ленчу, — сообщил он, кладя трубку.

— С нашей стороны это просто свинство.

— Но она так нам обрадуется, что не станет упрекать. Ты готова?

Не отходя от рабочего столика, на котором стоял телефон, Лоуренс оторвал на календаре несколько просроченных листков.

— Теперь ты снова живешь сегодняшним днем, — заметил он.

— Когда я сижу за столиком, я отрываю автоматически, — грустно сказала она. — Не люблю, когда календарь отстает. Я и вправду должна поскорее вернуться к книге.

Они собрались идти, Лоуренс взялся за чемоданы, но Каролина все еще смотрела на календарь.

— Какой сегодня день? — спросила она. — Неужели первое ноября?

— Верно. Уже ноябрь. Поторопись.

— День Всех Святых, — продолжала она, — ты ведь знаешь, что это значит?

Лоуренс подобно большинству людей, воспитанных в католичестве, мигом вспоминал подобные вещи.

— Обязательный праздник — это значит, что нужно посетить церковь.

— А я не была на мессе!

— Ну, тут уж ничего не поделаешь. Да ты не переживай. Если ты и вправду забыла, это не считается смертным грехом.

— Но раз уж вспомнила, то обязана сходить на мессу, если есть такая возможность. В Оратории[1], вероятно, служат позднюю мессу. Вероятно, в половине седьмого. Я обязана пойти. Ты ведь и сам понимаешь, правда?

— Да, вполне.

Он действительно понимал. Для него не составляло труда понимать обязательства, налагаемые католической верой, он постоянно сталкивался с ними в своей среде. Ему было много легче иметь дело с новообретенным католичеством Каролины, чем с ее новообретенным психозом. И ему не составило труда ей сказать:

— Мы не можем снова подвести бабушку. Разве это не уважительная причина, чтобы не пойти на мессу?

Он предвидел ответ:

— Ты отправляйся на машине, а я приеду поздним поездом.

Поэтому, радуясь отвоеванной свободе поехать в автомобиле, он сразу же предложил:

— Будет лучше вместе поехать в автомобиле после мессы. Мы сможем поспеть к восьми вечера.

1. Лондонская Оратория — католическая церковь общества ораторианцев в районе Брайтон.

В целом она почувствовала облегчение. Ее решимость отправиться поездом подорвали очевидная необходимость побывать на мессе и нежелание и дальше изводить Лоуренса.

— Ты ведь не возражаешь? — сказал он, поскольку понял, что она благополучно справилась с выбором, а ему не хотелось быть тираном. Поэтому он позволил сéбе роскошь несколько раз переспросить:

— Дорогая, ты уверена, что согласна? Ты не против поехать в автомобиле?

— В конце концов, — заявила она, — это не моральное поражение. Месса — достойное обязательство. Но уступать требованиям чужого романа недостойно.

Он рассмотрел это заявление с философской точки зрения и заметил:

— Уступка несущественна, так что в этом смысле благородство обязывает.

"Вот черт, — подумала она, — он и это понимает. Почему же он тогда не католик?" Она улыбнулась, подняв бокал: поскольку спешить им теперь не требовалось, Лоуренс выудил бутылку, которую она бережно уложила ему в чемодан в отведенный для нее уголок.

Заполненные верующими чудовищные пространства бромптонской Оратории неизменно действовали на нее угнетающе. Стоило ей войти, и на память ей, как всегда, пришел стих из Книги Иова: "Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя".

Последние две недели она много времени проводила в обществе Лоуренса, теперь же оказалась одна в окружении незнакомых лиц, в гуще пугающего сборища и особенно остро почувствовала, что ее испытание отделяет ее от других людей. Она полностью сознавала, что периодически попадает под наблюдение незваного гостя. Она постепенно отвлеклась мыслями на другое — на новую необычность своей жизни, и, хотя ее слух и зрение отмечали ход мессы, в себя ее привели только стихи проскомидии: "Justorum animae..."[1]. Когда началась главная часть мессы, она заставила себя на время отвлечься от мыслей о страданиях.

— После мессы ты всегда бываешь в плохом настроении, — заметил Лоуренс, ведя машину по плотно застроенным улицам.

1. "Души праведников..." (*лат.*).

— Знаю. Для меня лично — это одно из свидетельств веры. Разве ты не видишь, что это доказывает истинность мессы? Отчаяние плоти.

— Субъективизм чистейшей воды, — ответил он. — В тебе, по-моему, есть что-то квиетистское. И много манихейского. А также катарского.

Его натаскивали на распознание ересей.

— Еще что-нибудь?

— Ты книжница и фарисейка — попеременно, в зависимости от настроения.

— Меня тошнит от оформления бромптонской Оратории, — заявила она в качестве еще одного оправдания, ибо, когда он встретил ее после мессы, она была мрачнее тучи.

— О церкви не говорят "оформление", — сказал он. — Мне, по крайней мере, так кажется.

— А как, в таком случае, говорят?

— Точного слова не припомню, но чтоб "оформление" — такого не слышал.

— От твоего католического воспитания много пользы, — заметила Каролина, — Новообращенные всегда могут рассчитывать получить у таких, как ты, консультацию по второстепенным вопросам.

Наконец они выбрались из города. Каролина взяла с заднего сиденья запасное пальто с капюшоном и натянула на плечи и голову, так, чтобы укрыться от Лоуренса в этой импровизированной палатке. Он понял, что она пытается подавить раздражение. На самом деле, ей все сильнее действовало на нервы то, что к ним был прикован взгляд тайного наблюдателя. Решимость держаться естественно усугубляла ощущение неловкости.

Мысли Лоуренса были заняты бабушкой, и он непроизвольно прибавил скорость.

С неприятного визита миссис Хогг к Хелене миновало два дня. Как ни странно, Каролина, узнав о нем, просто не поверила. И теперь, когда он вернулся к этой теме, заявила:

— Нет, Хелена, должно быть, ошиблась. Я не представляю миссис Хогг в роли шантажистки.

— Но ты же сама видела, какая она.

— Не думаю, что именно этот порок для нее характерен. Что она вскрыла твое письмо — это я представляю. У меня впечатление, что она из тех женщин, которые действуют импульсивно. Она способна творить любое зло под видом добра, но не пойдет на заведомое преступление. Слишком она суеверна. Сказать по правде, миссис Хогг всего лишь католический кошмар вроде оловянных медалей и кровоточащих сердец. Я не вижу ее в роли хладнокровной шанта-

жистки. Хелена, должно быть, вообразила все эти скрытые угрозы.

И Каролина продолжала болтать, одержимая желанием говорить, вновь и вновь повторять каждое свое утверждение, лишь бы не допустить молчания. Ибо такое молчание заключало в себе ее глубочайшее безумие, жуткую бездну страха, подозрение, которому ни в коем случае нельзя было поддаваться. Оно засело в ней, как ком в горле, — ни туда, ни сюда. Бесформенная идея, что миссис Хогг каким-то образом выступает в союзе с преследующим ее невидимкой. Она не желала ни говорить об этом, ни даже в мыслях облекать это в словесную форму.

Лоуренс не видел ее лица, скрытого под капюшоном. Его выводило из себя, что Каролина, видимо, выступает на стороне миссис Хогг, пусть и в такой мелочи.

— Мы знаем ее двадцать четыре года. Дорогая, мы знаем ее лучше, чем ты. Она — воплощение зла.

Каролина резко возразила, и он, стремясь вернуть их отношения в нормальное русло, миролюбиво ответил:

— Да, вероятно, у старухи Джорджины благие намерения, но так или иначе она натворила много бед, а в этот раз перешла все границы. Мы не можем позволить мучить бабушку в ее-то годы, что бы там ни затеяла старая дама. Правда, не можем?

Таким путем Лоуренс пытался унять ее раздражение и завоевать благосклонность.

Каролина и в самом деле смягчилась, однако потом, к его удивлению, разразилась сердитой тирадой:

— Не думаю, что миссис Хогг хочет мучить твою бабушку. Больше того, я не думаю, что твоя бабушка и вправду замешана в какой-то подозрительной истории. По-моему, ты все это навоображал из-за нескольких случайных совпадений.

Странно. Обычно уступка со стороны Лоуренса вроде "Да, вероятно, у старухи Джорджины благие намерения" вызывала у Каролины вполне положительную реакцию. Поэтому он попробовал еще раз:

— Есть и другое, над чем нужно подумать. "Ключ", который мне подсказал портсигар Элеоноры. Уверен, это тот же герб, что и у Джорджины. Я убежден, что между Джорджиной и этой парочкой Хогартов существует какая-то связь.

— С моей точки зрения, совершенно ясно, что эти мысли формируются у тебя в голове с подачи романиста, который изобретает некий надуманный сюжет. Я ясно вижу, что твой мозг работает под давлением чужой воли, а ты сам превращаешься под сильным внушением какого-то безответственного писаки в сыщика-любителя из дешевого детектива.

— С чего ты взяла, что сюжет надуман? — спросил он, что с его стороны было довольно мило.

— Не могла же я изучать роман три года и не знать определенных формальных приемов. В этом случае, как мне кажется, имеет место попытка выстроить наши жизни по удобному гладенькому сюжету. Чтоб твоя бабушка была гангстером — разве это возможно?

Прямо перед ними черный лакированный спортивный автомобиль с открытым верхом, в котором ехали две девушки, занесло на мокрой дороге.

— "Санбим-альпин", — заметил он.

— Ты меня слушаешь, дорогой?

— Во все уши.

— Твоя бабушка — гангстер, это уж слишком. Это неправдоподобный характер, разве не видишь?

— Зато самая правдоподобная личность из всех, что я знаю. Кого хочешь обведет вокруг пальца.

— Я имела в виду характер в литературном смысле, разве не ясно? Такой она быть не может. То же и миссис Хогг. Разве эта набожная корова может быть шантажисткой?

— Я считаю, что она смогла принести тебе много зла. Должно быть, она основательно поиграла на твоих нервах. Она несет зло. После встречи с ней тебя не узнать.

Сквозь шум двигателя и дождя он разобрал ее слова:

— Ты не понимаешь, о чем говоришь.

— Не понимаю.

— Лоуренс, ты и в самом деле считаешь вероятным совпадение гербов на портсигаре Элеоноры и на щетке для волос миссис Хогг?

— Ну, — ответил он, — это совпадение не я придумал, оно было.

— Все зависит от нашего выбора. Если б ты не выискивал связи между Хогартами и жалкой миссис Хогг, ты бы не наткнулся на герб. А если б тебя не подталкивали в нужном направлении, ты бы его не искал. Я сама едва не поймалась на эту удочку, когда ночевала у Барона. Он случайно обронил замечание, из которого можно было заключить, что последний год он тайно и часто встречается с твоей бабушкой. Но лично я отметаю такое подозрение — я не желаю, чтобы моими мыслями и действиями управляло некое неизвестное и, возможно, злое существо. Я намерена подвергнуть его проверке разумом. Мне посчастливилось быть христианкой. Посчастливилось...

— Ты считаешь, что Барон встречался с бабушкой? — выпытывал у нее Лоуренс. — Что заставило тебя так думать? Это очень важно, милая, расскажи.

— Нет, — заявила Каролина. — В этом все дело. Я не позволю впутать себя в этот надуманный сюжет, если только сумею. Вообще-то я хочу испортить этот сюжет. Если удастся, я остановлю действие романа. Я обязана это сделать.

— Расскажи, что Барон говорил о бабушке, — настаивал Лоуренс. — Прояви благоразумие, милая.

— Нет, это меня впутает. Я намерена отойти в сторону и посмотреть, имеет ли этот роман настоящую форму, помимо надуманного сюжета. Мне посчастливилось быть христианкой.

Она наговорила о сюжете еще много чего. Лоуренс впал в отчаяние и подумал: "А ведь она и вправду безумна, и с этим ничего не поделаешь. Каролина безумна". Лоуренс еще прибавил скорость и довел ее почти до семидесяти миль в час, когда машину занесло и она опрокинулась. "Санбим-альпин" затормозил и развернулся. Лоуренс еще не потерял сознания, несмотря на острую боль в груди, и увидел, как девушки выпрыгнули из их блестящего спортивного автомобиля и поспешили к его покореженной машине, из которой он был не в состоянии выпутаться.

Рядом он увидел и Каролину с залитым кровью лицом. Одна ее нога была загнута за спину самым неестественным образом. Она издала чуть слышный стон и дернулась, и это зрелище погрузило его в беспамятство.

Часть 2

Глава 6

Три раза в неделю к Луизе Джепп приходила женщина убираться в доме. В один из таких дней в коттедж нагрянула миссис Хогг.

Миссис Джепп перехватила ее на пороге со словами:

— Не могу пригласить вас в дом, миссис Хогг. Прислуга как раз моет полы. Вы по делу?

— Тогда, может, после полудня, — сказала миссис Хогг, бросив взгляд поверх плеча Луизы в коридор, дальняя дверь которого была распахнута в зелень сада позади дома.

— Нет. После полудня я собираюсь проведать внука в больнице. Юный Лоуренс попал в автокатастрофу. Вы по конкретному делу, миссис Хогг?

— Мне бы хотелось справиться, как Лоуренс себя чувствует.

— Очень мило с вашей стороны. Юный Лоуренс понемногу поправляется, как и мисс Каролина, хотя ей пришлось хуже. Я передам Лоуренсу, что вы о нем спрашивали.

Луиза всем своим видом давала понять, что считает разговор законченным.

— Мне нужно кое-что сказать Лоуренсу. Поэтому я сама и приехала.

— С самого севера Англии, путь неблизкий, — констатировала Луиза.

— Я приехала на день. Из Лондона.

— Обойдите дом, мы поговорим в саду.

Стоял тихий ноябрьский день, солнечный, но неяркий. Луиза провела посетительницу через маленький зеленый газон, по которому гуляли голуби, к скамейке у логанового куста.

Миссис Хогг уселась с ней рядом, порылась в хозяйственной сумке, извлекла из нее старую пелерину из рыжей лисы, набросила на плечи и разгладила мех. — Уже не лето, — объяснила она.

"Моя поденщица и то держится благородней, а ведь эта женщина из хорошей семьи", — подумала Луиза и произнесла:

— Вы хотели сказать юному Лоуренсу что-нибудь важное?

— Я узнала, что вы называете меня препротивной, — сказала миссис Хогг.

— В жизни всегда что-нибудь узнаешь, — заметила Луиза, моргнув черными глазами в такт собственным мыслям. Миссис Хогг видела только маленькие руки, сложенные на коленях под коричневой тканью.

— Миссис Хогг, что вы хотите передать юному Лоуренсу?

— Только что он может не беспокоиться. Его я не стану привлекать к уголовной ответственности. Он поймет, что́ я имею в виду. И еще, миссис Джепп, — продолжила она, — вам тут одиноко, совсем одной.

— Вовсе мне не одиноко. Я не буду передавать юному Лоуренсу такое идиотское сообщение. Если у вас к нему претензии, будьте добры напишите сэру Эдвину. В настоящее время моего внука нельзя беспокоить.

— Вы и вправду должны помнить, сколько вам лет, — сказала миссис Хогг. — Не следует вести себя как младенец.

— Я не позволю вам жить со мной, — сказала Луиза.

— Вам нужна компаньонка.

— Я не слабоумная и, надеюсь, никогда не стану ей в такой степени, чтобы выбрать вас в компаньонки.

— Зачем вы храните бриллианты в хлебе?

Луиза не вздрогнула и даже не замялась. Больше того, ее сразу озарило: найти тайник — как это похоже на Лоуренса!

— Не отпираюсь, такая у меня привычка.

— Вы предаетесь греху.

— Преступлению, — возразила Луиза. — Слово "грех" тут едва ли подходит...

Миссис Хогг встала, не сводя безресничных глаз со смуглых рук на коричневой ткани. Неужели эта женщина и вправду выжила из ума?

— Подождите. Сядьте, — сказала Луиза. — Я хочу рассказать вам все о моем преступлении.

Ободренная таким образом, миссис Хогг произнесла:

— Вы должны поговорить со священником.

Тем не менее она села, чтобы послушать Луизину исповедь.

— Я занимаюсь контрабандой, — сказала Луиза. — Не стану вдаваться в детали — память у меня уже не та, но у меня своя банда. Что вы на это скажете, милейшая Джорджина?

Луиза покосилась на миссис Хогг и сделала губы уточкой, словно целовала ветерок. Миссис Хогг застыла. Уж не пьяна ли она? Но в конце-то концов, на семьдесят девятом году жизни...

— Банда? — наконец переспросила миссис Хогг.

— Банда. Нас четверо. Я главная, трое других — мужчины. Они тайно привозят бриллианты из-за границы.

— В хлебных буханках?

— Не стану вдаваться в подробности. Я же сбываю камни в Лондоне через моих агентов.

— Ваша дочь про это не знает, — заявила миссис Хогг. — Если все это правда.

— Вы, разумеется, уже побывали у леди Мандерс? И рассказали, что сказано в украденном вами письме?

— Леди Мандерс очень за вас тревожится.

— Ну да. Я это исправлю. А сейчас я назову вам участников моих контрабандных операций. Если вы все будете знать, то, уверена, впредь не станете беспокоить мою дочь.

— Можете на меня положиться, — заявила миссис Хогг.

— Не сомневаюсь. Итак, первый — некто мистер Вебстер, местный фермер. Замечательный человек, но сам он за границу не ездит. Про его роль в моих контрабандных операциях я лучше умолчу. Затем пара, отец и сын, грустная история: мальчик — инвалид, но заграничные поездки приносят ему много пользы, да и отцу тоже. У них фамилия Хогарт. Отца зовут Мервин, а сына — Эндрю. Такая вот у меня банда.

После этих слов Джорджина Хогг разом сникла. Отвратительная меховая пелерина сползла у нее с плеча.

— Мервин и Эндрю! — произнесла она сдавленным голосом.

— Совершенно верно. Сами они именуют себя Хогартами.

— Вы порочны, — заявила миссис Хогг.

— Письмо вам теперь не понадобится, — сказала Луиза, — но все равно можете его оставить себе.

Миссис Хогг собрала меховую пелерину на своей необъятной груди и произнесла, не шевеля верхней губой — манера, неизменно поражавшая Луизу своей необычностью:

— Вы порочная женщина. Преступная порочная старуха, злобная старуха.

С этими словами она поспешно ушла.

Луиза вытащила ящик кухонного шкафчика, достала оттуда сложенную белую скатерть и аккуратно расстелила на краю стола у окна. Затем извлекла тонкую писчую бумагу и авторучку и написала послание из шести строчек. Сложила листок и положила на шкафчик, а белую скатерть вернула на место. Убрала авторучку и писчую бумагу, взяла листок и вышла в сад. Села на скамейку и в безмолвии мягкого ноябрьского денька несколько раз тихо повторила:

— Гули, гу-ули!

Вскоре из высокой голубятни выпорхнул голубь и сел на скамейку рядом с Луизой. Она скатала записку в крохотный свиток, засунула за ленточку на лапке серебристой птицы, погладила ей клюв смуглыми пальцами и отпустила. Голубь взмыл в небо и повернул в сторону Лэдл-Сэндса.

Бывает, что человек, укрепленный в вере неукоснительным соблюдением всех обрядов на протяжении полувека, медленно, но верно достигший в своем религиозном рвении абсолютного совершенства, доверчиво восходящий к Творцу извилистым земным путем, а чтобы для большей верности вдвойне застраховаться, два раза в день дополняющий медитации дыхательной гимнастикой, — бывает, что такой человек впадает в панику перед лицом неприятностей, с какими сталкивается впервые. Если это случается, окружающие приходят в смятение. Если человека, который занимается религиозными медитациями, почитали за мудрость и самообладание, то его явная неспособность противостоять обычным житейским бедам причинит почитателям боль. Радуются лишь те, кто воплощает духовные крайности. Дьявол — своему примитивному торжеству, а праведнейшие души — усматривая в этой реакции свидетельство той истины, что человек по природе своей подвержен слабостям, несмотря на постоянные молитвы и дыхательные упражнения.

К счастью, такое случается редко. Элементарный инстинкт способен измерить границы человеческой святости, и всякий, кто снискал себе славу благочестивого человека благодаря молитвам, дыхательным упражнениям и паре добротных сочинений, вознагражден за свои труды хотя бы тем, что редко кто докучает ему необычными проблемами.

Вот почему мало кто обращался к сэру Эдвину Мандерсу с необычной просьбой или заговаривал с ним о сверхъестественном.

Он справился (что правда — то правда) с шоком от автокатастрофы; Лоуренс и Каролина попали в надежные руки. Он не позволил себе заразиться страхом Хелены благодаря сильному и решительному характеру. Он мог бы как-то умерить и сгладить другую тревогу Хелены — по поводу предполагаемой преступной деятельности ее матери. Мог бы извлечь для себя из этого удара по своей мирной жизни некую личную духовную выгоду. А мог бы и не извлечь. Хелена по наитию не отягощала его этими заботами. Она не знала, чем там занимается Луиза, однако понимала, что эту проблему не решить с помощью Мандерсовой чековой книжки. Хелене не хотелось видеть мужа в состоянии замешательства. Он каждое утро ходил к мессе, раз в неделю исповедовался, принимал у себя кардиналов. Он по целому часу медитировал, погруженный в столь полное молчание, что можно было различить дыхание мотылька. И Хелена думала: "Нет, нет и нет", когда ее воображение рисовало того же Эдвина, неспособного переварить то, что его теща руководит бандой и прячет в хлебе бриллианты, к тому же очень возможно, что краденые. Поэтому Хелена доверила все свои тревоги брату мужа, Эрнесту, который плыл по жизни туда, куда гнал попутный ветер, и за которого она так истово молилась.

— Я считаю, что Эдвина не следует беспокоить. Он в определенном смысле безгрешен. Ты ведь меня понимаешь, Эрнест?

— Разумеется, миленькая, но ты же знаешь, что я самый неподходящий человек для общения с Луизиными великими гангстерами. Вот если б я мог пригласить их пообедать в мой клуб...

— Не сомневаюсь, что можешь, раз моя мать имеет с ними дело, — сказала Хелена.

Через неделю Хелена отправилась в квартирку Каролины на Куинз-Гейт уложить ее вещи. Из-за перелома ноги Каролине предстояло пролежать в больнице не меньше месяца.

Хелена дожидалась Эрнеста, который должен был к ней присоединиться. Она на минутку присела на диван-кровать. Ей стало на нем так уютно, что она подобрала ноги, откинулась на груду подушек и решила так полежать до прихода Эрнеста. В комнате было прибрано, но все говорило о том, что Лоуренс с Каролиной превратили квартирку в подобие семейного очага. Это откровение не повергло Хелену в ужас — только удивило, но удивление быстро прошло. Несколько лет тому назад она примирилась со связью Лоуренса и Каролины и, когда они расстались, конечно, благочестиво возликовала, но и почувствовала романтическую печаль, пожалела, что они непонятно с

чего отложили свадьбу. Тем не мене ее слегка озадачили признаки того, о чем она уже знала, — что Лоуренс и Каролина живут в одной квартире, живут безгрешно, но внешние проявления безгрешности при этом отсутствуют. Управляющий спросил ее: "Как там мистер и миссис Мандерс? Вот не повезло, ведь только что поженились". Хелена проявила сдержанность и не проговорилась. Подобного рода замечания — и квартира, где галстук Лоуренса свисает со спинки стула, — конечно, шокируют, но шок быстро проходит.

— Я отдыхала. Так утомительно сновать между Лондоном и деревней, — сказала она Эрнесту, когда того привел этот приятный низкорослый господин.

Первые несколько дней после автокатастрофы, когда Каролина пребывала в долгом наркотическом сне, Хелена поочередно жила то в местной гостинице, то у матери в Ледилисе. Она вела себя с осторожностью и не сказала ничего такого, что могло бы насторожить старую даму. Один раз она ночью провела мысленный разговор с Луизой: "Мама, я сама не своя из-за этого несчастного случая, не хватало мне еще переживать из-за тебя. Лоуренс мне рассказал... он считает... твоя шайка... бриллианты в буханке... скажи, это правда или нет?.. Что ты затеяла... на какие средства живешь?.."

Но если за этим нет ничего серьезного? Семьдесят восемь — возраст почтенный. Хелена раздумывала, засыпала, просыпалась и снова раздумывала. А если у нее будет удар? Хелена нередко скрывала от Луизы свои мысли из опасения, как бы у матери не случился удар — давняя боязнь Хелены.

Поэтому она не сказала ничего такого, что могло бы насторожить Луизу, проявляла особую бдительность, и тут Луиза както вечером, когда Хелена вернулась домой из больницы, объявила:

— Приходила твоя миссис Хогг. — Хелена не сумела скрыть тревогу. — Но я отправила ее восвояси, — сказала Луиза, — и, думаю, больше никогда ее не увижу.

— Господи, мама, что ей было нужно?

— Стать моей компаньонкой, милая. Я в состоянии прекрасно обходиться одна.

— Тебя что-нибудь беспокоит, мама? Господи, ну почему ты не разрешаешь себе помочь?

— Еще чего! — ответила Луиза. — Клянусь тебе, вы все для меня — великое утешение, и, когда дети поправятся, все у нас будет великолепно.

— Кстати, — сказала Хелена, — я привезла тебе из Хейвордс-Хита подарок, на радостях, что Лоуренсу стало лучше.

Устройство для открывания банок. Луиза вытащила плетеную корзинку, в которой держала хозяйственные инструменты. Хелена прижала машинку к дверце буфета, и мать принялась завинчивать винты, твердо держа отвертку в старых пальцах.

— Жизнь прекрасна, если не расслабляться, — заметила Луиза, загоняя шурупы на место.

— Тебе это пригодится? — спросила Хелена.

— Ну конечно, — ответила Луиза. — Сейчас и опробуем. — Они открыли банку крыжовника. — Именно то, что мне нужно, чтобы открывать мои банки. Ты правильно догадалась. В тебе, милая, должно быть, есть наша цыганская интуиция, только ты ее не развиваешь.

— Ну, мама, ты просто преувеличиваешь. Согласись, в том, что я купила тебе открывалку, нет ничего сверхъестественного.

— Послушать тебя, так действительно нет.

Хелена успела воспользоваться одной из отлучек матери и проверить хлебницу. Никаких бриллиантов в хлебе не обнаружилось, равно как и в жестянках с рисом, чаем и сахаром в прочих укромных местах на полках маленькой кладовки, где Луиза также хранила снабженные аккуратными наклейками бутылки и банки с собственными заготовками, которые время от времени обновляла.

— Джорджина не грубила тебе, не хамила? — в последний раз попытала счастья Хелена.

— Она неприятная женщина, такая уж уродилась. Не могу понять, зачем ты ей покровительствуешь. Я бы ее к себе и на порог не пустила.

— У нее была трудная жизнь. Мы ее пожалели. Не думаю, что от нее можно ждать большого вреда. По крайней мере... нет, не думаю. А ты?

— Все могут причинить вред и причиняют, хотят того или нет. Но миссис Хогг — женщина непорядочная.

Все было тихо-мирно, и Хелена подумывала, уж не ошибся ли Лоуренс и сможет ли миссис Хогг использовать его дурацкое письмо.

Все это Хелена выложила Эрнесту, когда того проводили в квартиру Каролины. Этим надеждам она сама позволила окрепнуть за несколько недель после несчастного случая, когда она порою одна, а порою с мужем моталась в автомобиле между Лондоном и деревенской больницей. Лоуренс отделался переломом ребер, и вскоре его смогли забрать домой. Каролина пришла в себя — голова в бинтах, нога в гипсе и подвешена на растяжках — и сразу стала ныть, как ей

больно, что было хорошим знаком. Все могло обернуться много хуже.

— Боюсь, что подозрения Лоуренса возникли на пустом месте. Но они меня так встревожили, так встревожили, а тут еще автомобильная катастрофа. Все могло обернуться много хуже, но у меня уже не осталось сил.

— Представь себе, миленькая, и у меня тоже.

Интонации и жесты Эрнеста выдавали его с головой! Она видела, как он взял пеньюар Каролины из синей парчи, чтобы его сложить, — он помогал Хелене собирать вещи, — и вдруг, совершенно инстинктивно, застыл в позе перед трюмо, накинув пеньюар на ляжку.

— Парча — полный отпад!

К удивлению Хелены, это почти не вызвало у нее отвращения.

— Чашка чаю нам бы не помешала, Эрнест. У тебя найдется шиллинг для счетчика?

Он пошел поставить чайник на газовую плиту, она же обратилась мыслями к его непростой жизненной ситуации. У Каролины мужчины его типа никогда не вызывали отторжения. Хелена подумала, что теперь, когда он перестал предаваться греху и вернулся в лоно церкви, и ей стало легче мириться с его женоподобием. Однако задолго до этого Каролина, когда у них как-то зашел разговор об Эрнесте, заявила: “А я считаю, что Господь сказал бы на это ‘Не смейте презирать Моего возлюбленного извращенца, сотворенного Мной гомосека’”.

— Еще бы, — ответила тогда Хелена. — Ну а если уважать таких — значит, насиловать собственную природу?.. Иного ближнего любить ох как трудно.

— У меня свои предрассудки, — ответила Каролина, — так что и ваши предрассудки мне понятны. Просто Эрнест не числится в моих предрассудках, вот и все.

Уйдя в эти воспоминания, Хелена вдруг поняла, что не сводит глаз с Эрнеста. Как он задирает манжету и странно выворачивает запястье, разливая чай. Каролина, с ее тонким пониманием мифологии, увидела бы в нем прекрасного гермафродита, подумала Хелена, которая вдруг поняла, что и сама готова посмотреть на Эрнеста ее глазами.

— Мне вчера удалось проведать Лоуренса, — сообщил Эрнест, — и он хорошо выглядит, учитывая обстоятельства, правда?

— Слава Богу, — согласилась Хелена.

— Он передал мне вот это, — Эрнест продемонстрировал красную записную книжку, — и рассказал то, что знает о знакомых твоей матушки.

— По-моему, Эрнест, тут нечего бояться. Я несколько дней пожила в коттедже и внимательно следила за всем, но не заметила ничего подозрительного. Мне остается признать, что Лоуренс, вероятно, ошибся. Судя по всему, к такому же выводу пришла и миссис Хогг — она нагрянула к маме в мое отсутствие, так мама спокойно спровадила ее восвояси. Я уверена, хотя мама не упомянула про это, что она приходила в связи с письмом Лоуренса.

— Вот и я бы так решил. Именно так, — согласился Эрнест, тщательно складывая синий пеньюар Каролины. — Однако, — добавил он, — я, оказывается, отдаленно знаком с одним человеком из шайки миссис Джепп.

— Вот как! С кем же?

— С Мервином Хогартом. Бывшим мужем Элеоноры. Весьма странный тип. Лоуренс думает, что миссис Хогг, возможно, имеет к нему определенное отношение.

Хелена возразила, что это маловероятно.

— Ни разу не слышала, чтоб она упоминала фамилию Хогарт, — сказала она, взяла у Эрнеста записную книжку и начала ее перелистывать. Составленное Лоуренсом скудное досье имело безжалостный привкус реальности. Оно пробудило страхи Хелены. Лучше всего она себя чувствовала, когда могла свести жизнь к метафоре, но жизнь в прозаических своих проявлениях, даже наиболее возвышенных, ее удручала. Она внимательно вчитывалась в сухие заметки Лоуренса.

— Что ты об этом думаешь, Эрнест? Втянута мама в это дело или нет?

— Почему не спросить ее саму?

— Она ни за что не скажет.

— Лоуренс считает, что нам надо это расследовать, — сказал Эрнест. — Вообще-то я ему уже обещал.

— Лоуренс пояснил тебе эти заметки?

— Более или менее. Ты только, пожалуйста, не расстраивайся.

— Я надеялась, что больше нечего опасаться. Объясни мне все это, пожалуйста.

Она продолжала листать записную книжку, надеясь наткнуться на какую-нибудь мелкую глупость, которая выявит всю нелепость предположения, будто ее престарелая мать может состоять в организованной преступной группе. Хелену так и подмывало порвать записную книжку в клочки.

— У нас было мало времени, Лоуренс не успел пояснить все записи. Он хочет, чтобы я поехал туда и пару недель пожил по соседству. Тогда я бы мог вести расследование под его руководством и ежедневно ходить к нему за указаниями.

Они долго проговорили в таком духе, и Хелена твердо решила, что Эрнесту нужно пару недель пожить в Хейвордс-Хите.

– Мы должны докопаться до "корней" этой тайны, не потревожив маму, – заявила она. – Лоуренс это прекрасно понимает. Я уверена – чем решительней мы будем действовать, тем скорее он встанет на ноги. Мы обязаны действовать. Я знаю о твоей осторожности, Эрнест. Я не желаю, чтобы маму хватил удар, Эрнест. Мы должны молиться.

– Я попробую встретиться с Хогартом, – пообещал Эрнест. – Может, уговорю его приехать в Лондон.

Он налил им по второй чашке чаю, причем задранная манжета снова обнажила по-женски вывернутое запястье.

Хелена вспомнила, как Каролина, с ее даром безошибочно "вписывать" людей в подходящие им исторические декорации, однажды вписала Эрнеста в обстановку французского королевского двора семнадцатого века. "Он родился позже своего времени, – объяснила она, – и в этом отчасти его ценность для нынешнего столетия". А Лоуренс не так давно спокойно констатировал: "Эрнест не покупает галстуки, ему их шьют на заказ. На пять восьмых дюйма шире, чем у всех прочих".

Родители во многом учатся справляться с жизнью у своих детей. Благодаря Лоуренсу, а в последние годы и Каролине, душевная организация Хелены претерпела изменения. Она, по крайней мере, была готова согласиться с тем, что Эрнеста, в духе христианского сострадания, как она его понимала, следует не только принимать каким он есть, но ценить его как личность, как отступление от нормы. Хелену даже немного восхищало его "исправление", как она это называла. Но когда он отказался от связи с мужчинами, она понадеялась, что за этим последуют и внешние изменения. Ее огорчило и озадачило, что его вид и манера держаться остались неисправимо женственными, и она поняла, что у людей вроде Лоуренса и Каролины эта его манерность не вызывает отторжения.

Эрнест складывал вещи, она укладывала их в чемодан, и так они почти все упаковали. Чего не упаковали, то собрали, чтоб отнести в автомобиль.

– Выкурим по сигарете, мы так наработались.

– Думаю, этот аппарат принадлежит Каролине, – сказала Хелена.

Эрнест присел скорчившись на низкую скамеечку для ног и поднял крышку аппарата:

– Магнитофон. Вероятно, Каролина использовала его для работы.

Он повозился с магнитофоном, нажал на клавишу. Послышался слабый стрекот, затем мужской голос произнес с преувеличенной задушевностью “Дорогая Каролина...”

Через несколько секунд Хелена узнала голос Лоуренса, потом, после короткой паузы, заговорила Каролина. Слова Лоуренса шокировали Хелену, а слова Каролины показались бессмыслицей.

— Ой, вот глупенькие лапочки, — сказал Эрнест.

Хелена протянула Эрнесту пальто — пусть поухаживает.

Она чувствовала себя одинокой как едва ли не последний человек во вселенной, безнадежно неспособной понять Лоуренса и Каролину. Новые потрясения и новые открытия следовали одно за другим, и вечная обязанность мириться с тем, что было противно ее натуре... Ей хотелось домой, в теплую расслабляющую ванну. Она устала, изнервничалась и вообще была сама не своя.

Она была в дверях, когда Эрнест — он звонил управляющему — ее позвал:

— Посмотри, что я нашел. Блокнот, наверняка Каролинин.

Красный блокнот для записей лежал на нижней полочке телефонного столика. Он взял блокнот и отдал Хелене.

— Как хорошо, что ты его заметил, а то у меня совершенно из головы вылетело. Каролина специально о нем говорила. Просила принести блокнот со стенографическими записями.

Хелена раскрыла блокнот. Почти все записи представляли собой стенограмму, и только на одной странице имелась обычная запись. Ее взгляд упал на слова “Возможные фигуранты”. — Должно быть, это связано с расследованием Лоуренса, — заметила Хелена.

Она вернулась к этой страничке уже в машине, ожидая Эрнеста с вещами, но так и не смогла разобраться. Под шапкой “Возможные фигуранты” шел перечень:

Сатана
женщина
гермафродит
души в чистилище

— Ничего не понимаю, — сказала Хелена, аккуратно убирая блокнот в сумку с вещами Каролины. — Решительно ничего.

Глава 7

Стоял теплый, подернутый синеватой дымкой денек. В самом начале третьего высокий подтянутый старик вошел в книжную лавку. Барон Сток был один и ждал его.

— О, мистер Вебстер, как вы пунктуальны, какая огромная любезность с вашей стороны предпринять эту поездку. Прошу пройти прямо через зал во внутренние покои, да, во внутренние покои.

Когда кто-нибудь из многочисленных знакомых Барона Стока — в отличие от немногих близких друзей — заходил к Барону на Чаринг-Кросс-роуд, он неизменно получал приглашение пройти во внутренние покои. Клиенты, коммивояжеры и книготорговцы не допускались дальше большого торгового зала. Барон проявлял крайнюю щепетильность в отношении "внутренних покоев" — убогого, удобного и совершенно невзрачного помещения в задней части дома, где все было заставлено рассыпающимися штабелями книг и папок, за исключением "пятачка"; тут на потертом красном ковре стояли три старых кресла, а посредине — иностранного вида гудящая керосиновая плита. Допущенным во "внутренние покои" и знающим привычки Барона следовало, прежде чем сесть, подождать, чтобы он прикрыл газетой сиденье каждого кресла. "Здесь, мои дорогие, чудовищно грязно, я не позволяю здесь убираться".

— Ну вот, — произнес Барон, усадив мистера Вебстера на чистый газетный лист. — Как поживает миссис Джепп?

Мистер Вебстер сидел прямо и напряженно, отвечая Барону, он поворачивался к нему верхней частью корпуса.

— Рад сообщить, что она хорошо себя чувствует, однако, к сожалению, сильно переживает из-за внука.

— Да, скверный случай.

— Да, он еще легко отделался. У молодой дамы — бедняжка — перелом ноги, но и с ней могло быть хуже, как нам говорят.

— Бедная Каролина, я знаю ее много лет. На следующей неделе собираюсь ее навестить.

— Прошу великодушно простить за предупреждение, Барон, но если вы намерены побывать в наших краях, то в настоящее время вам лучше ни при каких обстоятельствах не навещать миссис Джепп. Хогартам пришлось отказаться от поездки в Европу, и они часто бывают у нее в коттедже.

— Что случилось? Почему отказались?

— Миссис Джепп показалось, что Мандерсы намерены вникнуть в ее дела. Она считает, что поездки следует прекратить до весны. Хогарты были готовы отбыть, но она их в последнюю минуту остановила. Сама она совершенно спокойна.

— А меня все это основательно тревожит. Хогарты подозревают о моей роли в вашем деле?

— Думаю, вам нечего опасаться. Мы с миссис Джепп весьма осмотрительны и не упоминаем имен. Вы всего лишь "лон-

донский посредник" миссис Джепп. Дальше этого их любопытство не шло.

— А Мандерсы? Боюсь, Лоуренс их на что-то настроил, он такой наблюдательный, просто ужас. Я всегда опасаюсь, когда он приезжает к бабушке.

— Миссис Джепп его очень любит.

— Ну еще бы, я тоже люблю Лоуренса. Я много лет знаю Мандерсов. Но Лоуренс крайне любопытен. Как по-вашему, могут Мандерсы подозревать о моей роли в этом деле?

— Случись что, их буду интересовать только я и Хогарты. Не думаю, Барон, что вам следует волноваться.

— Я вам скажу, почему я тревожусь. Ни Хогарты, ни Мандерсы меня разоблачить не рискнут. Во-первых, они сами втянуты в дело. Во-вторых, втянута старая дама, так что Мандерсы, конечно, захотят скрыть все, что выяснят. Но вот совпадение — Мервин Хогарт интересует меня по другому поводу. Я договорился, что меня с ним познакомят, и не хочу путать одно дело с другим.

"Ага, речь о женщине, бывшей жене Хогарта", — подумал мистер Вебстер, но он ошибался.

— Хогарт сегодня в Лондоне, — сообщил он Барону. — Я видел его в поезде, но сам счел за лучшее не попадаться ему на глаза.

— Он вас точно не видел? Не могло случиться, что он из чистого любопытства проследил за вами до моей двери?

— Нет, больше того — это я следил за ним, пока он не вошел в какой-то клуб на Пиккадилли. Так-то, Барон, хе-хе.

Продолжая по-стариковски хихикать, он вручил Барону небольшой аккуратный пакет со словами:

— Не забыть бы передать это вам.

Барон осторожно его развернул и извлек баночку с наклейкой, надписанной четким почерком Луизы Джепп — "Селедочные молоки".

— Миссис Джепп выразила большое желание, чтобы вы съели эти селедочные молоки, — продолжал мистер Вебстер. — Она поручила сказать, что они очень питательные, а другое содержимое баночки совершенно безвредно.

— Обязательно съем, — ответил Барон, — обязательно.

Он засунул баночку в портфель, двумя поворотами ключа открыл ящик письменного стола, выдвинул и достал пачку незаполненных векселей. Пересчитал. Извлек вторую и тоже пересчитал, затем третью. Из четвертой пачки он отсчитал несколько бумаг и распределил их по трем первым пачкам. Остаток четвертой пачки он вернул в ящик, задвинул, закрыл на замок и передал пачки мистеру Вебстеру. Затем заполнил и вручил ему же три чека.

– Даты выписки – с промежутком в три недели. Проверьте, пожалуйста, общую сумму, а после сложите в этот плотный надежный конверт.

– Так оно надежней всего, – как обычно, заметил мистер Вебстер, подразумевая не конверт, а способ уплаты, и, как обычно, добавил: – Надежней всего в случае дознания.

Когда с делом было закончено и бумаги благополучно перекочевали в конверт, конверт – в портфель мистера Вебстера, а портфель защелкнут, Барон предложил:

– А теперь, мистер Вебстер, как насчет сигары и глотка "Кюрасао"?

– Спасибо, с удовольствием. Но я не должен засиживаться, сейчас рано темнеет.

– Вам что-нибудь известно о сатанизме?

– В былые дни мне много раз доводилось видеть колдовские обряды, главным образом в южноамериканских гаванях. Вас, Барон, тогда еще не было на свете.

– Вы моряк, – сказал Барон, – мне всегда казалось, что вы моряк.

– Я служил матросом на торговых судах, Барон, и навидался колдовства. В тамошних странах оно может принимать жуткие формы, уж вы мне поверьте.

– Я интересуюсь сатанизмом. Бескорыстно, я вас уверяю.

– Хо, не сомневаюсь, Барон. Для умеренного климата эта штуковина не подходит.

– Вот поэтому, – сказал Барон, – Мервин Хогарт и вызывает у меня интерес. Вы бы могли назвать его человеком мягким и сдержанным?

– Скажу так, Барон, – он мало говорит, хотя много болтает. Лично мне он неинтересен. Но миссис Джепп терпимо к нему относится, да, терпимо. Может, из-за его несчастного сына. Наше ремесло, оно как-то скрашивает ему жизнь. Бедный парень, бедняга.

– Удивились бы вы, мистер Вебстер, узнав, что Мервин Хогарт – главный сатанист Британских островов?

– Никогда бы не подумал, что этот тип хоть в чем-то может быть главным.

– Скажите, какое впечатление он на вас производит?

– Между нами, Барон, он производит на меня впечатление циника и, строго между нами, мизантропа. Неприятная личность.

– Но предан сыну?

– Чего не знаю, того не знаю. С парнем он обходится хорошо. Миссис Джепп считает – строго между нами, Барон, – что он возится с ним только в пику своей бывшей жене. По

крайней мере, такое у нее возникло впечатление при первом с ними знакомстве.

— Мысль продавать бриллианты пришла в голову миссис Джепп, верно?

— О да, и это приносит ей удовольствие. Миссис Джепп и сама бы не подумала с этим спорить.

— Хогартам что, деньги не нужны?

— Нет. Сам Хогарт — человек состоятельный, а несчастному молодому человеку только радость — водить за нос таможню.

— Когда миссис Джепп впервые предложила мне войти в долю — а именно она, представьте себе, открыла мне свой замысел, — она явилась прямо сюда, в лавку, несколько дней спустя после моего с ней и Лоуренсом знакомства и блестяще изложила свое предложение. Я понял, что она человек надежный. Посвятив меня в суть дела, она добавила, что если я соглашусь войти в долю, то должен взять на себя обязательство не выяснять методов, к которым прибегают более активные агенты. Обдумав ее предложение и убедившись, что схема оригинальна, тщательно разработана и учитывает неизбежный риск, что не вызывает у меня возражений, я принял условия миссис Джепп. Я все это вам излагаю, потому что, честно говоря, не имею права расспрашивать вас, каким именно образом Хогарты доставляют драгоценности. Еще несколько месяцев тому назад меня не очень интересовала эта сторона операции, но теперь она меня очень интересует, поскольку меня интересует деятельность Мервина Хогарта.

— Их методов я не знаю, — ответил мистер Вебстер, и Барон не мог понять, правда это или обман, поскольку цепкие голубые глаза мистера Вебстера не изменили своего выражения.

— Хогарт — сатанист и вызывает у меня острый интерес, поскольку меня интересует психология сатанизма. Вам, мистер Вебстер, неведомо безумие научного любопытства. Проявлять интерес и в то же время быть беспристрастным...

— Я вполне способен это понять, Барон. Но я бы никогда не подумал, что Хогарт-старший отправляет какие-то необычные ритуалы. Мне он кажется человеком изверившимся, отнюдь не горячим приверженцем чего бы то ни было.

— Это любопытный фактор, — оживился Барон. — По всему, что я выяснил о его личности, он просто погряз в неверии, он умен, ему все наскучило. Ему не везет с женщинами, он равнодушен к друзьям. И однако же он исступленный сатанист. Пусть это останется между нами, мистер Вебстер.

— Ну, конечно, Барон. А сейчас мне пора.

— Мои лучшие пожелания миссис Джепп, — сказал Барон и добавил: — Позаботьтесь, мистер Вебстер, чтобы риск был сведен до минимума.

— Ну, Хогарт совсем не опасен.

— Я не о Хогарте, я о нашем успешном деле. Мы — любители, а любителей провидение берет под особую опеку. Как легко профессионалы с их силами и организованностью терпят крах! Низвергаются подобно Люциферу...

— Вот именно, Барон.

— Но нам, простакам, трудно подставить ножку.

— Я бы не стал называть нас простаками, хе-хе! — сказал мистер Вебстер, выходя на улицу.

— В этом все дело...

Но старик уже удалился и его не услышал.

— Я не стану притворяться, будто понимаю женщин, — заявил Мервин Хогарт, отхлебнув бренди. Он поглядел на хозяина так, словно сомневался, что сказанное им уместно, ибо в седовласом мужчине с пухлым лицом проскальзывало что-то женственное, оставляющее двойственное впечатление.

— Боюсь, либо баранина не та, либо соус, — задумчиво изрек Эрнест Мандерс. В конечном счете он не поехал в Сассекс, а придумал план получше.

— Как я понимаю, вы говорите совершенно искренне? — спросил Мервин Хогарт.

— Вы о баранине?

— Нет, нет, я о том, что мы обсуждаем. Как я понимаю...

— Вот об этом и поговорим, мистер Хогарт.

— Мандерс, я никого не хотел обидеть, я просто хотел кое-что уяснить, не больше того. Мне кажется, что со стороны Элеоноры это более чем странный совет. Ей, несомненно, известна моя позиция.

— Вся заковыка, понимаете, в том, что мы временно оказались на мели. Барон Сток перестал нас поддерживать, и Элеонора сразу же вспомнила про вас, что вполне естественно. Как бы воздала вам должное.

— Да, несомненно.

— Но если не можете, то не можете, это легко понять, — сказал Эрнест.

— А вы к брату не обращались?

— Обращался. Мой брат Эдвин — мистик. Танцы его не интересуют, он вкладывает деньги лишь в то, что ему интересно. Но он дал нам пятьдесят фунтов. Элеонора купила на них платье.

— Без четверти три, — заметил Мервин Хогарт. — Подумать только, как бежит время. А мне еще предстоит пара дел, пара встреч. Вот тоска.

— Есть еще один вопрос, но раз вы спешите, то, может, в другой раз...

— Может, в другой раз... — но Мервин Хогарт произвел в уме мгновенные подсчеты, каковые, в подробном изложении, могли бы выглядеть так: билет 13 шиллингов, но в любом случае надо было приехать в Лондон; невкусная еда, но задаром; разочарование от переговоров (Эрнест пригласил обсудить "дело, представляющее для вас интерес"), но удовлетворение от известия о разрыве Элеоноры со Стоком и воспоследовавших денежных трудностях; раздражение от просьбы дать деньги, но удовлетворение от отказа; потерянное время, но вот у Мандерса остался еще один вопрос, который, быть может, оправдает эту встречу, а, с другой стороны, может подтвердить ее полную никчемность.

Все это в мгновение ока пронеслось у него в голове, и, когда Эрнест произнес "Есть еще один вопрос, но раз вы спешите, то...", Хогарт его перебил:

— Еще один?

— Может, в другой раз, — предложил Эрнест.

— Ну, еще полчасика у меня все-таки есть. Прошу вас, продолжайте.

"Как похож на женщину, — подумал Мервин. — Я словно посидел за ленчем с женщиной".

— У вас и вправду есть время? Мне бы хотелось сказать пару слов, возможно, они вас заинтересуют. Вы знакомы с моим братом Эдвином?

— Нет, с сэром Эдвином Мандерсом я не знаком.

— Он очень богат. А с Хеленой знакомы?

— С его женой? Не знаком, но знаю о ней.

— Она довольно мила. Вы встречались с ее матерью?

— Собственно говоря, я действительно знаком с миссис Джепп.

— Миссис Джепп, — повторил Эрнест.

— Замечательная старая дама. Мы близкие соседи, — сказал Мервин.

— Да, я знаю. Я слышал, вы регулярно ее навещаете.

— Я слышал, — произнес Мервин, — что ее внук попал в автокатастрофу.

— Отделался сломанным ребром. Он быстро поправляется.

— Ох уж эта молодежь. Я знаком с внуком.

— Я знаю, — сказал Эрнест.

Время приближалось к трем часам, они дважды наполняли стаканчики. Эрнест считал, что довольно удачно ведет разговор. Время шло, Мервин надеялся вопреки всему, но тянуть дальше и вправду не имело смысла. Эрнест с присущим ему мягким, учтивым упорством дал понять, что семейство Мандерсов начало разнюхивать дела Луизы Джепп. Мервин с удовольствием бы пристукнул Эрнеста за его бабьи манеры, и он сказал:

— Должен сказать, Мандерс, я не могу разглашать то, что миссис Джепп доверила мне в частном порядке.

— Разумеется, нет. И скоро вы отправляетесь за границу?

— Как я понимаю, этот фарс с приглашением меня на ленч, чтобы попросить о займе, вы на самом деле затеяли для того, чтобы получить возможность задать вопросы о миссис Джепп, на которые я никак не могу ответить, — закончил Мервин, нерешительно посмотрел на часы и заерзал в кресле. В глубине души Эрнест поздравил себя с успехом: "Он дожидается новых вопросов, новых наводок на то, много ли мне известно".

— В таком случае я не смею вас больше задерживать, мы очень мило посидели, — сказал он своему гостю.

Мервин встал.

— Послушайте, — начал он и замолчал.

— Да?

— Так, ничего.

Однако прощаясь с Эрнестом на верхней ступеньке крыльца, он сказал:

— Передайте Элеоноре, что я подумаю над ее предложением. Может, я в конце концов передумаю и немного наскребу, чтоб ее выручить. Но времена нынче, сами понимаете, трудные, а у меня еще сын-калека. На него много денег уходит.

— Выбросьте это из головы, — сказал Эрнест. — Даже не думайте.

— Передайте Элеоноре, я сделаю, что смогу.

Минуты четыре после ухода гостя Эрнест ломал голову над словами Мервина, сказанными в последнюю минуту. Затем он откинулся на спинку мягкого шоколадного цвета кресла и ухмыльнулся во всю свою моложавую физиономию, отчего его лоб пошел морщинами до самой кромки серебристо-белых волос.

Через полчаса он был в Кенсингтоне у Элеоноры, в ее школе танцев.

— Как дела? Что-нибудь вышло?

— Думаю, да, — ответил он.

— Он даст денег?

— Думаю, да.

— Эрнест, ты, верно, умеешь очаровывать мужчин. Я готова была поклясться, что ты не вытянешь из Мервина и засохшей макаронины, особенно в мою пользу. Он, как правило, жутко прижимистый. Что он сказал? Как ты этого добился?

— Шантажом, — ответил Эрнест.

— Каким образом, дорогой?

— Я же сказал. Конечно, полной уверенности еще нет, но я почти не сомневаюсь, что ты, моя дорогая, получишь деньги.

— Как ты умудрился?

— Непреднамеренным шантажом.

— Как это? Расскажи все.

— Я угостил его ленчем. Объяснил твои затруднения. Попросил о займе. Он отказал. Тогда я задал ему кое-какие вопросы совсем о другом, а он воспринял их как скрытый шантаж. После этого, уже на пороге, он уступил.

— Что за вопросы — те, про какие он подумал, что это шантаж? О чем они были?

— Прости, лапушка, но я не могу сказать. Это очень личное дело.

— Меня касается? — спросила Элеонора.

— Нет, совсем не касается, честное слово.

— Честное слово, что меня совсем не касается?

— Честное слово.

Это ее успокоило. Эрнест оставил ее погруженной в расчеты, в которых она учла субсидию от Мервина Хогарта. Она сидела на пушистом белом коврике, скрестив ноги, с бумагой и ручкой в руках. Складывала и умножала, словно и не было забот последнего времени, словно еще накануне не было разговоров и мыслей о банкротстве. Перед уходом Эрнеста она сказала:

— Не забудь возместить расходы на ленч.

— Хелена?

— Кто говорит? Ах, это ты, Эрнест.

— Я встретился с Хогартом.

— Уже? Где?

— В моем клубе. За ленчем. Жутко серьезный коротышка в пиджаке из харрис-твида[1].

— Рассказывай все, мне не терпится узнать.

— Лоуренс прав. Твоя мать и Хогарт несомненно связаны неким общим делом.

— Каким?

1. Тип твида ручной вязки, первоначально изготавливавшийся на Гебридских островах Харрис, Льюис, Уилст и Барра.

— Он, естественно, не стал говорить. Но дело это достаточно важное, чтобы заставить его сильно нервничать и стремиться нас успокоить. Он думает, что нам известно больше, чем мы знаем. Я считаю — очко в нашу пользу.

Когда Эрнест говорил с Хеленой по телефону, Мервин Хогарт поднимался на крыльцо облупленного неухоженного здания в Чизвике. Он нажал на кнопку звонка, ничего не услышал, снова нажал и долго не отнимал пальца. По-видимому, звонок неисправен. Он наклонился к почтовой щели и стал всматриваться, надеясь уловить какое-нибудь движение. В этот миг дверь распахнулась, и Мервин едва не упал через порог на какого́-то сомнительного типа в синем костюме и рубашке без воротничка.

— Миссис Хогг проживает здесь в настоящее время? — спросил Мервин.

Он уже бывал здесь. Тут обычно жила Джорджина, когда приезжала в Лондон. Он знал этот дом, и дом ему не нравился.

В этот день Каролина Роуз услышала в больничной палате стук пишущей машинки, услышала те самые голоса.

Он уже бывал здесь. Тут обычно жила Джорджина, когда приезжала в Лондон. Он знал этот дом, и дом ему не нравился.

Отделаться от Каролины Роуз не так-то легко. В этом месте повествования она прикована к больничной койке, и то, что с ней происходит, в любом случае не следовало бы допускать в сюжет. К несчастью, спала она беспокойно. Она не знала, что такое крепкий сон. И в ночные часы она, вместо того чтобы вызвать сестру и принять успокоительное, предпочитала смаковать свое бодрствование, наслаждение от которого только усиливал глубокий сон семи других больных в общей палате. Когда нога не очень ее отвлекала, Каролина в окружении спящих мысленно обращалась к искусству романа, размышляя и изумляясь на протяжении этих долгих часов и недолжным, непредсказуемым образом воздействуя на ход повествования, из которого ей полагалось быть временно исключенной.

Тюк-тюкити-тюк. Каролина в окружении спящих мысленно обращалась к искусству романа, размышляя и изумляясь на протяжении этих долгих часов и недолжным, непредсказуемым образом воздействуя на ход повествования, из которого ей полагалось быть временно исключенной.

Чудовищные груди миссис Хогг доставляли ей много тяжких переживаний не столько в плане уязвленного самолюбия — теперь, когда она преуспевала в жизни, с самолюбием все бы-

ло в порядке, — но когда она просто не знала, как с ними быть.

Тридцати пяти лет она поступила к Мандерсам гувернанткой их сыновей.

— Тебе не кажется, что она слишком полногрудая для семьи с детьми? — спросил Эдвин Мандерс жену.

— Не капризничай, Эдвин, прошу тебя. У нее прекрасный характер.

Лоуренс и Джайлс (старший сын, убитый на войне) были в полном восторге от необъятных грудей Джорджины. Для их описания Джайлс находил более поэтические образы, чем Лоуренс, — он заявлял, что под ее блузкой таится пара тыкв, пара китят, пара соборов Святого Павла или пара аквариумов с золотыми рыбками. Интерес Лоуренса к выпирающему фасаду Джорджины носил более житейский характер. Он изучил обширный набор ее лифчиков и бюстгальтеров, этих длинных полотнищ ярко-розовой или бело-желтой материи; одни из них были жесткими, как брезент, другие — более мягкими и податливыми; на одних болтались петли перепутанных завязок, на других красовались дырочки для шнурков, которые туго затягивались замысловатым узором, а третьи были снабжены потертыми крючками и петельками. Лоуренс точно знал, какой из этих предметов белья Джорджина носит в данное время. Одни награждали ее дополнительной парой грудей, другие напоминали спасательные жилеты, какие Лоуренс видел на картинках в детских книжках об опасных приключениях на море. Он безошибочно определил тот день, когда она надела сделанный по заказу бюстгальтер, ставший его матери в изрядную сумму. Тогда Джорджина готовилась уезжать, чтобы выйти замуж. Детей разочаровал ее новый лифчик, им казалось, что он придает ей нормальный вид, только, понятно, преувеличенно нормальный.

Мальчики не разделяли мнения матери о характере Джорджины и были рады, что ей пришлось уехать, чтобы выйти замуж за дальнего родственника.

— Этот ее родственник, он что — дурак?

— Тише, Лоуренс, мисс Хогг может тебя услышать.

Ребята убедились, что она подлючка и коварный тиран. По сравнению с ней подготовительная школа, куда они пошли через год, показалась им воплощением удивительного прямодушия и честности.

Светло-рыжие золотистые волосы, круглые светло-голубые глаза, "телесного цвета" поросячье лицо — к моменту бракосочетания Джорджина Хогг не была лишена известной привлекательности. На протяжении "трагических" послесва-

дебных лет (ибо беда, если она случается с людьми придурковатыми либо посредственными, оборачивается для них настоящей трагедией) — на протяжении всех этих лет миссис Хогг тщетно искала способ обуздать свои чудовищно растущие груди. На это она тратила больше денег, чем могла себе позволить; с таким же успехом можно пытаться перегородить дамбой море. К тому времени, как она повстречала Каролину в Святой Филомене, она приобрела привычку ничего не носить под раздувшимися блузками. "Такой сотворил меня Бог", — могла бы она подумать в свое оправдание, пользуясь новообретенной свободой.

..."Такой сотворил меня Бог", – могла бы она подумать в свое оправдание, пользуясь новообретенной свободой.

— Безвкусица, — прокомментировала Каролина. — Отвратительно. Вообще-то она "прослушала" почти весь абзац, посвященный миссис Хогг и ее грудям.

"Безвкусица" — характерное высказывание Каролины Роуз. И не она ли первая в тот раз в Святой Филомене с отвращением заметила просвечивающую блузку миссис Хогг? Да и тему грудей миссис Хогг ввела в повествование сама Каролина.

Тюк-тюк. Да и тему грудей миссис Хогг ввела в повествование сама Каролина.

Каролина Роуз вздохнула на своей больничной койке, размышляя о миссис Хогг, какой та ей запомнилась.

— Не живой персонаж, — подытожила она наконец, — а всего лишь горгулья.

Поднимаясь по лестнице, Мервин слышал, как лихорадочно снуют мыши, словно эта часть дома была нежилой. Он постучался и рывком открыл дверь. Джорджина предстала перед ним со своей неуместной улыбкой и колоссальным бюстом, пребывавшем в весьма своеобразном состоянии, какого он еще не видел, — скособоченный, одна грудь вздымается вверх, вторая устремлена вниз; возможно, Джорджина так волновалась перед встречей с ним, что у нее лопнула бретелька лифчика на правом плече.

Он скользнул в мягкое кресло, а она повернулась зажечь горелку под чайником.

— Я чаю не буду, — сказал он. — Скажи, почему ты вмешалась? Ты ходила к миссис Джепп. Какую игру ты ведешь?

— Я знаю, какую ведешь ты. Занимаешься контрабандой. — Она села в кресло у окна, так чтобы он не видел правую сторону, где лопнула бретелька.

— Тебе рассказала миссис Джепп.

— Да, и это правда. Она может себе позволить говорить правду.

— Эндрю участвует в деле, — сказал он.

— Ну, конечно, одно к другому. Ты уже развратил Эндрю, а теперь, как и следовало ожидать, превращаешь его в преступника.

— За чем конкретно ты ходила к миссис Джепп?

— Я знаю, что смогла бы ей сделать добро, выпади такая возможность. Она старая грешница. Но я не знала, что она свела дружбу с тобой и Эндрю. Она мне сказала "Мервин и Эндрю Хогарты", и меня как током ударило, в самое сердце. — Она вытащила платочек и промокнула глаза.

— Двоеженство, а теперь еще и контрабанда бриллиантов. Контрабанда бриллиантов, — повторила она название этого коронного преступления деланым голосом, задирая подбородок. В профиль она была очень похожа на Мервина.

Он решил ее напугать, хотя первоначально хотел только предупредить.

В этот день Джорджина Хогг могла не переживать из-за своего странного вида, ибо Мервин хоть и смотрел прямо на нее, видел ее как-то расплывчато. Она, как всегда, взбаламутила в его душе осадок давних бед, и он уже не мог видеть Джорджину из-за того, что ее образ разрастался до баснословных размеров — зримое воплощение ошибки всей жизни. Он утонет в Джджорджине, если ему не удастся ее напугать.

Он мог не бояться, что женщина, чей профиль рисовался на фоне окна, начнет когда-нибудь в открытую обличать его за брак с Элеонорой при живой неразведенной жене.

В детстве он видел, как обращается сестрица Джорджина с другими кузинами и кузенами. Десятилетняя Джорджина — с бледным лицом, рыжеватыми волосами, без ресниц на веках и жадная-прежадная — приехала на ферму на летние каникулы и заявила им:

— Я умею знать мысли у тебя в голове.

— Ты не знаешь, чего я сейчас думаю.

— А вот и знаю.

— Тогда скажи.

— Не скажу. Но я знаю, раз хожу в монастырскую школу.

Она раскрывала их проступки и использовала в свою пользу, но никогда не ябедничала. Она портила им игры.

— Я буду царицей индейцев.

— Ага, Джорджина, гора жира, царица толстух!

Даже Мервин, молчаливый ребенок, и то передразнивал Джорджину:

— Я буду царицей индеек!

— А ты украл два пенни, — в ответ заявляла Джорджина с таким довольным видом, будто уплетала толстый сандвич. Сила ее обвинения брала верх над Мервином, он начинал сомневаться — может, и правда, а в итоге, к концу дня, уже и сам верил ее словам.

На тридцать втором году жизни он на ней женился, вместо того чтобы изваять ее в камне. То была не первая его ошибка, и теперь ее присутствие — сидит вполоборота к окну и поочередно промокает глаза своим мерзким платочком — пронзило его непрошеной болью самопознания.

Ошибка. Оказалось, она совсем не в его стиле, ее мораль была столь же плоскогрудой, сколь чувственны были формы. Она говорила ядовитые слова, меж тем как груди ее набухали по ходу беременности. Прожив с ней почти четыре месяца, он ее бросил. Джорджина отказалась дать ему развод: женитьба на католичке была ошибкой. Не позволяла видеть их сына: женитьба на двоюродной сестре была ошибкой: ребенок родился калекой, и Джорджина моталась с ним по больницам и монастырям, везде, где устраивалась работать. В редких письмах Мервину она поливала его злобой с высоты собственного мученичества. Он посылал ей деньги, но ни разу не ответил на письмо.

На протяжении следующих двадцати лет Джорджина время от времени объявлялась у Мандерсов в Хампстеде, чтобы пожаловаться на свои беды. Хелена почти никогда не отказывалась с ней встретиться, хотя с трудом ее терпела. Шли годы, Хелена безропотно выносила эти неприятные встречи с малосимпатичной бывшей гувернанткой своих детей, выражала ей, как принято, сочувствие, совала в руку скромные подарки, а после ухода Джорджины возносила безотрадную молитву о душах в Чистилище.

— Уверена, что вам лучше без мистера Хогга, — часто говорила Хелена, когда Джорджина оплакивала уход мужа. — Такова воля Божия, Джорджина, — говорила Хелена, когда Джорджина сетовала на увечье сына.

А Джорджина отвечала:

— Да, и пусть он лучше будет калекой, чем язычником, как молодой Лоуренс.

Со всем этим Хелена мирилась отчасти по слабости, а отчасти благодаря силе характера.

Однажды Джорджина, как уже бывало, объявилась после долгого отсутствия во всеоружии уязвленной правоты. На сей раз она отшвырнула ногой кошку Мандерсов в тот миг, как вошла Хелена. Та сделала вид, что не заметила, и, как всегда, уселась слушать излияния Джорджины.

– Леди Мандерс, – произнесла Джорджина, прикладывая платочек к глазам, – мой сын ушел.

Поначалу Хелена подумала, что мальчик умер.

– Ушел? – переспросила она.

– Ушел жить к отцу. Каков обман! Этот мерзавец навещал у меня за спиной моего мальчика в инвалидном доме. Навещал несколько месяцев. Великое зло, леди Мандерс. У отца, как вы знаете, водятся деньги, а мой бедный мальчик, добрый католик...

– Но мистер Хогг наверняка не имел на это права. Вы можете потребовать вернуть вам сына. И куда только смотрели власти? Я займусь этим, Джорджина.

– Эндрю уже совершеннолетний. Уехал по собственной воле. Я ему написала, умоляла объяснить почему или повидаться со мной. Ни ответа, ни привета.

Позже Хелена сказала мужу:

– Бедняжка миссис Хогг. У нее были причины переживать. Жаль, что я не способна проникнуться к ней состраданием, в ней есть что-то отвратительное.

– Еще бы! – согласился муж. – Вспомни, ребята ее никогда не любили.

– Интересно, может, родной сын ее тоже не любит?

– Я бы не удивился!

– Может, ему лучше с мистером Хоггом?

– Я бы не удивился.

И только об одной катастрофе Джорджина Хогг запамятовала сообщить Мандерсам. О том, что Мервин стал двоеженцем, вступив во второй брак под вымышленной фамилией Хогарт.

Миссис Хогг отодвинулась от окна, чтобы зажечь газовую горелку.

– Превращаешь Эндрю в уголовника, – сказала она Мервину.

– Ему это по вкусу.

– Двоеженство, – сказала она, – а теперь контрабанда. В один прекрасный день тебя может ждать сюрприз. Я не намерена спокойно сидеть и смотреть, как ты губишь Эндрю.

Но Мервин знал – она ни за что не пойдет на разглашение бесценной тайны, которую держит против него. Он неизменно делал безошибочную ставку на Джорджину – шантажистку от нравственности, он с детства помнил ее хищное отношение к чужим неблаговидным секретам. Больше всех она лелеяла проступки, наказуемые по закону, и по этой причине ревниво оберегала свои жертвы от ока закона. Она на-

дежно хранила сведения о преступлениях, ей был нужен сам преступник, его душевный покой, если можно было им завладеть. С того дня, как миссис Хогг сделала сногсшибательное открытие о его двоеженстве, прошло уже три года. А все было предельно просто: она получила анонимку. В письме сообщалось, что ее муж, взяв себе фамилию Хогарт, зарегистрировал в отделе записей актов гражданского состояния брак с женщиной, которая с тех пор с ним проживает. Джорджина посчитала это вполне вероятным — настолько, что не доверила эту новость даже Хелене, которая могла пуститься наводить справки и поднять шум.

Джорджина появилась в Лэдл-Сэндсе, графство Суссекс, где обосновалась парочка, и закатила Элеоноре сцену.

— Вы не первый год живете с моим супругом.

— Совершенно верно, — согласился присутствовавший при сем Эндрю.

— Я должна попросить вас уйти, — повторяла Элеонора, совсем не уверенная, что имеет право этого требовать.

Банально и пошло.

Элеонора ушла от Мервина Хогга, теперь Хогарта, вскоре после разоблачения его двуличия.

Играя на двоеженстве, Джорджина одержала подпорченную страхом победу. Ее опасения, как бы Элеонора не затеяла против двоеженца судебный процесс, отчасти притупляла известная нелюбовь Элеоноры к скандалам.

— Но мое доброе имя пострадает больше, чем ее. Меня всегда уважали, а вот она — танцовщица, — заявила Джорджина в одно из своих непрошенных появлений в Лэдл-Сэндсе. Спекуляция на двоеженстве открыла ей двери в дом Мервина.

— Больше того, — заявила она, — эту историю нужно держать в тайне ради Эндрю.

— Мне без разницы, — сказал Эндрю.

— Представьте, что будет, если об этом узнают мои друзья Мандерсы, — сказала она, ставя на каминную полку почтовую открытку с портретом святой Терезы из Лизьё.

Она появлялась у них таким образом целый год, пока Мервин не пригрозил, что сдастся полиции.

— От шести до двенадцати месяцев за решеткой — невелика плата за спокойную жизнь, — заявил он.

— Хорошая мысль, — поддержал его Эндрю.

— Ты одержим дьяволом, — сказала ему мать и, в последний раз покидая их дом, бросила презрительный взгляд на лежавшие на столе разбитые гипсовые статуэтки: “Мервин надумал заняться лепкой, ясное дело”.

Он опасался Джорджины не потому, что та могла раскрыть его проступки, а из страха перед ущербом, какой мог причинить его телу и душе ее остервенелый моральный натиск на его жизнь, сильно смахивающий на проявление какой-нибудь совершенно первобытной мании.

— Раскайся и обратись, Мервин, — возгласила Джорджина.

Он задрожал и скорчился в кресле, пронизанный холодком опасности. Жажда обращать в Веру была у Джорджины неодолимой, потому что под Верой она разумела саму себя. Он почувствовал, что сжимается в жертву подходящих размеров, застывает на краю ее чудовищной пасти в ожидании быть пережеванным в кашицу и в таком виде отправленным в этот жуткий колодец, в эту глотку, которую он почти мог разглядеть, когда Джорджина улыбалась своей улыбкой всезабвенья. "Раскайся, Мервин. Обратись". Чтобы не дать обратить себя, быть может, даже химическим путем, в одну из клеток ее огромного ничто, он ухмыльнулся и быстро встал.

— Измени свою грешную жизнь, — возгласила она. — Вырвись из когтей миссис Джепп.

— Ты не знаешь ни что такое грех, — сказал он, обороняясь, — ни какая разница между добром и злом... путаешь Господа с Управлением налоговых сборов и еще Бог знает с чем. Сейчас я тебе скажу, что случилось из-за твоего вмешательства в мои дела. На наш след напали Мандерсы.

— Мандерсы? Они не посмеют ничего предпринять. Когда я рассказала леди Мандерс о моих подозрениях, она очень-очень перепугалась за мать.

— Ты рассказала леди Мандерс? Ты, я вижу, даром времени не теряла. Неудивительно, что почти все в курсе дела.

— К моему сожалению, она больше испугалась, чем огорчилась. Она не посмеет ничего предпринять, раз ее мать втянута в это дело.

— Старухе отводится в нашем деле незначительная роль. Ты что, думаешь, мы доверились выжившей из ума карге?

— Никакая она не выжившая.

— Миссис Джепп с нами мало что связывает. Почти ничего. Мандерсам нужны мы, они намерены поднять большой шум. Ты понимаешь их стратегию? Мы обманываем беззащитную старую даму. Именно такую линию гнул Эрнест Мандерс, мы с ним сегодня встречались.

— Эрнест Мандерс, — произнесла Джорджина. — Ты встречался с этим извращенцем?

— Да, он нас шантажирует. Из-за твоего вмешательства. Но я не позволю себя запугать. После всего, что со мной было, несколько лет заключения меня не волнуют. Эндрю, счи-

таю я, легко отделается благодаря увечью. Думаю, условный срок с помещением в инвалидный дом. Ему будет наплевать. Наша настоящая фамилия, ясное дело, всплывет, и тебя вызовут в качестве свидетельницы. Эндрю это без разницы. Он только вчера мне сказал: "А мне плевать".

— Ты погубил Эндрю, — возгласила она, как обычно.

— Я только-только собрался отправиться с Эндрю в паломничество к Черной Мадонне в Айнзидельн[1], — ответил он, — но из-за твоего вмешательства нам пришлось отказаться.

— Ты — в паломничество! — сказала она. — Не поверю, чтоб ты отправился в паломничество к святыне. Ни за что не поверю.

Сэр Эдвин Мандерс пребывал в затворничестве две недели.

— Эдвин две недели как пребывает в затворничестве, — сказала Хелена.

Ужинавший с ней Эрнест отметил, что с момента его прибытия она тихо, словно про себя, трижды произнесла эту фразу. "Вероятно, — подумал он, — она его любит". Какова бы ни была природа этой любви, он был поражен ее необычностью. Не то чтобы к его брату нельзя было питать высокое благородное чувство, но представить Эдвина последних лет окруженным домашней, подобающей жене любовью было довольно трудно, ибо он отдалился от мира, оставаясь при том милым, неизменно и однообразно милым.

Для Эрнеста обращение к брату с просьбами было сопряжено с невыносимой неловкостью. Он решил, что последняя попытка останется последней.

— Временные трудности, Эдвин. Перестройки в студии стоили нам приличных денег. Элеонора, к несчастью, ничего не понимает в делах. У нее сложилось впечатление, будто финансовый интерес Барона Стока к ее школе не имеет ничего личного — повторю, ничего личного, тогда как на самом деле, понимаешь ли, обязательства Барона были весьма ограничены, всего лишь форма покровительства. Как сам ты считаешь, тебе стоит или нет исполнить свое желание и поддержать наше с Элеонорой дело?

И далее в том же духе.

Эдвин был сама благожелательность.

— Если честно, Эрнест, — ответил он, — то меня вовсе не привлекает вкладывать деньги в школу танцев. Но вот что —

1. Крупнейший в Швейцарии паломнический центр.

выпишу-ка я тебе чек, а о возвращении денег даже не думай. Уверен, это лучший способ решить твои проблемы.

Он подписал чек, аккуратно сложил его, как положено, и вручил Эрнесту. Проделал он это с явной непринужденностью, да и в самой передаче денег не было ничего, что могло бы вызвать разумные возражения, но Эрнест ощутил чудовищную неловкость и непонятно почему разнервничался.

Из него полилось лавиной:

— Не знаю, Эдвин, как тебя и благодарить, а как обрадуется Элеонора, невозможно представить...

На самом же деле он только хотел сказать "Нам не нужен подарок, это деловое предложение". Но один вид улыбающегося брата лишил его слов.

— Да брось ты, не думай об этом, — ответил Эдвин; он казался удивленным, словно выписал чек в какой-то незапамятный год лет двадцать тому назад.

Эрнест сунул подарок в карман. От волнения его жесты стали преувеличенно женственными. Его брат вежливо заговорил о балете, о знаменитых танцорах и танцовщицах, каких ему довелось увидеть. Заговорил из чистой доброжелательности — Эрнест знал, что брат уже много лет как погружен в мир своей личной философии, если можно так выразиться. Искусства перестали питать Эдвина. С его стороны было очень мило говорить о балете, но это полностью выбило Эрнеста из колеи, да и вообще ему пора было идти домой спать. На другой день он вспомнил про чек, глянул на сумму и понес Элеоноре.

— Пятьдесят фунтов! Вот скаред! Твой брат достаточно богат, чтобы вложить деньги!

Эрнеста рассердил ее тон.

— Поменьше восклицательных знаков, — сказал он. — Брат не хочет вкладывать деньги в школу, разве не ясно? Ему страсть как хотелось быть милым. Пятьдесят фунтов — это щедрый подарок.

Элеонора купила себе очаровательное платье из черного шелка с шуршащими оборками, которое так шло к ее гибкой фигуре, что Эрнесту полегчало. Оставшиеся деньги ушли на первый взнос за янтарный браслет.

— Твой брат огорчился бы, узнав, на что ушли его священные деньги?

— Нет, совсем бы не рассердился, — ответил Эрнест, — и даже не удивился.

Хелена в четвертый раз пробормотала:

— Эдвин две недели как пребывает в затворничестве.

— Когда возвратится, — сказал Эрнест, — ты должна все ему рассказать, так будет лучше.

— Сперва мы все уладим. О своих проблемах я всегда сообщаю Эдвину, только когда они уже позади.

— Я думаю, больше нечего опасаться. Хогарт, этот жалкий желчный коротышка, по-настоящему испугался.

— Раз он испугался, значит, у наших подозрений имелись основания. Лоуренс был прав.

— Разве будет иметь значение, что мы не узнаем точно про делишки твоей матери, если решительно положим им конец?

— Мне бы хотелось знать немножко больше, — возразила Хелена.

Легкий дождик зашлепал по окнам.

— Давай обратимся в частное сыскное агентство и закончим с этим, — предложил он.

— О нет, они могут что-нибудь обнаружить, — вполне серьезно возразила она.

Эрнест — он страшно не любил мокнуть — ушел вскоре после ужина, опасаясь, как бы мелкий дождик не превратился в проливной.

С его ухода прошло около получаса, была половина десятого, Хелена подумывала о вечерней молитве и о горячей грелке в постель, поскольку в доме было прохладно, когда в дверь позвонили. Вскоре в гостиную заглянула экономка средних лет.

— Кто там, Айлин?

— Миссис Хогг. Я усадила ее в прихожей на стул. Она хочет вас видеть. Говорит, что видела свет в гостиной.

Айлин была знакома с миссис Хогг — это была та самая девушка, чье замужество много лет тому назад устроил Лоуренс, прочитавший ее любовные письма. Хотя она не так давно вернулась на службу к Мандерсам, изрядно до того поколесив по свету, она помнила о своих кухонных днях и особенно о миссис Хогг достаточно живо, поэтому ей не нравились ни появления этой женщины в доме, ни ее разговоры с леди Мандерс в гостиной.

— Я как раз собиралась ложиться, Айлин. Решила сегодня лечь пораньше...

— Я ей так и скажу, — заявила Айлин и исчезла.

— Нет, пригласите, — крикнула Хелена вдогонку.

Айлин еще раз заглянула в гостиную, всем своим видом давая понять, что требует четкого окончательного распоряжения.

— Отправьте ее сюда, но скажите, что я собиралась ложиться.

Она почувствовала возбуждение от предстоящей встречи с миссис Хогг. Она ощутила свою силу – глубокое равнодушие и свободу безоглядно стать на сторону матери, если это потребуется.

Этого не потребовалось. Миссис Хогг проявила смирение. Начала она с извинений за предыдущий приход в связи с письмом Лоуренса:

– У меня было нервное расстройство. Я переработала в Святой Филомене. Иной раз за день проходило до ста тридцати паломников...

– Разумеется, Джорджина, – сказала Хелена.

Джорджина перешла к объяснениям. Она заново все обдумала. Ясно, что она неправильно поняла письмо молодого Лоуренса. Теперь она видит, что это он так шутил.

– Вам вообще не следовало его читать. Оно было не вам адресовано.

– Я хотела, как лучше, – заявила Джорджина, прикладывая платочек к глазам. Она вручила письмо Хелене.

– Что это? – спросила Хелена.

– Письмо Лоуренса. Сами увидите, как я обманулась.

Хелена разорвала письмо надвое и бросила в огонь.

– Я надеюсь, вы ничего больше не станете делать в связи с этим, – сказала Джорджина.

– В связи с чем? Письмо сгорело. Что еще я могу с ним сделать?

Разговор затянулся на полчаса, пока до Хелены дошло, как отчаянно гостья стремится положить конец всему расследованию. А ведь не прошло еще и месяца, как миссис Хогг заявилась в коттедж ее матери. Хелену озадачила такая перемена, однако вид миссис Хогг, прикладывающей платочек к источающим слезы глазам, смягчил ее подозрения.

– Я рада, Джорджина, что вы образумились.

– Я хотела сделать, как лучше, миссис Мандерс.

– Если не ошибаюсь, вы навещали мою мать. Зачем?

– Я думала, ей может понадобиться компаньонка, – ответила миссис Хогг невыразительным голосом. – Вы сами не так давно мне об этом сказали.

Хелена ощутила прилив храбрости.

– Вы хотите сказать, что предложили миссис Джепп свои услуги, когда считали ее преступницей?

– Католик может сделать много добра среди нечестивцев.

– Моя мать к ним не относится, Джорджина.

– Да, я это хорошо понимаю.

В дверь постучали:

– Ваша грелка в постели.

— Спасибо, Айлин.

Миссис Хогг встала со словами:

— Стало быть, я могу считать дело закрытым.

— Что вас, в конце концов, беспокоит? Разумеется, тут больше ничего не предпримешь, — сказала Хелена.

— Слава Богу! Теперь у меня будет легко на душе.

— Какое положение вы сейчас занимаете? У вас есть работа? — привычно спросила Хелена.

— Нет, леди Мандерс.

— И никаких перспектив?

— Никаких. Это меня тревожит.

— Приходите завтра в пять.

Прежде чем лечь спать, Хелена позвонила Эрнесту.

— Я звоню, Эрнест, только сказать, что после твоего ухода ко мне приходила миссис Хогг. По каким-то причинам она упорно стремится положить конец всем расспросам. Извинялась за свои подозрения.

— Ну, так оно и к лучшему, правда?

— Да, я понимаю. Но тебе не кажется довольно странной такая внезапная перемена, да еще именно сейчас?

— Тебе не кажется, что она замышляет шантаж? К чему только шантажисты ни прибегают, сама знаешь.

— Нет, не замышляет. Она даже отдала мне письмо Лоуренса, и я сожгла письмо у нее на глазах. Я хорошо со всем справилась, Эрнест.

— Не сомневаюсь. Что ж, со стороны миссис Хогг нам больше нечего опасаться.

Она была ему благодарна за это “нам”.

— Возможно, и вправду нечего. Я велела ей зайти завтра поговорить о работе. Хочу держать ее под присмотром.

— Хорошая мысль.

— Но мне лично, — сказала Хелена, — начинает казаться, что у Джорджины не все дома.

В этот час мистер Вебстер, лежа в постели над пекарней, мысленно перебирал удачи прошедшего дня. Несмотря на усталость, он, вернувшись из Лондона, направился прямо к миссис Джепп и слово в слово пересказал ей разговор с Бароном. Затем они, как всегда, подсчитали расходы и положенную каждому прибыль.

— Я рада, что отправила селедочные молоки, — сказала Луиза. — Чуть-чуть не послала фрукты, но молоки станут для Барона Стока приятным разнообразием. От селедки ума прибавляется.

— Удачный был день! — сказал мистер Вебстер, наградил стены улыбкой и откланялся.

Для Барона Стока день тоже был особенным. Он ненавидел делать деньги, но волей-неволей этим приходилось заниматься. Не будь книжная лавка роскошным приложением к его личности, она стала бы его тяжкой обязанностью.

После ухода милейшего старика Вебстера, Барон закрыл лавку и пошел домой, прихватив Луизину баночку с селедочными молоками. Дома он открыл баночку, вывалил содержимое на блюдо и окинул взглядом влажные белые слои рыбьих зародышей. Вооружившись ножом, он принялся отделять молоки одну от другой, бережно извлекая заложенные между ними маленькие катышки белой вощеной бумаги. Закончив с этим, он выложил бумажные "пилюльки" на блюдечко, расположился перед камином и начал их разворачивать. Бриллианты были восхитительны, они подмигивали ему твердым ледяным блеском, когда он подошел к окну разглядеть их получше.

Тем же вечером Барон за рюмочкой "Кюрасао" у себя дома решил, что делать дело — занятие утомительное. Его утомляло раз в три месяца отправляться в Хаттон-Гарден и вяло препираться о цене с тамошним ювелиром. Он лениво расслабился в гамаке своих мыслей, мягко покачиваясь над течением прошедшего дня, и перед отходом ко сну начал письмо Луизе.

"Селедочные молоки, моя дорогая миссис Джепп, стали для меня изысканнейшим легким ужином в завершение весьма утомительного (но и приятного) дня. Я уложил их на хлебцы и приготовил на рашпере — объедение! Я в восторге от вашего искусства презервации. Содержимое вашей баночки было утонченнее устриц, необычнее..." Но его мысли переключились на иные деликатесы, таинственного Мервина Хогарта, занятнейшую черную магию.

Особенным этот день оказался и для Мервина Хогарта, который, возвратившись в Лэдл-Сэндс, застал Эндрю в одном из свойственных ему приступов мерзкого настроения. Когда они находили на Эндрю, он плевал на всех в самом буквальном смысле. Эндрю был оставлен на попечение деревенской женщине, которую он до того заплевал, что она ушла домой раньше оговоренного времени, бросив молодого калеку одного в наступающих сумерках. Когда Мервин добрался наконец до постели, он пролежал в темноте далеко за полночь, раздраженно вспоминая коварство Эрнеста Мандерса, безвкусный ленч, шантаж; и жалобно бормотал про себя "Ну и денек, ну и денек".

А уж какой денек выпал миссис Хогг, этой горгулье, которая взбиралась в Чизвике в свою кишащую мышами комнату. Ко-

гда она открыла дверь, две мыши одна за другой мгновенно юркнули в свою норку под газовым счетчиком.

Однако, войдя в свою комнату, миссис Хогг исчезла — взяла и исчезла. У нее вообще не было личной жизни. Бог знает, куда она девалась, оставаясь одна.

Глава 8

В высшей степени сомнительно, чтобы Мервин Хогарт хотя бы раз в жизни даже мельком подумал о черной магии или оккультизме. Ему никоим образом нельзя было приписать длительный интерес к сатанизму, колдовству, черной магии или иным подобным культам, не говоря уж о занятиях ими. Барон Сток, тем не менее, думал иначе.

Он сумел собрать доказательства только к Новому году. Своими соображениями он часто делился с Каролиной, поскольку после ее возвращения в Лондон они виделись почти так же часто, как раньше. Теперь она снимала квартирку в Хампстеде, совсем недалеко от Барона. Лишь легкое покалывание в ноге перед дождливой погодой напоминало ей о переломе и, напоминая, заставляло удивляться, что она пережила серьезную аварию.

— Странно, — заметил Барон, — что Элеонора меня оставила непонятно почему. Вы что-нибудь слышали?

— Я знаю, она подозревала, что вы участвуете в черных мессах и тому подобном, — ответила Каролина.

— Не удивляюсь, — сказал Барон. — Женщина с ограниченным интеллектом, как у Элеоноры, неспособна отличить интерес к какой-либо деятельности от участия в ней. Как я пытался в свое время объяснить Элеоноре, я рассматриваю свои исследования как занятие взрослого человека, однако принимать непосредственное участие в нелепых ритуалах — это было бы ребячеством.

— Безусловно, — согласилась Каролина.

— Я, конечно, побывал на нескольких черных мессах и церемониях других культов, но исключительно как сторонний наблюдатель.

Каролина хмыкнула.

День стоял ветреный, и за окнами Каролининой квартиры на верхнем этаже виднелись только небо и спешащие по нему облака. В такой день имело особый смысл остаться дома и в послеполуденные часы доверительно посекретничать с добрым знакомым перед электрообогревателем с двойным радиатором.

— Элеонора не слушала никаких объяснений, — продолжал Барон. — К тому же ее почему-то ужасала сама мысль о жизни с человеком, изучающим на досуге черную магию. Однако самое любопытное заключается в том, что с того времени я выяснил: ее бывший муж Мервин Хогг — закоренелый сатанист, дорогая моя Каролина. Поэтому, видимо, она от него и ушла.

— Не переживайте, Уилли. Вам хорошо без Элеоноры, а ей без вас.

— Я уже с этим справился. А вам, — сказал он, — хорошо без Лоуренса.

— Мы совсем другое дело, — отрезала она. — Мы с Лоуренсом всегда любили друг друга, а вы с Элеонорой — никогда.

— Не любили, но мне все равно больно о ней думать.

— Ну, конечно, — любезно согласилась она.

— Однако не настолько, дорогая Каролина, чтобы это заставило меня бросить расследования. Люди непостижимы. Варварство и суеверия обнаруживаются в тех, в ком их никак не ожидаешь найти. Этот предмет — люди — возбуждает у меня чрезвычайный интерес. В настоящий момент моим вниманием почти полностью завладел этот Мервин Хогарт. Уверяю вас, Каролина, он главный сатанист Великобритании. Я дошел до того, что нанял агентов. Он у меня под наблюдением.

— Да будет вам! — сказала Каролина.

— Это правда, он у меня под наблюдением. Я получаю отчеты. Я уже составил досье. Трачу на это целое состояние. Мой основной интерес — психология этого человека.

— Ну и ну. Вы тоскуете по Элеоноре больше, чем я считала.

— Что вы хотите сказать?

— Очевидно, что ваша одержимость бывшим любовником Элеоноры — это форма одержимости самой Элеонорой. В Хогарте вы стремитесь найти нечто скрытое в ней, разве не ясно? Очевидно, что вы следите за ним, потому что не можете следить за Элеонорой, она от вас ускользнула, разве не ясно? Очевидно...

— Врачу — исцелися сам, — произнес Барон, попав, по собственному мнению, в самую точку.

— О, я могу ошибаться, — миролюбиво ответила Каролина. Мысль о послеполуденных часах у обогревателя утратила привлекательность.

— Я хотя бы преследую понятную цель, — отчеканил он. — Сатанизм существует, этот факт может подтвердить предметный указатель любой современной библиотеки. Сатанизм исповедуют, я могу это вам доказать, если вы захотите пойти со

мной на Ноттинг-Хилл-Гейт в определенное время. Правда, суеверные обычаи вашей церкви могут вам этого не позволить. Мервин Хогарт существует. Он исповедует сатанизм, в чем может убедиться всякий, кто захочет провести частное расследование. Вы же, со своей стороны, — продолжал он, — утверждаете истинность некоторых недоказуемых фактов. Взять хотя бы хор голосов, — продолжал он, — кто, кроме вас, его слышал? А ваши теории — ваши домыслы об источнике звуков?

Его слова расстроили Каролину, и она занялась чаем — чайные чашечки, быстрые легкие движения, позвякивание ложечек и блюдец. За всем этим она туманно возразила:

— Доказательства представит сама книга.

Однажды, когда Барон навестил ее в больнице, Каролина сказала ему:

— Голоса, Уилли, я и в больнице их слышу. Но в одном я уверена, — она показала на свою ногу, которая слегка распухла в гипсовом футляре и поэтому сильно болела, — эта физическая боль убеждает меня, что я не совсем дитя вымысла и веду независимую жизнь.

— Господи, — сказал Барон, — а вы когда-нибудь сомневались в этом?

И она изложила ему по секрету свою теорию. Он был заинтригован. Ее же воодушевила атмосфера заговора, навеянная беседой вполголоса, поскольку в палате лежало, кроме нее, еще семь человек.

— Я тоже один из действующих лиц в этой таинственной книге, Каролина? — спросил он.

— Да, и вы тоже, Уилли.

Барон навещал ее по субботам или воскресеньям. Каждый раз они обсуждали теорию Каролины. И хотя в глубине души она знала, что ему нельзя доверять секреты, она неизменно говорила себе при его появлении и после ухода: “В конце концов, он старый друг”.

Однажды она ему сообщила: “Дух Пишущей Машинки не зафиксировал подробностей об этой больничной палате. Причина — автор не знает, как описывать больничную палату. Этот эпизод моей жизни не является частью книги”. Отпуская раздраженные реплики вроде этой, Каролина Роуз продолжала вторгаться в сюжет книги.

Другие больные докучали и досаждали ей. Она мечтала переносить недомогания и неудобства в спокойной обстановке. Когда ей бывало больно, то несносное присутствие семерых лежачих больных, их болтовня и жалобы, а также кар-

канье и кудахтанье дежурных нянечек и сестер делали боль особенно острой.

— Тяжелее всего переносить раздражение, которое вклинивается между нами и нашими муками, — сказала Каролина Барону. — Если б только мы могли принимать страдания в чистом виде.

Посещая Каролину, Барон как бы возвращал ее в более подходящую обстановку, и шесть недель заточения в сельской больнице она ограждала себя фразой “Он старый друг” от несомненного факта, что Барон, ни в малейшей степени не ощущая предательства, будет повторять и приукрашивать ее высказывания и мысли для развлечения своих знакомых на Чаринг-Кросс-роуд.

Лоуренса выписали из больницы за пару недель до Каролины.

— Не могу понять, что на тебя нашло, что ты доверилась Барону, — сказал он ей, когда наконец смог с ней повидаться. — Ты просила меня сохранить в тайне твои сумасшедшие идеи, и я, понятно, отрицал все слухи. Теперь я в неловком положении.

— Какие слухи?

— Разные. Грубо говоря, все они сводятся к тому, что ты оставила католичество и вступила в новую веру.

— Что это за новая вера?

— Научная фантастика.

Она рассмеялась и сразу поморщилась, потому что малейшая дрожь отдавалась болью в ноге.

— Прости, — сказал Лоуренс, обещавший ее не смешить.

— Я никогда и не ждала от Барона, что он хоть о чем-нибудь способен молчать, — сказала она, — мне просто нравилось с ним разговаривать, разговор меня развлекает. Мне тут одиноко, к тому же я болею.

Она заметила, что заботливость Барона не понравилась Лоуренсу больше, чем ее с ним беседы.

Но вернемся к первому дню Нового года, когда Каролина нечаянно обидела Барона.

После чая, который она заварила в двух чайниках — зеленый для Барона и простой цейлонский для себя, Барон попытался загладить приступ злости. Он под строжайшим секретом рассказал ей об одном случае, однако она в тот же день пересказала услышанное Лоуренсу.

— Как-то раз я по поручению Элеоноры — это случилось вскоре после ее развода с демоническим Хогартом и было связано с урегулированием денежных расчетов — отправился по-

говорить с ним в его доме в Лэдл-Сэндсе. Я не стал предупреждать его о приезде, полагая, что он откажется меня принять. Я рассчитывал застать его дома, — уверяю вас, Каролина, я исполнил для Элеоноры не одно поручение подобного рода. Значит, добрался я до его дома. Довольно большое строение с не лишенным элегантности фасадом времен королевы Анны. Сад изрядно запущен. В доме никого не было. Через почтовую щель я увидел в прихожей на столике россыпь рекламных проспектов. Из этого я заключил, что Хогарты вот уже несколько недель как в отъезде, договорившись, что частную корреспонденцию им будут пересылать по новому адресу. Я обогнул дом и зашел сзади — мне было любопытно. В то время, как вы понимаете, я был сильно влюблен в Элеонору, и дом, где она жила с Хогартом, меня интересовал. Он давал мне возможность физически ощутить ту часть ее прошлого, о которой мне было известно лишь с ее слов. .

Позади дома царил еще больший беспорядок, чем перед ним. На огороде все вымахало и давно перезрело, но самое важное другое. У двери сарая валялась груда разного хлама. Пустые коробки, ржавые сломанные садовые инструменты, старая обувь. И среди всего этого — масса разбитых гипсовых статуэток, этих примитивных предметов религиозного поклонения, которые тысячами продаются в лавках у христианских святынь. Фигурки были разрублены непонятным образом. У многих была отрезана голова, а в ряде случаев вся фигура разрублена на куски. Гипсовых фрагментов было слишком много, чтобы они могли быть разбиты случайно. Даже в то время — а я тогда ничего не знал об оккультных занятиях Хогарта — я предположил, что имела место массовая оргия умышленного святотатства.

И тут, Каролина, я должен вам поведать, что произошло, когда я разглядывал эти удивительные кусочки глины. Задний двор окружала полоса леса, проходившая ярдах в тридцати от сарая, где я стоял. Собачье рычание заставило меня обернуться и посмотреть туда, откуда оно послышалось. Вскоре из леса показалась собака и пошла в мою сторону. Это был великолепно ухоженный черный спаниель. Я поднял палку на случай нападения. Пес приближался с наводящим ужас рычанием, однако до меня не дошел: за пять ярдов он стал описывать вокруг меня круг. Каролина, он три раза обежал меня по кругу. Потом подбежал к груде сломанных фигур и сел, просто сел рядом с ней, словно бросая мне вызов — попробуй притронуться.

Я, разумеется, отошел небрежной походкой, опасаясь, как бы пес не прыгнул. Но я, Каролина, пытаюсь втолковать вам, что этот черный пес был Мервином Хогартом.

— Что-что? — переспросила Каролина.

— Тогда до меня это еще не дошло, — сказал Барон, помешивая зеленый чай, — я всего лишь подумал, что пес ведет себя необычно. Я, конечно, говорю с вами конфиденциально, о таком не рассказывают знакомым, даже самым близким. Но у меня чувство, что вы разбираетесь в таких вещах, тем более что и сами вы сверхчувствительны, сверхвосприимчивы и...

— Что вы только что сказали, — спросила Каролина, — о собаке?

— Что пес был Мервином Хогартом. Естественно, магически преображенным. Такие случаи известны в...

— Вы сумасшедший, Уилли, — дружески заметила Каролина.

— Чем, — спросил он, — вы объясните разбитых святых?

— Может, у них весь дом был набит святыми, потом они надоели, и их вышвырнули. Может, это доставляет им удовольствие. В конце концов, бóльшая часть этих гипсовых святых отвратительна с художественной точки зрения, так что людей можно понять.

— Удовольствие, — повторил Барон. — А как вы объясните собаку?

— Собаки существуют и не нуждаются в объяснении. Должно быть, она принадлежит Хогартам...

— Это не собака Хогартов. Я выяснил. У Хогартов нет собаки.

— Значит, это была собака кого-нибудь из соседей. Или бродячая, искала еду.

— А что скажете о том, что она три раза обежала меня по кругу?

— Уилли, мой дорогой, у меня нет слов.

— Верно, — сказал Барон, — на это у вас нет ответа. Впрочем, то, о чем я вам только что рассказал, не единственное основание для вывода, что Хогарт — черный маг. Я еще не сказал вам про почтовых голубей и кое-что другое. Вы сможете сегодня со мной поужинать? Если да, то я мог бы рассказать вам все, и тогда, милейшая Каролина, вы перестанете говорить, что Уилли сумасшедший.

— Мы все немножко сумасшедшие, Уилли. И поэтому, дорогой мой, такие милые. Нет, к сожалению, нынче вечером я занята. А то и вправду было бы хорошо...

Прощаясь, он запечатлел на ее щеке дружеский поцелуй. Услышав скрип лифта, идущего вниз, Каролина прошла в ванную, достала пузырек с “Деттолом” и щедро плеснула в стакан теплой воды. Пропитала этим крепким раствором кусок ваты и протерла кожу на лице в том месте, где Барон приложился губами.

– Барон спятил.

Эти слова Каролины порадовали Лоуренса, который последнее время нервничал из-за возобновления дружеских отношений между ней и Бароном.

– Барон, – объявила она, – совсем рехнулся. Приходил сегодня на чашку чая и рассказал самую безумную небылицу, что я слышала в жизни.

И она передала Лоуренсу, о чем поведал Барон. Поначалу эта история его забавляла, но внезапно легкое веселье уступила место бурному восторгу.

– Браво, Барон! – произнес он. – Подумать только, он дуриком наткнулся на "ключ", причем, как мне кажется, очень важный.

– Какой ключ? – спросила она.

– "Ключ" к бабушке.

– Какое отношение имеет черный пес к твоей бабушке?

– "Ключ" – в разбитых фигурках. Как я раньше не додумался!

– Твоя бабушка ничего в жизни не разобьет. Что на тебя нашло, мой милый?

– Бабушка нет, а Хогарт – да.

– Ты не лучше Барона со своим сдвигом на Хогарте, – сказала она.

Со дня автокатастрофы Лоуренс был с Каролиной сдержан. Она понимала, что он, отчасти из страха, не может с нею не видеться, однако лелеять эту новую притягательную силу было совсем не в ее вкусе. Страх Лоуренса ее угнетал. Поэтому она совсем перестала обсуждать с ним загадку своей частной жизни и, лишь застигнутая врасплох, могла допустить Лоуренса в свой внутренний мир. Например, когда он без всякой задней мысли спросил, подразумевая ее исследование о структуре современного романа: "Как продвигается твоя книга?" – она ответила: "Думаю, близится к концу".

Лоуренс удивился, так как всего за несколько дней до этого разговора она пожаловалась, что работа над исследованием затягивается.

Удивило его и другое.

Они намеревались вместе съездить отдохнуть за границу на пару недель во второй половине марта.

Сперва Каролина возражала, что это слишком рано, однако Лоуренс твердо настроился на это время и подал заявление об отпуске, не посоветовавшись с Каролиной. Самонадеянным она посчитала и его заявление, что они поедут в Лозанну.

– Лозанна в марте! Ни за что.

— Положись на меня. Я же твой добрый друг, правда?

— Да, да, но Лозанна в марте!

— А ты поверь, что у меня есть на это причины. Ну пожалуйста.

Она предполагала, что выбор места и времени был продиктован жгучим любопытством Лоуренса в отношении бабушкиных делишек. Эрнест и Хелена поверили, что опасность уже миновала. Каким бы рискованным делом ни занималась старая дама, вмешательство и обман Эрнеста положили ему конец, и они не допускали и мысли о том, что для беспокойства вообще есть основания. Но Лоуренс несколько раз за зиму приезжал в коттедж на уик-энд, видимо, был уверен, что бабушкины авантюры продолжаются как ни в чем не бывало. Совсем недавно он внезапно нагрянул туда вечером в будний день и застал ее небольшую "шайку" в полном сборе, как раньше, и за игрой в карты, как раньше, а Луизу — как всегда, невозмутимой. От нее он узнал, что с января Хогарты дважды побывали за границей.

В том, что у него не получилось эффектно и быстро раскрыть бабушкину тайну, Лоуренс винил автокатастрофу. Не просто винил — проклинал. В то же время его радовало открытие, что Эрнест и Хелена на пару преуспели лишь в одном — заставили шайку удвоить бдительность. Перед ним по-прежнему стояла задача: разгадать старушкины хитрости. Именно этого ему хотелось больше всего на свете. Лоуренс желал не просто положить конец ее занятиям — он желал знать, в чем они заключаются.

Короткие зимние наезды в коттедж только распалили его любопытство. Он безрезультатно ошивался у Ледилиса и Лэдл-Сэндса, в нем крепла уверенность, что шайка до времени затаилась. Эрнест завалил расследование. Больше всего Лоуренса бесила бабушкина прямота. Ни разговоры, ни поступки Луизы не отличались скрытностью, но раскрывать свою тайну она решительно отказывалась. Единственное, что ему удалось из нее извлечь, — Хогарты собираются в Лозанну на две последние недели марта.

— Хогарты прямо-таки зачастили по заграницам, бабушка.

— Вот уж кто любит попутешествовать!

Больше он от Луизы ничего не добился. И подал заявление об отпуске с 15 марта.

Лоуренс преуспел в эмансипации матери до такой степени, что она сама предложила ему, не видя в этом ничего оскорбительного:

— Почему бы тебе не взять с собой Каролину? Ей надо отдохнуть, а денег у бедной девочки нет. Я оплачу все расходы.

После этого на Лоуренса и посыпались возражения:

— Лозанна, в марте! Почему Лозанна? Там будет холодно и уныло.

Но он сказал:

— Я же твой добрый друг, правда? Пожалуйста, согласись хотя бы на этот раз.

И она согласилась.

Это было в середине февраля. Через две недели она взяла согласие назад.

— Я ездила в монастырь поговорить с отцом Джеромом, — начала она.

— Прекрасно! — сказал Лоуренс. Последнее время она замечала, что Лоуренс охотно поощряет все ее связи с религией, тем более что сам он продолжал демонстрировать свой жизнерадостный скептицизм. В одно из воскресений она решила не пойти к мессе из-за простуды, отчего он страшно разволновался и предложил ей укутаться в теплый шарф, принес полоскание и выразил готовность отвезти ее в церковь и обратно в своем новом автомобиле, лишь бы она не пропустила службу. — Прекрасно! — сказал Лоуренс, услышав, что она навестила старика монаха, которого он знал еще с отрочества.

— Он говорит, — заявила Каролина, — что мне бы не следовало отправляться в Лозанну с тобой.

— Но он же знает меня! И, уж конечно, знает, что на нас можно положиться, что это будет просто совместный дружеский отдых. Господи, да так постоянно отдыхают убийственно скучные пары. Господи, а я-то считал его разумным священником, без предрассудков.

— Он сказал, что в свете наших прежних отношений мне бы не следовало выступать в обстоятельствах, способных привести к скандалу.

— Но о грехе не идет и речи. Даже я это понимаю. Не забудь, мне внушали католические взгляды.

— О грехе не идет и речи, но он сказал, что это подорвет веру, — возразила Каролина.

— Мы никому не скажем, что едем вместе. Маловероятно, чтобы нас кто-то увидел в марте в Лозанне.

— Тайная поездка еще хуже нетайной. Еще больше ущерба для веры. Я не могу поехать, ты уж меня прости.

Ее отказ огорчил Лоуренса сильней, чем она ожидала. Он не сказал ей, что его упорное желание побывать в марте в Лозанне было, о чем она догадалась, как-то связано со стремлением пройти по следу бабушки. Каролина не учла, насколько ее участие было для него важно, и чем больше он ее уговаривал, тем крепче становилось ее решение — полностью устра-

ниться от этого дела. Разговор слишком ясно напоминал ей о событиях, предварявших автокатастрофу.

Лоуренс не стал на нее давить. Он принял ее решение с недавно появившимся необычным страхом: не приближаться к Каролине слишком близко, чтобы не спровоцировать перебранки. Именно в тот раз он, подавив разочарование, спросил ее по-дружески:

— Как продвигается твоя книга?

И она, занятая совсем другими мыслями, ответила:

— Думаю, близится к концу.

— Вот как? А ты совсем недавно говорила, что тебе еще писать и писать.

Она мгновенно осознала свою ошибку, как и Лоуренс. У него стал довольно беспомощный вид, словно он вконец запутался. Ей было невыносимо выступать в роли духовного тирана и ужасно хотелось освободить его от необъяснимых и столь близких ей, но столь чуждых ему мыслей.

— Последнее время мне стало трудно тебя понимать, — сказал он и добавил, чтобы ее успокоить: — Почему ты сказала, что "книга" близится к концу?

Ей не хотелось отвечать, но его искренность не оставила ей выбора.

— Потому что происходящее вокруг нас имеет свои последствия. Особенно новость о знакомом твоей бабушки.

— О ком именно? — спросил Лоуренс.

— Как, ты ничего не знаешь? Хелена в крайнем возбуждении позвонила мне нынче утром, и, насколько я понимаю, это весьма удивительный...

— О ком именно?

— Об одном из тех, кого ты совершенно напрасно подозреваешь. Об Эндрю Хогарте. Судя по всему, он парализован, и отец возил его в небольшой храм Девы Марии во французских Альпах. Так вот, вчера они возвратились, и Эндрю начал шевелить парализованной конечностью. Хелена говорит — это чудо. Про чудо я ничего не знаю, но мне представляется, что этот случай завершает сюжет и приводит книгу к концу. Я не стану жалеть.

— Но они с января не выезжали за границу. И не собираются до середины марта, по крайней мере, я так понимаю. У меня есть причины считать, что Хогарты занимаются контрабандой бриллиантов, разве ты не понимаешь?

— Спроси у своей матери, — сказала Каролина, — Ей все об этом известно. Ее переполняют разные сведения.

— Теперь я не вижу большого смысла ехать в марте в Лозанну, — сказал Лоуренс.

"Бесподобная... Пас назад — грязная игра и свисток судьи... выглянуло солнце, все смотрится бесподобно, красная форма оркестра... это ощущение напряженности... и снова уже во втором тайме... первый драматический... бесподобная... с углового — гол в ворота "Манчестер Сити"... изумительный, бесподобный..."

Луиза Джепп сидела у приемника, завороженная гипнотическим звучанием голоса Лоуренса.

В тот же день, но много позже сам Лоуренс остановил свой новый автомобиль у коттеджа с громким визгом тормозов. Расположившись на стуле у плиты с откупоренной бутылкой пива, он спросил:

— Это правда — о молодом Хогарте? Он действительно начал двигать ногами?

— Да, двигает ими — сказать "ходит" было бы преждевременно.

— Раньше ноги у него были полностью парализованы.

— О да. Поездки за границу пошли ему на пользу. Я знала, что пойдут.

— Полагаю, — сказал Лоуренс, — Хогарты отменили отдых в Лозанне?

— Ну да. И не нужно им разъезжать в марте, когда очень холодно. Дома куда как лучше. И Эндрю получает лечение.

— Полагаю, бабушка, это означает, что ваше предприятие приказало долго жить?

— Ну еще бы, золотко, я подумала, когда слушала тебя сегодня по приемнику, — как мне хотелось, золотко, для твоего же блага, чтобы ты поймал нас с поличным. Должно быть, это тебя огорчило, милый. Но не переживай, у каждого из нас свои разочарования, а ты был очень мил по приемнику, ты был бесподобен.

— У меня были все "ключи", бабушка, требовалось только время. Если б не катастрофа, я, бабушка, заполучил бы вас еще прошлой осенью.

— Ну, хватит переживать.

— Но тебе грозит опасность. На твой след вышел наш общий знакомый. Я случайно узнал об этом от Каролины. Его фамилия Сток, Уилли Сток...

— Я с ним знакома.

— А ты знаешь, — спросил он, — что в прошлом ноябре, перед самой аварией, Каролина мне сообщила, что за год до того Барон встречался с тобой? Он описал шляпу, которая на тебе была. Каролина узнала шляпу и сделала вывод...

— Барон поступил очень глупо, но вполне в своем духе. Хотя он приятный...

— Хороший был “ключ”, — сказал Лоуренс. — Нужно было его использовать. Мог бы сразу тебя подловить. Ты Барона не опасаешься? Если да, то я...

— Нет, нет. Он мой лондонский посредник. Вернее, был им.

— И Барон был заодно с вами! Мне казалось, вас было только четверо.

— Нас действительно четверо. Барон Сток был всего лишь нашим лондонским агентом.

— Стало быть, вы свернули игру?

— Какую, интересно, игру? — спросила она, поджав губы в улыбке, словно поощряя его отбарабанить выученное задание.

— Контрабандный ввоз через таможню алмазов, спрятанных в гипсовых фигурках.

— Иногда и в бусинах четок, — добавила Луиза. От удовольствия она как бы помолодела, а чтобы закрепить важность для нее этой минуты, передала Лоуренсу стакан и бутылку портера и попросила открыть.

— Ты рисковала, бабушка.

— Невеликий был риск, — ответила она, — да и рисковали, как я понимаю, только Хогарты. Сколько раз я хихикала про себя, когда Мервин пересказывал мне замечания таможенников. Сам-то Мервин не смеялся, ему эта процедура была не по вкусу. Они, видишь ли, выезжали под видом паломников, жаждущих исцеления. Представь себе Эндрю в инвалидной коляске, с вытянутой ханжеской физиономией, прижимающего к груди статуэтки. Чтобы, само собой, обмануть таможенников. Хогарты ездили в разные святые места помолиться Деве Марии, а там их встречал наш партнер, по-моему, респектабельный мужчина. Но я все равно наказывала Мервину и Эндрю отработать программу поклонения по полной — на тот случай, если за ними следят. С континентальной полицией нужно держать ухо востро, они народ лживый и подлый.

— Хогарты католики?

— Что ты, они вообще не религиозные. Понятное дело, они притворялись. Ну и повеселилась же я, дорогой.

— Мать узнала про выздоровление Эндрю Хогарта, — сказал Лоуренс.

— Да, я ей написала. Мне подумалось, ее заинтересует, что молодой человек, мой сосед, излечился в католическом храме. Она любит такие истории.

— Значит, ты считаешь это чудом?

— О да, я верю в везучие места, когда приходит везенье, — сказала она. — А до этого Эндрю крепко не везло. Два года тому назад он застудил в Лурде мочевой пузырь, а вот Мйан принес ему удачу, там у них, по-моему, Черная Мадонна. Ко-

гда-то я даже была знакома с одним человеком, который прекрасно знал историю и любил старину, — так он избавился от заикания в лондонском Тауэре.

— Похоже, это связано с психологией, — заметил Лоуренс.

— Я называю все это везеньем, — сказала Луиза.

— Значит, ты не думаешь, что с Эндрю случилось настоящее чудо?

— Напротив, чудо самое настоящее, я же вижу парня вживую. Теперь он может, сидя в коляске, двигать ногами от колен и ниже, а раньше не мог.

— А что говорят врачи?

— Говорят, что ему нужна психотерапия. Ему уже лучше.

— Как врачи это объясняют?

— Говорят, что не верят своим глазам, но о чуде — ни слова. В больнице пригнали толпу студентов поглядеть на Эндрю, но тот разом от них отделался — обложил и заплевал. Такой уж у него нрав.

— Тем лучше для него! — сказал Лоуренс. — Он, должно быть, на седьмом небе, что может двигать ногами?

— Я думаю. Но нрав у него крутой, — сказала она и протянула ему коробку сигарет. — Угостись болгарской.

Старая дама делала долгие перерывы между глотками, но Лоуренс и при этом с удивлением отметил, что пива в ее стакане осталось почти столько же, как в начале, хотя у него создалось впечатление, что пьет она наравне с ним, как и положено доброму собутыльнику.

— Думаю, — сказал он, — вы сорвали на всех и на каждого недурной куш.

— Ага. Но я в любом случае собиралась в этом году выйти из дела.

Хелена придумала новую надежную теорию мотивов, которыми руководствовалась ее мать. "Я уверена, что она дала себя втянуть в это непрезентабельное дело, в чем бы оно ни состояло, просто чтобы помочь молодому человеку. Мама человек крайне скрытный. С нее вполне станет задумать его поездки по святым местам, используя корыстный интерес как приманку".

Лоуренс доложил об этом бабушке. Та поморщилась и пригубила пива.

— Конечно, я знала, что поездки пойдут Эндрю на пользу. Психологически. У него появилось занятие, какое-то разнообразие в жизни. Деловая сторона мне тоже была полезна. Психологически. Мне, миленький, будет этого не хватать, это была всем потехам потеха. До чего же Хелена сентиментальна!

— Расскажи мне о хлебе. Кто запрятывал бриллианты в хлеб? Ты знаешь, что как-то раз я их увидел.

— Мистер Вебстер, — сказала она. — Потому что мне хотелось получить товар поскорее, как только Хогарты его доставляли. Чтобы облегчить работу лондонскому агенту. Поначалу случались кратковременные задержки — после путешествия Эндрю нездоровилось, и он задавал Мервину перца. Тогда мы договорились, что Мервин будет разбивать святых и четки и извлекать камни сразу по возвращении из поездок, а прибывали они всегда утром. Мервин звонил мистеру Вебстеру, они пользуются телефоном, я-то люблю голубей. После чего мистер Вебстер доставлял Хогартам хлеб.

— Якобы хлеб, — заметил Лоуренс.

Луиза закрыла глаза.

— Всякий решил бы, что он приезжал доставить хлеб. Береженого и Бог бережет. И получал за хлеб деньги.

— Вместе с алмазами.

— Да, миленький, ты у меня умница. Мистер Вебстер был незаменим: На другое утро он доставлял мне товар прямо в хлебе. Мне не хотелось, чтобы он украдкой совал крохотульки мне в руку, словно мы напускаем тайны или делаем что-то подозрительное.

— Поразительная изобретательность, — заметил Лоуренс.

— Всем потехам потеха, — сказала Луиза.

— Но прятки с хлебом — в них не было решительно никакого смысла, — сказал Лоуренс.

— Нет, был. Не люблю, когда алмазы носят в карманах.

— Догадываюсь почему, — неожиданно вставил Лоуренс. — Полиция.

— Конечно. Я полиции не доверяю. Наш местный констебль — человек хороший, но если основательно подожмет, то все полицейские на свете будут держаться вместе.

Лоуренс рассмеялся. Над нелюбовью Луизы к полиции потешалась вся семья. “Это в ней цыганская кровь говорит”, — объясняла Хелена.

— Мне бы казалось, — сказал Лоуренс, — что если товар благополучно доставлен в страну, то какие-то особые меры предосторожности уже не требуются.

— Почем знать? Это была всем потехам потеха, — сказала Луиза.

— А за боковым алтарем, вы уж поверьте мне, Каролина, — произнес Барон, — Мервин Хогг, он же Хогарт, в полном богослужебном облачении смешивал коктейли.

Такими словами он завершил описание черной мессы в Ноттинг-Хилле, на которой недавно присутствовал.

— Вы как католичка, — сказал он, — должны считать это злом. Сам я не различаю между добром и злом. У меня другие категории: интересно — неинтересно.

— Для меня так точно неинтересно, — заметила Каролина.

— И в принципе вы правы. С точки зрения темных сил, это было невыразительное представление. Но меня интересует именно Хогг. Я сейчас работаю над монографией о психологии сатанизма и черной магии. И мои осведомители сообщают, что Хогарт недавно расколдовал сына, молодого человека двадцати с небольшим, который с детства страдал параличом нижних конечностей вследствие наложенного на него заклятия. Это доказывает, что магические способности Хогарта служат не только и исключительно злу, но...

— Скажите, — спросила Каролина, — вы хоть раз разговаривали с Мервином Хогартом?

— Лично — ни разу. Но вскоре поговорю. С ним мне устроят частную встречу. А неофициально, думаю, он уже бывал в моей лавке в образе женщины.

— Я уверена, Уилли, — сказала Каролина, — что вы до сих пор не оправились от эмоциональных последствий ухода Элеоноры. Я уверена, Уилли, что вам следовало бы проконсультироваться у психиатра.

— Если б вы говорили правду, — сказал он, — то с вашей стороны говорить ее было бы чудовищно нетактично. Но поскольку это неправда, я делаю скидку на ваше собственное психическое расстройство.

— Значит, весь мир — это сумасшедший дом? А мы все — вежливые маньяки и осмотрительно делаем скидки на чужое помешательство?

— Большей частью, — согласился Барон.

В разное время Барон описывал Каролине, как шаг за шагом пришел к заключению, что Мервин Хогарт — сатанист и колдун. Первый намек он получил от Элеоноры.

— Она мне сказала, что до нее он состоял в своего рода браке с ведьмой. Элеонора ее видела: отвратительная женщина. Вообще-то Элеонора и ушла от Хогарта, когда та зачастила к нему в Лэдл-Сэндс.

Каролина последнее время размышляла о Лоуренсе и его нелепом убеждении, будто его бабушка несколько лет возглавляла шайку, контрабандой провозившую бриллианты. Думала она и о Бароне с его нелепой верой в магические способности Мервина Хогарта. Барон начинал обнаруживать нездоровое сходство с Элеонорой. Она думала об Элеоноре с ее привычкой походя разбрасывать безответственные и бездоказатель-

ные обвинения. Она обнаружила, что подлинные факты повсюду затушевываются. Она сознавала, что книга, в которой она действует, все еще пишется. Теперь она обдумывала сюжет про себя, отмечая факты по мере их накопления. В ее распоряжении уже имелись записи голосов, и записи эти она изучала очень внимательно. Ощущение того, что ее вписывают в роман, было тягостным. Она оставалась в неведении о постоянном своем влиянии на развитие сюжета и мечтала, чтобы роман поскорее закончился, понимая, что повествование станет ей внятным лишь после того, как она наконец окажется за его рамками, одновременно будучи в нем реализованной.

Как-то утром Каролине нанесли нежданный визит. Она необдуманно открыла дверь — ей должны были принести бандероль. На секунду ей показалось, что за дверью никого нет, но почти сразу она увидела в дверном проеме полную женщину и узнала непристойную улыбку миссис Хогг — точное подобие той, какую последний раз видела в Святой Филомене.

— Можно мне с вами поговорить, мисс Роуз?

Женщина уже стояла в маленькой квадратной прихожей, занимая собой большую ее часть.

— Я занята, — ответила Каролина. — По утрам я работаю. У вас что-нибудь срочное?

— Важное, — ответила миссис Хогг, сверкнув маленькими глазками.

— Тогда проходите.

Та уселась в кресло Каролины и бросила взгляд на блокнот, в который Каролина делала записи. Он лежал на приставном столике. Каролина наклонилась и захлопнула блокнот.

— Некий Барон Сток, — сказала миссис Хогг, — находился сегодня в вашей квартире до начала второго. В среду он ушел от вас в третьем часу дня. На позапрошлой неделе вы дважды находились в его квартире до первого часа ночи. Если вы думаете, что вам удастся с помощью таких бесстыжих штучек заполучить Лоуренса Мандерса...

— Вы ведете себя нагло, — оборвала ее Каролина. — Уходите.

— В среду в третьем часу. Не сомневаюсь, что Барон Сток привлекательней Лоуренса Мандерса, но я считаю ваше поведение низким, да и каждый...

— Выметайтесь, — сказала Каролина.

Миссис Хогг ушла, жалкая и нелепая, как общественный резонанс. Каролина сердито схватила трубку и позвонила Хелене.

— Не могли бы вы избавить меня от вашей миссис Хогг? Она только что у меня побывала, отпускала грязные намеки

по поводу моей личной жизни, ссылаясь на Уилли Стока. Она, должно быть, несколько месяцев наблюдала за моей квартирой. Вы можете как-то контролировать эту женщину? Хелена, я уверена, что вы слишком, непозволительно с нею мягки. Она скотина. Если она еще раз меня побеспокоит, я просто вызову полицию, так ей и скажите.

— Господи! Я не видела миссис Хогг несколько месяцев. Мне так жаль, Каролина. Приезжайте к нам на ленч. Прошлой осенью я рекомендовала миссис Хогг на место в Стритхеме. С тех пор она не давала о себе знать. У нас на ленч новый сорт ризотто, готовится просто, за глаза хватит. Эдвина не будет. Вы давно видели Лоуренса?

— Вам бы не следовало никуда рекомендовать миссис Хогг. Она мерзкая.

— Ну ведь хочется проявить милосердие. Я с ней сурово поговорю. Она вас сильно расстроила, Каролина?

— Нет. То есть да. Но не тем, что говорила, а тем, что собой представляет.

— У нее не все дома, — сказала Хелена.

Каролина, не теряя времени, опрыскала комнату средством для уничтожения микробов и насекомых.

Глава 9

— Чудесно иметь в своем распоряжении целый день, — заметила Каролина. — Все равно как чистый лист бумаги: пиши, что захочешь.

Стоял летний день, идеально подходящий, по словам Лоуренса, для пикника на берегу реки. Они выбрали место и вытащили из машины коробки с едой. У Лоуренса был выходной, Хелена тоже решила отдохнуть.

— Я так утомилась от работы в комитетах, а Эдвин в затворничестве. Я с огромным удовольствием провела бы день за городом, — призналась она в ответ на приглашение Лоуренса составить им компанию. — Но не люблю навязывать свое общество. Вы с Каролиной отправляйтесь вдвоем.

Но она довольно легко сдалась, когда Каролина тоже стала ее уговаривать.

— Хорошо. Но вы отправляйтесь первыми. Я присоединюсь к вам перед ленчем, если вы объясните, где вас искать.

Они описали место, где собирались расположиться, — на берегу Медуэй, между Кентом и Суссексом.

Там они и находились в полдень, греясь на ярком солнце и время от времени поглядывая, не покажется ли машина Хелены.

Она приехала в половине первого, и, пока автомобиль приближался, переваливаясь по колее, они разглядели, что в машине были еще двое: мужчина на переднем сиденье и женщина в черной шляпе — на заднем.

Это оказались Барон и миссис Хогг.

Хелена была не уверена в теплом приеме, нервничала, что было для нее необычно, начала с места в карьер:

— Вы не поверите, Уилли позвонил мне сразу, как вы уехали, и, представьте себе, — он намеревался побывать здесь при первой возможности — осмотреть здешнее аббатство, правда Уилли? Вот я его и уговорила поехать. И еще привезла бедняжку миссис Хогг, ее я тоже уговорила. Замечательно проехались, правда? У бедняжки Джорджины невралгия. Она случайно наведалась ко мне сразу, как вы уехали, вот я ее и уговорила. День на природе принесет вам огромную пользу, Джорджина. Мы не будем нарушать ваши планы, Лоуренс. Мы привезли гору еды, и вы, если захотите, можете отправиться дальше одни, а мы тем временем погреемся на солнышке.

Хелена выглядела не лучшим образом. Они принялись выкладывать снедь, и она нашла возможность поговорить с Каролиной с глазу на глаз.

— Я надеюсь, вы, моя дорогая, не приняли слишком близко к сердцу, что я привезла Джорджину. Она появилась вся такая несчастная, а я как раз укладывала в корзину продукты для пикника. Я пригласила ее, поддавшись порыву, и она, разумеется, ухватилась за мое предложение. Потом я уже пожалела, вспомнив, что вы ее не переносите. Постарайтесь не обращать на нее внимания, а если она скажет что-нибудь неподобающее, просто осадите ее. Господи, как я жалею, что ее пригласила. Это было глупо с моей стороны, я испортила вам день.

— День еще не кончился, — мягко сказала Каролина, наслаждаясь великолепной погодой.

— Все равно я жалею, что ее пригласила, — по другой причине. По пути сюда произошла одна вещь, Каролина, которая неприятно меня удивила.

Каролина заметила, что она расстроена.

— Идите сюда, поможете мне достать бутылки, — предложила Каролина, — заодно расскажете, что случилось.

— Перед поездкой я дала Джорджине таблетку от невралгии и устроила ее на заднем сиденье со всеми удобствами. Когда мы выезжали из Лондона, я спросила, не оборачиваясь: "Как вы себя чувствуете, Джорджина?" Она ответила, что ее тянет в сон. Я начала болтать с Уилли и думать забыла про Джорджину. Я решила по ее тяжелому дыханию, что она заснула.

— Она храпит, — заметила Каролина. — В Святой Филомене я, помнится, слышала ее храп за шесть дверей от моей комнаты.

— Да, верно, она храпела, — сказала Хелена. — Я подумала, что сон принесет ей пользу. Через какое-то время она перестала храпеть, и я сказала Уилли: "Спит как мертвая". Потом у Уилли кончился в зажигалке бензин, и он попросил у меня спички. Я вспомнила, что видела их на заднем сиденье, но мне не хотелось будить Джорджину. Поэтому я остановилась и, повернувшись назад за спичками, не увидела ее.

— Как это? Что с ней случилось?

— Ее просто не было на заднем сиденье, — заявила Хелена. — Я сказала Уилли: "Господи, где Джорджина?", а он мне: "Боже мой, она пропала!" Не успел он это сказать, как мы снова увидели Джорджину. Она внезапно возникла перед нами, там, на заднем сиденье, щурясь, словно сию минуту проснулась. Все произошло как в кино: затемнение — кадр. Я было решила, что мне это привиделось, но Уилли, судя по всему, видел то же самое. "Где вы были, миссис Хогг? — спросил он. — Вы исчезали, да?" Она с удивлением на него посмотрела. "Я спала, сэр".

— Вы с Уилли могли испытать совместную телепатическую иллюзию, — сказала Каролина. — Я бы не стала из-за этого переживать.

— Может быть, испытали. У меня не было возможности обсудить это с Уилли с глазу на глаз. В высшей степени странная история. Нет, правда, напрасно я привезла Джорджину. Иногда я чувствую, что способна с ней справиться, а иной раз мне кажется, что она берет верх.

За ленчем миссис Хогг ела с завидным аппетитом. Каролина села от нее как можно дальше, чтобы не видеть ее большого жующего рта и не вспоминать о зрелище, которое являла собой миссис Хогг при первой их встрече в Святой Филомене, сидя напротив за трапезным столом: жуй-пауза-жуй-пауза. Миссис Хогг говорила мало, однако ее присутствие было весьма ощутимо.

Когда после ленча Каролина занялась укладкой пустых коробок в багажник Хелениного автомобиля, к ней подошел Барон.

— Вам к лицу лето, моя Каролина, — сказал он. — Ваше платье без рукавов очаровательно. Вам идет зеленое, и вы округлились. За ленчем вы являли собой восхитительную картину — столь замкнутая в гордом одиночестве, какой всегда кажетесь, и с таким настороженным видом.

Каролина ценила лесть, тем более откровенно чрезмерную и красиво преподнесенную, ведь это свидетельствовало

о том, что льстец не пожалел усилий, стараясь ей угодить. Поэтому она томно улыбнулась и стала ждать продолжения, совсем не удивляясь тому, что эти слова были прелюдией к одному из "секретов", которыми Барон так сильно жаждал с ней поделиться.

Умаслив ее, таким образом, вступительной речью, он сразу же перешел к делу.

— Должен вам сказать, Каролина, что по дороге сюда в машине произошла удивительная история. Эта женщина, миссис Хогг...

Каролина попыталась быть с ним любезной.

— Хелена уже рассказала мне о случившемся. Вы явно заразили ее, Уилли, своими фантазиями. Явно...

— Уверяю вас, Каролина, я в жизни не разговаривал с Хеленой на оккультные темы. Эти дела я поверяю далеко не каждому. Объяснить загадочный феномен случившегося в автомобиле можно только тем, что эта женщина Хогг — ведьма.

— Не обязательно, — возразила Каролина, — даже если она и вправду исчезала. По-моему, для ведьмы она слишком невежественна. — И добавила: — Хотя лично я в ведьм особенно и не верю.

— Я сделал любопытное открытие, — гнул свое Барон. — Я, понимаете ли, уверен, что эта женщина Хогг — ведьма, на которой был женат Мервин Хогарт. Все факты сходятся: как я вам уже говорил, его таки знали под фамилией Хогг. Мои осведомители сообщают, что в молодости он только этой фамилией и пользовался. Эта Джорджина Хогг — его жена-ведьма.

— Ерунда. Она давно служила у Мандерсов. По-моему, она вышла замуж за двоюродного брата. У нее еще сын калека.

— Калека? Значит, это наверняка она, ведьма, его жена! Это ее сына исцелило несколько недель тому назад колдовство Хогарта. Наверняка это тот самый молодой человек!

— Притянуто за уши, — заявила Каролина. — И вообще, Уилли, все это нагоняет на меня скуку.

На самом деле, как он видел, это ее возбуждало. "Герб Хогартов на портсигаре Элеоноры, — думала она. — Лоуренс узнал его, он такой же, как у миссис Хогг..." Она решила, что позже поговорит об этом с Лоуренсом.

— Должно быть, вы ошибаетесь, — сказала Каролина Барону. — Хелена знает про обстоятельства Джорджины Хогг. Спросите Хелену, она подтвердит, что миссис Хогг никак не связана с Хогартами.

И вновь она подумала о гербе.

— Хелена не знает, — сказал Барон. — И вот еще что, Каролина. Я жду не дождусь, Каролина. Сегодня я намерен встре-

титься с Мервином Хогартом. Мне передали, что он гостит в аббатстве в нескольких милях отсюда. Возникает вопрос — с чего бы ему находиться в религиозном приюте? Он наверняка выдает себя за католика-затворника. Рискну утверждать, что он собирается похитить освященные хлеб и вино, чтобы использовать их в черной мессе. В конце-то концов, нужно же ему где-нибудь их раздобыть...

Каролина дернула его за рукав и кивком указала на живую изгородь в нескольких ярдах от автомобиля. Он поглядел в ту сторону и успел заметить нырнувшую за изгородь черную шляпу.

— Миссис Хогг нас подслушивает, — громко сказала Каролина.

— Вы меня звали, мисс Роуз?

Миссис Хогг вышла из-за изгороди с таким видом, словно за ней и не пряталась.

— Тут очень мило, — произнесла она со своей обычной улыбочкой. — Вы звали? Мне показалось, вы позвали "Миссис Хогг".

Каролина быстро ушла, Барон следом за ней, а миссис Хогг отправилась по тропинке вдоль реки.

— Миссис Хогг стояла пригнувшись за живой изгородью и подслушивала наш разговор, — сказала Каролина.

— Ее беда в том, что у нее нет ничего в жизни, — сказала Хелена. — Она из тех, кто любит совать нос в чужие дела. А все оттого, что у нее нет своей жизни. Я жалею, что ее привезла, и с ужасом думаю о том, как повезу назад.

— Как мило, — рассмеялся Лоуренс. Хелена не посвятила его в утреннюю жутковатую историю с Джорджиной.

— Я отправила ее прогуляться, — сообщила Хелена, оглядываясь кругом. — Как бы с ней чего не случилось.

— Ты ее отправила, вот она и отправилась, — сказал Лоуренс. — Перестань трястись. Расслабься. Почитай свою книжку. Слишком много разговоров.

Барон изучал карту.

— Я должен вернуться в начале пятого. Вас это устроит? — спросил он.

— Абсолютно, — ответил Лоуренс. — Пожалуйста, отбывайте.

— Аббатство находится на другом берегу, — сказал Барон, — но в двух милях ниже по течению есть мост. Так я вернусь в самом начале пятого.

Он перекинул куртку через руку и тронулся в путь.

— Интересно, зачем ему понадобилось в аббатство, — сказала Хелена, — там нет ничего особенного, то есть особенного в архитектурном плане.

— Барону нужен один человек, который, как он считает, сейчас гостит в аббатстве. Человек по имени Мервин Хогарт, — осторожно заметила Каролина.

— Мервин Хогарт! Значит, Уилли его знает? — поразилась Хелена.

— С чужих слов, — сказала Каролина.

— Это отец молодого человека, который излечился, — объяснила Хелена. — Разве мистер Хогарт обратился в католичество?

— Барон считает его колдуном, — сказала Каролина. — Он думает, что Мервин Хогарт — глава кружка черной магии и находится в аббатстве, выдавая себя за мирянина-затворника, а на самом деле с целью похитить освященную гостию.

— Уилли всегда отличался эксцентричностью, — заметила Хелена.

— Это часть его англомании, — сказал Лоуренс.

— Интересно будет послушать, — заметила Хелена, — что он скажет по возвращении.

— Не касайтесь того, о чем я рассказала, — попросила Каролина, — бедный Уилли такой ранимый.

Слова "бедный Уилли" доставили ей неизъяснимое наслаждение. Они погасили ее раздражение от "Бедняжки Каролины", каковой фразой Барон наверняка завершал многие послеполуденные посиделки на Чаринг-Кросс-роуд. Ей было особенно приятно подорвать авторитет Барона в глазах Хелены. Время от времени Хелена осторожно выспрашивала Каролину, всем ли она довольна и не беспокоит ли что. Из чего Каролина делала интуитивный вывод, что Барон высказывался о ней. Вообще-то Хелена не поощряла его болтовню. Однажды ранней весной он задал ей прямой вопрос:

— Между Лоуренсом и Каролиной все кончилось?

— Нет, не думаю. Они ждут.

— Чего именно? Дорогая моя, они не маленькие, — сказал Барон.

— Полагаю, что Каролина хочет разделаться с книгой. Но я и вправду не в курсе их дел. Мне бы хотелось от них чего-то определенного, но пока все вот так.

— Какую "книгу" Каролины вы имеете в виду — ту, которую она пишет, или ту, в которой живет? — спросил Барон.

— Послушайте, Уилли! Каролина не дурочка. Да, у нее было легкое расстройство, она кое-что вообразила. Ну и этот несчастный случай. Но с того времени она поправилась, и все чудесно.

— Драгоценная моя Хелена, я вас уверяю, что с того времени она постоянно принимает сообщения от своей Призрачной Машинки.

— Чепуха. Каролина совершенно нормальна. Как по-вашему, Уилли, кто выиграет Линкольна?

Лоуренс лежал, прислушиваясь к голосам, в полном благорастворении, не вникая в смысл разговора. Он следил за молодой толстой женщиной в пришвартованном поблизости плавучем доме. Время от времени она ныряла в каюту то за одним, то за другим. Сперва за ярким шарфиком, чтоб накрыть голову от солнца. Затем за подушечкой. Пребывая в состоянии приятной лени, Лоуренс посвящал долгие праздные мгновения наблюдению за ней. Он пожалел, что не ему принадлежит этот плавучий дом, и задался вопросом, где может находиться его хозяин. Маленькая гребная лодка у борта плавучего дома пришлась ему по душе.

— Гроза, — сказала Хелена.

— По-моему, я слышала гром, — сказала Каролина.

— Четверть пятого, — заметила Хелена. — Интересно, куда подевалась Джорджина.

— Испарилась, — ответ Лоуренса попал в самую точку.

Хелена прогнала его искать Джорджину.

— Гроза бушует над холмами за много миль отсюда, — сказал Лоуренс. — До нас она не дойдет.

Тем не менее он отправился искать миссис Хогг, остановившись по пути рассмотреть плавучий дом. Полная девушка спустилась вниз.

Хелена и Каролина принялись убирать в машины посуду и коврики.

— Даже если нас минует гроза, — заметила Хелена, — в ближайшие десять минут наверняка пойдет дождь.

На другом берегу внезапно появился Барон. Он что-то кричал, но на расстоянии его не было слышно. Описав руками окружность, он дал понять, что возвращается по мосту.

— Он вымокнет, — сказала Каролина. — Бедный Уилли! — И, помахав рукой, она остановила его. — Попрошу разрешения взять лодку и перевезу его, — объяснила она.

— Вот было бы славно, — сказала Хелена. — Вы уверены, что у вас получится?

Но Каролина, накинув на плечи плащ Лоуренса, уже спешила к плавучему дому. Барон на минуту застыл в нерешительности, но, увидев, что Каролина нагнулась и постучала к крохотное оконце, понял ее план и стал ждать. Через пару минут Каролина жестом дала ему знать, что разрешение на лодку получено.

Пошел легкий дождик, он даже не замутил поверхность реки. Каролина быстро достигла другого берега, Барон перебрался в лодку и сменил ее на веслах.

— Видел я Хогарта, он же Хогг, — сразу же выложил ей Барон, — но он был переодетым. Совсем не тот человек, который у меня на глазах служил черную мессу. В таких обстоятельствах я остерегся обращаться к нему непосредственно.

— Откуда вы тогда знаете, что это был Мервин Хогарт?

— Спросил у послушника. Тот подтвердил, что Мервин Хогарт остановился у них, и показал мне его. Они-то думают, что он приехал в аббатство рыбачить.

— Как это — рыбачить?

— Судя по всему, аббатство сдает в пользование полоску берега, где хороший клёв. А рыболовов пускают жить в аббатстве, даже не подозревая о том, кому дают приют. Хогарт, он же Хогг.

— По-моему, Уилли, вы все перепутали. — Каролина натянула плащ на голову и разгладила под ним волосы. — Мужчина на черной мессе был, наверное, другим Хогартом.

— Нет-нет, его фамилия была Хогг. Хогарт — это для повседневной жизни. Мне точно известно, что Мервин Хогарт был рожден Мервином Хоггом.

— Мужчина на черной мессе был, наверное, другим Хоггом.

— У меня есть полная картина, а у вас только фрагменты, — возразил Барон. — Когда я сегодня уходил из аббатства, я увидел, что пришла ведьма, миссис Хогг. Я вернулся и пошел следом за ней. И увидел — собственными глазами, Каролина, увидел, как миссис Хогг подошла к мистеру Хогарту. Он в это время возился с удочкой. Конечно, он узнал миссис Хогг, и у него был жалкий вид. Они обменялись несколькими словами, и вскоре он ушел, оставив ее одну. Эти двое, ясное дело, знают друг друга.

Они пристали к берегу, Каролина поблагодарила женщину, а Барон тем временем привязал лодку.

Они прошли к автомобилю, и Хелена встретила их словами:

— Джорджины нигде не видно. Лоуренс вернулся и снова пошел ее искать. Вот досада.

— Она приходила в аббатство, — сказал Барон. — Полчаса назад я ее там оставил.

— Вот незадача. Что ж, придется ее подождать. Попробуем продолжить чаепитие на заднем сиденье.

Гроза по-прежнему была далеко. Буря бушевала за несколько миль, но было непохоже, что она до них доберется.

— В каком направлении пошел Лоуренс? — спросил Барон.

— К мосту.

— Я возьму его машину и поеду навстречу. Думаю, подберу и миссис Хогг на ее обратном пути. Сейчас она, должно быть, уже у моста.

Он уехал. Хелена каждые пять минут выглядывала в заднее окошко автомобиля.

— Они, надеюсь, не разминутся, — сказала она. — Лоуренс в одной куртке. Ой, а вон и Джорджина.

На другом берегу миссис Хогг спускалась к реке по тропинке между деревьями. Она заметила Хелену и приветственно подняла руку.

Хелена разыграла перед ней какую-то бешеную пантомиму. Миссис Хогг застыла на месте с глупым видом.

— Каролина, — сказала Хелена, — будьте ангелом.

— Вы хотите, чтобы я перевезла ее в лодке, — заявила Каролина.

— Только, пожалуйста, накройтесь плащом, — возбужденно попросила Хелена. — Мы прождем ее до бесконечности, если она потащится в обход через мост. Это две мили туда и две обратно. А я умираю — хочу домой.

Но Каролина не ответила, и до Хелены, видимо, дошло, что она попросила больше, чем о простом одолжении.

— Я сама перевезу, — мгновенно нашлась Хелена. — Дайте мне плащ. Уверена, что я справлюсь с лодкой.

Каролина была уверена, что не справится. Она выскочила из машины и бросилась к реке, словно решила перебороть собственную натуру.

Несмотря на дождь, Хелена побежала за ней в одном кардигане поверх летнего платья. Она нагнала Каролину у плавучего дома и, в свою очередь, рассыпалась перед хозяйкой в благодарностях. Каролине, пока та отвязывала лодку, она сказала:

— Вы проявляете истинное милосердие, Каролина. Бедняжка Джорджина промокла бы до костей, если б пошла в обход через мост.

Каролина любезно ей улыбнулась, из гордости не желая выказывать охвативший ее ужас. Причиной же ужаса был сущий пустяк. Она знала, что ей придется дать миссис Хогг руку, чтобы помочь перебраться в лодку. Предчувствие этого физического контакта — ее рука всего лишь на краткий миг в руке миссис Хогг — и страшило Каролину. Сущий пустяк, но именно он вселял в нее ужас.

— Шагните вот сюда, миссис Хогг. На этот камень. Дайте руку. Осторожней, здесь глубоко.

Берег утопал в иле, однако имелись несколько надежных опор для ног. Каролина широко расставила ноги, подалась вперед и крепко схватила миссис Хогг за руку. Сюда, теперь шагнуть туда. "У меня получается", — подумала Каролина, крепко сжимая ее руку в своей. Вся ее жизнь сосредоточилась в этой руке.

К туфлям миссис Хогг на резиновой подошве налипло много грязи. При всей ее осторожности она поскользнулась на каблуках и качнулась назад, причем Каролина продолжала сжимать ее руку. Лодка резко накренилась. Через миг миссис Хогг шумно плюхнулась в реку, и Каролина, не отпуская ее руки, которую инстинктивно сжимала, чтобы побороть ужас перед телесным контактом с миссис Хогг, упала следом. Миссис Хогг в панике завизжала и заколотила руками по воде. Каролина разжала руку и вцепилась в борт лодки. Но миссис Хогг оторвала Каролину от лодки и схватила за шею:

— Я не умею плавать!

Каролина ударила ее по лицу.

— Я умею, держитесь за мои плечи!

Однако ничего уже не соображавшая женщина схватила ее за шею. Каролина увидела, что лодчонка, подскакивая, уносится прочь по течению. Тут миссис Хогг закрыла ей огромной ладонью глаза, так что она перестала видеть, а другой рукой мертвой хваткой вцепилась ей в горло. Она прижималась к Каролине всем телом и даже обхватила ее ногами, ограничив возможность двигать руками. Тут Каролина поняла, что, если не сможет освободиться от миссис Хогг, они обе уйдут под воду.

Они и ушли, и какое-то время их не было видно. Потом Хелена утверждала, что голова Каролины появилась на поверхности через пять-шесть секунд, но за этот промежуток между женщинами произошла схватка — кто дольше удержит дыхание. Каролина занималась подводным плаванием. Миссис Хогг нет. Она до последнего сжимала горло Каролины. И лишь тогда, когда миссис Хогг открыла наконец рот и втянула в себя воду, ее хватка ослабла и Каролина освободилась. Миссис Хогг от нее оторвало и унесло Бог знает куда.

Каролина почувствовала, что ее волокут по волнистой поверхности и с громким плеском вываливают на землю словно задыхающуюся рыбину. Затем она потеряла сознание.

— Вам еще здорово повезло, что тут оказался мой дружок, сама-то я не умею плавать.

Каролина лежала на койке в плавучем доме, не зная и не желая знать, где находится. Она узнала Хелену и тучную хозяйку плавучего дома, затем увидела незнакомого мужчину, который стаскивал с себя мокрую одежду. Каролина ощутила себя маленькой девочкой и закрыла глаза.

— А другую я не нашел, — продолжал мужчина. — Потопла, значит. Она вам не родня?

— Нет, — раздался голос Хелены.

— Она выдала этой вот по полной программе, — сказал мужчина. — Гляньте на ее лицо. Бьюсь об заклад, ее научили задерживать под водоFFй дыхание. Если б не умела задерживать, тоже утопла бы, эта вот.

Хозяйка домика помогла Каролине выпить маленькими глотками теплой воды из стакана.

Вскоре Каролина почувствовала, как ее лицо и горло смазали чем-то мягким. У нее саднило шею.

Мужчина произнес:

— Я как мог поискал ту, другую. Там глубоко. Тело-то, думаю, мы найдем. Пять лет назад тоже была такая трагедия, так тело нашли через два дня.

Прежде чем погрузиться в сон, Каролина услышала донесшийся снаружи голос Лоуренса, потом Барона и снова Хелены.

— Ну, вот и они с врачом.

Сэр Эдвин Мандерс начинал осеннее затворничество. 24 октября, в День святого Рафаила, сэр Эдвин прибыл в монастырь после полудня и успел к вечерней молитве.

Окно его комнаты выходило в зеленый дворик, усыпанный опавшими листьями. Остановив взгляд на залитом солнцем квадрате травы и листвы, он отдался мыслям об удивительных событиях в своей семье.

Пребывая в затворничестве, он обычно предавался размышлениям — под руководством духовного наставника — о состоянии собственной души. Несколько последних месяцев у него возникли основания задуматься над тем, не часто ли он удаляется в затворничество. Дома происходили поразительные вещи, необычные события, о которых он всегда узнавал задним числом.

— Почему ты тогда же мне не сказала, Хелена?

— Ты был в затворничестве, Эдвин.

Тогда у него зародились некоторые сомнения относительно затворничества. Он сказал своему духовному наставнику:

— Может, лучше было бы провести это время дома. Моей семье пришлось столкнуться с трудностями... мой сын... мой брат... моя теща... одна наша старая прислуга... было бы лучше, если б я не предавался затворничеству так часто.

— Могло быть и хуже, — сказал проницательный старый священник таким тоном, словно и вправду так считал. Унизительная мысль, однако же благотворная для души.

— Они прекрасно обошлись без меня, — признал Эдвин Мандерс.

И вот он снова оказался в затворничестве. На этот раз он действительно не хотел уезжать. Но Хелена настаивала. Эрнест с присущей ему застенчивостью сказал: “Кто-то же дол-

жен за нас помолиться, Эдвин". Лоуренс сказал: "Отказаться от осеннего затворничества? Нет, ты не можешь так поступить". Но не привел никаких причин. Каролина Роуз отвезла его на вокзал.

С прибытием в монастырь все сомнения кончились. Чары начали действовать. Строгая келья была как наркотик. Доносящееся из часовни повышение и понижение голоса в кантус фирмус[1] приглашало его в свой неизменный чистый мир. Бесшумные, неподвластные времени послушники занимались, как положено, своими делами, заставляя Эдвина Мандерса ощущать собственное приятное ничтожество перед лицом этих исполненных глубины избранных. В эту минуту от Эдвина было, к счастью, сокрыто, что в монашеских покоях прорвало трубу и затопило половину спален, из-за чего там царил полный кавардак; что одного из послушников нещадно выворачивало наизнанку; что настоятелю не давала покоя банковская задолженность. Таким образом, он был достаточно свободен от материальных забот, чтобы ясно узреть свое духовное искушение, каковое, решил он, в конечном счете вполне можно преодолеть — эту роскошную ностальгию, этот дурман религиозной службы, ибо он более или менее понимал, что монаха из него при всем желании не получится. Он сосредоточился на семейных делах.

Два из них относились к категории неприятных, поскольку сведения о них попали в газеты. Он не мог решить, какое из них хуже — касающееся Луизы Джепп или связанное с Джорджиной Хогг. Наконец все-таки решил, что дело Джорджины в целом серьезнее. И добрых полчаса думал исключительно о Джорджине, чье тело, как все считали, покоится в иле на дне реки Медуэй, поскольку его так и не нашли. Вечерние лондонские газеты опубликовали материал с указанием имен Хелены, Лоуренса, Каролины, Барона Стока и пары с плавучего дома. Имело место дознание. Бедняжка Хелена. Ему вспомнилось, что в далекие времена домашние наградили Джорджину прозвищем Мандерсова Мучительница.

Как он узнал задним числом, потому что в то время находился в затворничестве, Хелена попросила Лоуренса навести справки о сыне бедняжки миссис Хогг. Парень оказался неудачником: выяснилось, что отец у него — двоеженец. Хелена прекратила расследование, как только узнала, что Элеонора Хогарт причастна к двоеженству; несомненно, по неведению, но еще одна неприятность — она была партнершей

1. Ведущая мелодия в полифоническом многоголосии.

его брата Эрнеста... Хелена замяла дело. Хелена была великолепна.

— Нам было дано предостережение о смерти миссис Хогг. Мы с Уилли Стоком ехали на пикник, а Джорджина сидела сзади...

Женщины, разумеется, любят пофантазировать. Эдвин часто задавался вопросом, есть ли в рассказах о чудесном исцелении сына миссис Хогг хоть зерно правды. Хелена не сомневалась, что да. Официальные отклики на эту тему отсутствовали. Молодого человека взяла под свое крыло какая-то богачка, не то теистка, не то теософка. Во всяком случае, по последним данным он покинул дом этой женщины и отбыл в Канаду выступать с лекциями о своем исцелении.

Эдвин подумал о своем брате Эрнесте, который так любит жизненные блага и имеет так мало денег — и, возможно, не так уж влюблен в эту танцовщицу. Он заставил себя обратиться мыслями к Элеоноре... "Все они страдали, а я тем временем тучнел от поста". Он и вправду этому верил, на самом деле он был не таким ограниченным, как казался.

А подумать про тещу! И он со всей решимостью приступил к размышлениям о Луизе Джепп. Он и тут не мог ухватить суть дела... контрабанда бриллиантов, шайка, прямо какая-то приключенческая повесть. Не говоря уж о реальном безрассудстве Луизы, которое приводило в полнейшее замешательство. Собрав все свое мужество, он заставил себя восстановить в памяти то сентябрьское утро, когда Хелена за завтраком неуверенно протянула ему письмо. Как выяснилось, от Луизы. К письму была приложена вырезка из местной газеты. Заголовок гласил: "Свадьба на закате". Длинная колонка начиналась со слов: "На закате жизни двое долгожителей Ледилиса связали себя узами Священного Брака. В Церкви Всех Святых в прошлое воскресенье миссис Луиза Джепп, 78 лет, проживающая в коттедже "Логово контрабандистов" в Ледилисе, пошла под венец с мистером Дж. Дж. Л. Вебстером, 77 лет, проживающим в коттедже "Старая мельница" в Ледилисе...: Невеста поклялась "слушаться"..." Затем следовала подробная информация о Вебстере и его карьере на торговом флоте. Колонка заканчивалась словами: "У миссис Джепп (ныне Вебстер) одна дочь, леди Мандерс, жена сэра Эдвина Мандерса, главы знаменитой фирмы "Фиги Мандерса в сиропе". Преподобный Р. Сокет, проводивший церемонию венчания, заявил: 'Это счастливое и исключительное событие. Миссис Джепп очень любят и почитают в нашем приходе, хотя она не из тех, кто ходит в храм регулярно'".

Сопроводительное письмо было коротким. В нем Луиза, в частности, отметила: "Строго говоря, утверждение, что я не по-

сещаю храм регулярно, не вполне соответствует истине, потому что я регулярно хожу туда в Поминальное воскресенье"[1].

Лоуренс и Каролина были в восторге от замужества Луизы. От Лоуренса этого следовало ожидать. Он всегда обожал бабушку. Она и в самом деле очаровательна, в самом деле.

Эдвин задался вопросом, а заинтересована ли сама Каролина в замужестве?

— Она ждет, чтобы Лоуренс вернулся к вере, — сказала Хелена.

Сомнительно. Каролина относилась к странному виду католиков — все от головы, очень мало от сердца.

— То чудовищное несчастье на реке с бедняжкой Джорджиной не имело для Каролины плохих последствий, — сказала Хелена. — Должно быть, у нее крепкий организм. Напротив, после того случая она стала много беззаботнее. Такое впечатление, будто она чем-то довольна, я не знаю, чем именно.

Каролина закончила книгу о романе и объявила, что надолго уезжает отдохнуть. Будет писать роман.

— О чем же роман?

— О действующих лицах романа, — ответила Каролина.

Сам Эдвин заметил:

— Пусть это будет старомодная история с бесхитростным сюжетом и без всяких новомодных мистификаций. Завершите его смертью злодея и замужеством героини.

Каролина рассмеялась и сказала:

— Да, этим он и завершится.

Несколько недель спустя действующее лицо по имени Лоуренс Мандерс обшаривало квартиру Каролины Роуз. Она уехала в Вустершир писать роман, он же пришел в ее квартиру собрать книги, которые она попросила ей выслать.

Лоуренс не спешил. На самом деле книги интересовали его в последнюю очередь.

"А что я ищу?" — подумал он, перебирая платья в ее гардеробе.

Он нашел нужные книги, но перед уходом сел за письменный стол Каролины и написал ей письмо.

Я провел в твоей квартире 2 часа 28 минут, — написал он. — Разыскал нужные тебе книги и осмотрел квартиру. Зачем ты заперла

1. В Великобритании — ближайшее к 11 ноября, дню окончания Первой мировой войны в 1918 г.; в этот день поминаются жертвы обеих мировых войн.

правое отделение стенного шкафа? Я с трудом открыл его и нашел всего лишь бигуди в одной коробке, шарфы в другой и еще белые перчатки. Запереть дверцу я не смог. И вот только что спросил себя — что я ищу?

Я обнаружил в шкафу огромную связку твоих заметок для романа в картонной коробке с надписью “Хранить в прохладном месте”. Почему ты их оставила? Какой смысл делать заметки, если ты ими не пользуешься, когда пишешь книгу?

Хочешь, я их тебе отправлю?

А может, ты их для того и оставила, чтобы я прочитал?

Но как-то ты, помнится, сказала, что всегда делаешь массу заметок для книги, чтобы потом к ним не обращаться. Я чувствую себя одураченным.

Скажу, что я думаю о твоих заметках:

1. Ты представляешь нас всех в ложном свете.

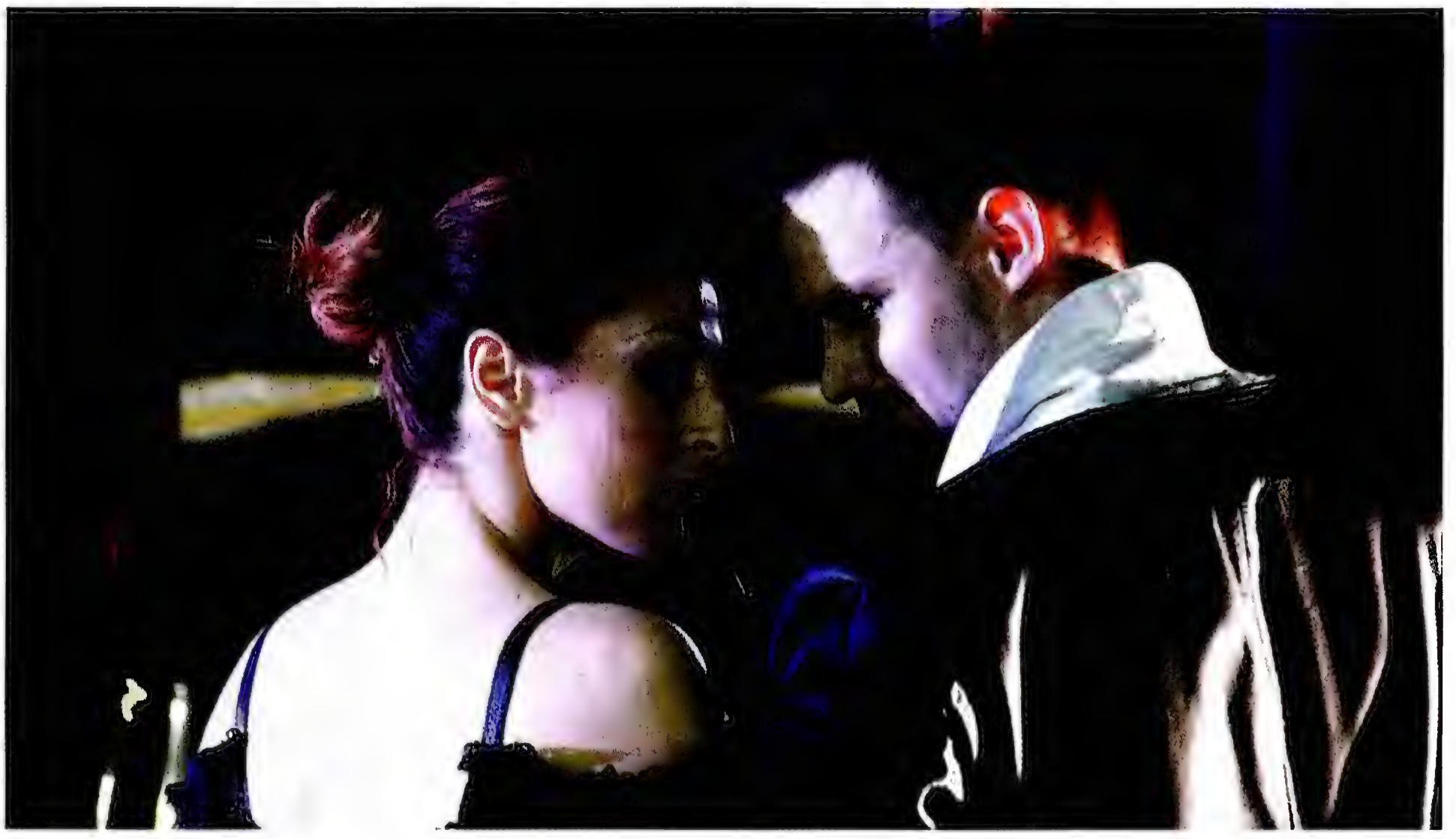
2. Ты, ясное дело, из породы мучениц. Мученица непонимания. Но в действительности ты сама никого не понимаешь, например, Барона, моего отца, меня; нас мучает твое непонимание.

3. Я тебя люблю. По-моему, ты безнадежно себялюбива.

4. Мне не нравится выступать действующим лицом твоего романа. Чем все это кончится?

Лоуренс написал длинное письмо, перечитал написанное, сложил и заклеил конверт. Конверт он сунул в карман, заметки Каролины уложил назад в коробку, а коробку поставил в шкаф.

Когда он свернул в Хампстед-Хит, осенний день уже клонился к вечеру. Религия сильно изменила Каролину. Одно время он думал, что вера облегчит жизнь ей, а косвенным образом и ему. “Это должно стать твоим личным делом”, — заметила Каролина по какому-то случаю, приведя его в бешенство самоуверенностью всезнайки. “Я хотя бы честен, — подумал он. — Я не понимаю Каролину”. У него не получилось высказать в письме свои возражения. Он вытащил письмо из кармана, разорвал на клочки и бросил на ветер, который понес их по парку. Он следил за тем, как маленькие бумажки прерывают полет — одни падают на жесткую землю, другие, запутавшись в траве и водорослях, — на глубокое болото, а какой-то клочок зацепился за колючку терновника. Но тогда он еще не предвидел охватившего его позже удивления пополам с непонятным восторгом, оттого что его письмо попало в книгу.



"Портрет Дориана Грея". Московский Театр на Юго-Западе.

Осень окрашивает яркими цветами листья в московских парках, задувает холодным ветром и сыпет дождем — но от непогоды можно спрятаться в гостеприимно распахивающих двери столичных театрах, открывающих новый сезон премьерами, в музеях и выставочных залах, подготовивших для взыскательного зрителя новые выставки и экспозиции, в библиотеках, давно превратившихся из хранилищ книг в современные интерактивные учреждения, приглашающие на встречи с писателями, историками, искусствоведами.

Московские театры открывают новый сезон премьерами: на новый спектакль по нестареющему роману Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея" приглашает Московский Театр на Юго-Западе. "Дориан в спектакле Олега Леушина — загадка для всех с самого начала. Режиссер дает свою версию появления юного незнакомца и вводит в спектакль высшие силы, названные тут просто — Белое и Черное. Пока добро надеется на верный выбор, зло действует. И все же они не могут существовать друг без друга. Один из парадоксов, из которых соткан весь спектакль Олега Леушина. И потому в финале именно Черное становится на сторону людей и предлагает дать им шанс, но лишь для того, чтобы вновь заключить пари. "Портрет Дориана Грея" — это вечная история о душе, истинной красоте, сомнениях, порождающих мысли и желания, и о прощении", — гласит пресс-релиз спектакля. В ролях заняты молодые артисты театра, подробности на сайте http://teatr-uz.ru/

И детей, и взрослых ждет уникальный Московский театр кошек Юрия Куклачева: в октябре зрители увидят новый спектакль "Я — Клоун!". "Я мечтал стать клоуном с самого детства. Я овладел цирковыми жанрами, трудился, мечтал и шел к своей цели. А если чего-то очень желать, оно непременно сбудется. Однажды мне приснился сон... И с этого момента моя жизнь изменилась! Как? Об этом вы узнаете на спектакле, который так и называется: "Я — Клоун!", — пишет создатель театра, спектакля и воспитатель хвостатых-полосатых заслуженный артист России Юрий Куклачев на сайте театра http://kuklachev.ru

Старейший, легендарный Московский театр "Ромэн" радует москвичей своими постановками уже более 80 лет, а более 40 лет им руководит народный артист

Юрий Куклачев.

"Клятва". Московский театр "Ромэн".

СССР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, профессор Николай Алексеевич Сличенко. Несмотря на почтенный возраст, цыганский театр молод душой и новый сезон открывает новыми песнями, плясками, яркими зрелищами: "Любовь и время. Цыганская легенда", "Клятва" и "Колокола любви" — спектакли о страстной любви и ревности, о добре и зле, об интригах и возмездии, противостоянии любви и таланта злу. Заказать билеты и ознакомиться с новинками можно по адресу: http://teatr-romen.ru/

Разбегаются глаза и от приглашений московских музеев: обширную программу новых выставок предлагает знаменитый ММОМА — Московский музей современного искусства. Выставки нового сезона предлагают поразмышлять об общих корнях творчества и технического прогресса ("петер_вайбель: techne_революция": Персональная выставка австрийского художника, куратора, теоретика и одного из пионеров медиаискусства, специального гостя 6-й Московской биеннале современного искусства), провести масштабное исследование феномена русской культуры ("Евгений Антуфьев. Бессмертие навсегда": тотальная инсталляция займет весь третий этаж главного здания музея на Петровке 25), исследовать самосознание и способы самопрезентации мужчин, одну из его социальных ролей — красавца, отца или влюбленного (Мария Ионова-Грибина. GUYS), погрузиться в странный мир световых инсталляций, масштабных объектов, современной живописи, графики, фотографии и видео со всего света (Другая часть нового мира: произведения из коллекции Центра искусств CA2M и Фонда ARCO. Более тридцати художников из стран Латинской Америки, Западной Европы и США). Кураторская группа во главе с Директором ММОМА Василием Церетели представит 15-летнюю историю музея в неожиданном ключе. Архитектором экспозиции стало бюро FORM, которое разработало уникальный маршрут, позволяющий посмотреть на музей изнутри, изучив его тайные ходы и выходы. "Музей с предсказаниями" — не только повод задуматься об истории и сегодняшнем дне, но и попытка заглянуть в будущее.

Интерактивный образовательный центр "Познай себя — познай мир" ждет посетителей в Государственном Дарвиновском музее: у входа в Центр любо-

ММОМА 15 лет. "Музей с предсказаниями". Юбилейная экспозиция.

Государственный Дарвиновский музей,

знательных гостей встречает хамелеон Чарлик. С ним можно поиграть и сфотографироваться, а получившийся снимок отправить на свой e-mail. Чарлик — весёлый проводник в мире Знаний. Он поможет лучше узнать самого себя: проверить вестибулярный аппарат и скорость реакции, измерить пульс и сравнить его с сердцебиением колибри, увидеть мир с высоты птичьего полёта и глазами маленькой мыши, узнать, какую роль в жизни человека и животных играют запахи и звуки. Музей приглашает на экскурсии по миру животных и птиц, на самые разные образовательные и художественные выставки: "Хищный воробей", "Бестиарий—2015", "DIZA" (дизайнеры музея представляют свои работы), "Транс-сибирская художественная резиденция: антропологическое исследование" (6-я Московская биеннале современного искусства, интерактивное действо), "Третье царство" (не животные и не растения, жизненно необходимые и смертельно опасные… грибы). Подробности на сайте музея: http://www.darwinmuseum.ru/?future

В Москве существует и совершенно уникальный музей, посвященный истории самого старого московского района — Мещанского: Музей "Садовое кольцо".

В атмосфере старого особняка посетители окунутся в уютный московский быт, узнают о традициях, семейных ценностях и легендах Мещанского района. Помимо традиционных экскурсий и лекций в музее проводится множество увлекательных путешествий для детей и взрослых. Можно попить горячего чайку, послушать лекции по истории Москвы, поиграть в исторические квесты, поучаствовать в разнообразных мастер-классах. В музее до конца ноября открыта совершенно уникальная выставка антикварных игрушек "Плюшевые медведи в гостях у музея", без положительных эмоций и приятных воспоминаний не уйдет никто! Кроме выставок, музей проводит экскурсии по району Садового кольца — и не только пешеходные, но и самокатные и велосипедные. Ознакомиться с планами уникального музея можно на странице http://sadovoekoltso.com

Какая же осень без концертов: Московский камерный оркестр Musica Viva занимает особое место на российской академической сцене — это универсальный музыкальный коллектив, исполняющий и камерный, и симфонический, и оперный репертуар. В зависимости от программы, состав исполнителей может меняться от

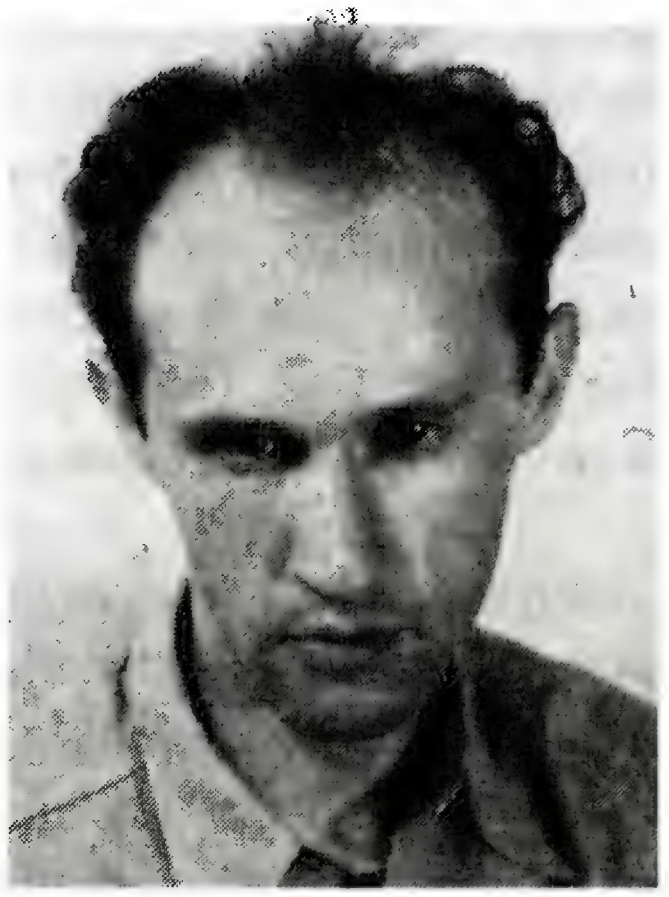
“Московский камерный оркестр Musica Viva.

барочного ансамбля до симфонического оркестра времен Бетховена, Мендельсона, Шумана. В октябре оркестр планирует выступать в Концертном зале имени Чайковского, в Московском доме музыки, в Музее музыкальной культуры им. Глинки, на других московских площадках. Так, в октябре состоятся циклы просветительских концертов “Концерт на старинных инструментах”, “Популярная музыкальная энциклопедия”, “Вариации на тему рококо” — о программе, абонементах и билетах можно узнать на сайте http://ru.musicaviva.ru/

Осень — время лекций: открывают лектории популярные московские библиотеки: Библиотека истории русской философии и культуры “Дом А. Ф. Лосева”, Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, “Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека”. Ознакомиться с программой лекций можно, зайдя на страницу http://old.kultura.mos.ru/organizations/libraries/ сайта Департамента культуры города Москвы.

И для тех, кто и осенью не мыслит выходные без прогулок, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, включающий усадьбы Люблино, Лефортово, Коломенское, Измайлово; Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник “Царицыно”; Государственный музей керамики и “Усадьба Кусково XVIII века” проводят самые разнообразные экскурсии по дворцам и паркам. О расписании можно узнать на сайтах музеев http://mgomz.ru/ http://www.tsaritsyno-museum.ru/ http://kuskovo.ru/

Лео Липский



Пётрусь
Апокриф

Микророман

Перевод с польского и вступление Владимира Окуня

От переводчика

Творчество польского писателя Лео Липского не очень известно за пределами его родины, да и там его начали публиковать лишь после трансформации политического строя в начале 90-х годов прошлого века. До этого Липского печатали (а написал он лишь несколько книг) только в эмигрантских издательствах и не слишком часто. Наверное, это во многом связано с необычностью, инаковостью авторского взгляда на свою эпоху и место маленького человека в ней. Современные исследователи сравнивают прозу Липского, в частности, с творчеством Фердинанда Селина и Фернандо Пессоа. По словам одного из критиков, "наблюдения его столь же фантастичны, сколь фантастичными становятся самые заурядные предметы под микроскопом, а воображение достигает высот кафкианского реализма".

Лео Липский (настоящая фамилия Липшюц) родился в Цюрихе в еврейской семье. Детство и юность провел в Кракове, учился психологии и философии, пробовал свои силы как поэт и прозаик. С началом Второй мировой войны бежал от немцев во Львов, где был арестован НКВД и отправлен в лагерь на Волге. В 1943 году Липский покидает СССР вместе с арми-

© Leo Lipski, 1960
© Владимир Окунь. Перевод, вступление, 2015

ей генерала Андерса[1], в Тегеране заболевает тифом, потом менингитом. Болезни не прошли даром: полупарализованный, Липский остается в Палестине, и его домом до конца жизни становится Израиль. Один — все его близкие погибли во время войны. Паралич прогрессировал, лишал возможности двигаться, говорить. Но он продолжал работать до тех пор, пока был в состоянии печатать одной рукой на машинке или диктовать. Благодаря участию друзей, книги издавались, давая автору средства к существованию. Все им написанное, отмечено печатью одиночества, беспомощности, отчаяния и безнадежности — говоря его словами, "замурованности в собственном теле".

Микророман "Пётрусь" (так определил жанр книги сам автор) впервые был опубликован в 1960 году. Это своего рода завершение неформальной трилогии: в романе "Неспокойные" (1952) действие происходит в преддверии и предчувствии Второй мировой войны, в цикле рассказов "День и ночь" (1957) герои переживают военный апокалипсис, а в "Пётрусе", снабженном подзаголовком "Апокриф", показан мир после конца света — мир людей, лишенных иллюзий, прошедших через мучения и потерю близких, потерю себя как личности. Во многом судьба героя повторяет жизненный путь самого автора. В записках Липского, обнаруженных после его смерти, говорится: "...Через описание индивидуального опыта <...> я хотел показать человека в универсальном смысле этого слова — и его судьбу на земле. Мне хотелось показать деградацию человека. Пётрусь (как и я) увечен физически, выброшен за пределы общественной жизни из-за своей болезни, одиночества, экономической ситуации и эмиграции. Однако я уверен, что эта увечность, униженность, одиночество в более глубоком смысле — нормальный удел человека на земле".

Одна из ярких особенностей микроромана — его язык. Рваные, незаконченные, как бы в полубреду рождающиеся фразы, перемежающиеся философскими пассажами, скомканные диалоги разгоряченных любовников, подслушанные героем разговоры соседей, вставные новеллы, напоминающие то восточные сказки, то классическую польскую прозу, — все это звучит, как атональная соната, втягивает читателя в поэтическую фантасмагорию послевоенного апокрифа. При этом опубликованный роман шокировал читателя откровенной эротичностью, одержимостью героев сексом. Как написала в 1998 году польский литературовед Ханна Госк в своей монографии о Липском: "Краски, звуки и запахи, оксюмороны и метафоры, густой эротизм и прикосновение к святому — всё в одном абзаце, источающем ауру предательства, обкрадывания природы, искаженного увечьем восприятия мира...".

1. Армия Андерса – воинское формирование, созданное в 1941–1942 гг. на территории СССР из польских граждан, находившихся в СССР, в том числе беженцев, интернированных военнослужащих польской армии и амнистированных заключенных.

Не понятая сразу после опубликования, холодно принятая читателями и критикой книга в наши дни пережила второе рождение. То, что полвека назад казалось авангардистским вызовом, сейчас воспринимается как предвосхищение эстетики постмодернизма. Тема второго и последнего романа Лео Липского — отчаянная попытка человека найти себе место в мире, где его жизнь обесценена почти до нуля, остановиться у той черты, пересечение которой означает разрушение личности.

> Кто целиком отдастся одному великому или малому делу, вдобавок безнадежному, — тот, в конце концов, обречен умереть за него либо же из-за него.
>
> Мария Домбровская *Ночи и дни*

Часть первая

1

БЫЛО это в Палестине, на Святой земле, примерно весной 194... года.

Как раз в то время обстоятельства и нравственный долг вынудили меня повесить над головой большое объявление на немецком, иврите и английском: ПЁТРУСЬ ВМЕСТЕ С ОДЕЖДОЙ – НА ПРОДАЖУ.

2

Великое торжище, незатихающая ярмарка, а по сути базар, "сук" или "шук"[1]. Запруженная людьми длинная улица, где едва удавалось протолкнуться, и проулки, пропахшие мясом и птицей. Эти проулки, видом своим напоминающие итальянские улочки, спускались к морю, вечно ворчащему. Здесь гораздо дешевле можно было купить такие вещи, как расчески, кур, шелковые трусы, апельсины, кораллы, бесчисленное множество крупных и мелких предметов, часто наваленных грудами выше человеческого роста.

Продавцы кричали, расхваливая свой товар. Арабы впадали в экстаз, плевались, бранились, сверкая вылезавшими из

1. Сук (шук) – рынок или торговая часть города в арабских странах. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренного случая, – прим. перев.*)

орбит глазами. Меня всякий раз удивляла их выносливость, удивляла и пугала. Десять часов без перерыва:

— Хороший чеснок, самый лучший чеснок, чеснок малиновый, гавайский, невероятный!

А захочется отдохнуть от гама — можно пройтись по этим пахнущим курами улочкам, которые всегда, свернув так или эдак, сползают к морю.

Но я себе такого позволить не мог. Не имел никакой возможности. Мне нужно было уже сегодня, сейчас, немедленно, сию минуту продаться.

На границе Тель-Авива и Яффы, где покупали и евреи, и арабы, где была самая большая толкучка, никто, как мне сегодня кажется, не замечал меня. Сидел я спиной к морю: по левую руку Тель-Авив, по правую — высокий минарет вдали. Там шук был уже совершенно арабским.

Яйца, сложенные пирамидой. Лица, завешанные связками золотых монет. Серебро и золото. Сидя на корточках, мужчины в фесках и тюрбанах потягивали чай. Бедуин с расстеленным на земле ковриком. Множество глиняных сосудов, бутылочек. К нему подсаживались женщины, долго что-то нашептывали. А потом — разноцветные порошки. Он с важным видом размешивал их в воде и давал выпить. Лекарь, косметолог, знахарь, продавец приворотных зелий.

В темных подворотнях курили кальян. Бледно-голубоватый дым. Улочки сужались, чернели, вились, как змеи. В их тени любовались красивыми коврами, покупали овец, ослико в, коз и верблюдов. Солнце уже вовсю жарило, что здесь обычное дело. Я сильно потел. Сидел почти голый. Меня пощупала какая-то худосочная женщина и отошла. Было уже десять. Я отчаялся.

Народу все прибывало. Овощи, мясо, по цвету уже едва отличимое от темной кожи местных жителей, разномастные платки, обливающиеся потом мясники, целые тонны густо льющегося солнца, цветы — все это непрестанно кружилось, потом отдалялось, уплывало понемногу, пропадало, одновременно рождаясь вновь, извлекаемое из выдвижных ящиков, из кладовок, из глубин магазинов и складов. А по низу арабского рынка шныряли мальчишки лет пяти, незаметные в толпе, разносили маленькие чашечки с кофе, чаем, выныривая в безопасном месте. Сильно пахло фалафелем[1]. Чуть дальше арабское мороженое, неописуемое, изготовленное

1. Арабское блюдо: жаренные во фритюре пряные шарики из измельченного нута или бобов.

голыми руками и языком. Можно было заказать его в форме хоть цветка, хоть ворот.

3

Ко мне подошла пожилая дама, вся в черном. Приблизила свое лицо к моему, мокрому от пота. Я почувствовал вонь у нее изо рта, невыносимый смрад. Наклонилась — я сидел. Моему взору открылся грязный лифчик, половина груди. Глаза у нее были черные, бегающие. Присела. Взялась основательно ощупывать меня. Не пропустила ни одной части тела. Велела встать. Я неуклюже поднялся. "Угу", — буркнула она. Щупала дотошно, будто курицу: есть ли в ней яйца, жирная ли. Видно, опасалась, как бы я не был слишком здоров — но и слишком больной, чтобы сразу у нее помереть, ей не годился. Похоже, я был в самый раз, потому что она сказала по-немецки:

— Понимаете ли, мой муж после смерти лежал в больничном холодильнике, и мне это стоило массу... Здесь мясо так быстро разлагается.

4

Вдруг суматоха, какое-то волнение. Началась толкотня. Едва не повалили ларьки.

И внезапно, будто разверзлось море, бородатый араб на маленьком ослике. За ним верблюды, тоже бородатые, величаво покачиваясь, движутся так, словно каждая часть тела функционирует сама по себе. Навьючены по самые крыши домов.

5

— Ох, меня прямо притиснули к стене, — стонет моя дама в черном. Тяжело дышит.

— Было это, — возвращается она к своей истории, — было это еще во время процесса. Того, об отравлении. Ну а вы, что вы делали вчера, позавчера?

— Вчера? Вчера я ушел из дому, это как бы санаторий или дом престарелых. Как раз вчера. Выхожу на балкон, а там плачет старая еврейка.

— Что вы плачете? — спрашиваю.

— Старая потому что, умирать пора.

Так она ответила. И добавила:

— Самой себе уж противна, старая старуха, а мне велят еще с такими же жить.

Потом я вернулся в палату. Мы жили вчетвером. У меня на кровати сидела немка лет сорока и разглагольствовала о том, что у нее с позвоночником плохо, так что она может только губами, языком. Потом в палату зашел мужчина, которому арабы отрезали все причиндалы, из-за этого от него постоянно воняло мочой. Он иногда в бешенство впадал, а еще писал стихи. И там...

— Хватит.

Мне показалось, что она в замешательстве. Но я не сдавался.

— И там мыла полы молодая девушка. Шоколадная куколка.

Вдруг я сообразил, что слишком многое помню. Что допустил роковую ошибку. Но она уже решилась:

— Иду за носильщиком. Ага, я заметила, что вы шепелявите и заикаетесь.

Я не знал, хорошо это или плохо. Покраснев, ответил:

— Д-д-да, нет...

— Вы по лестнице-то можете ходить?

— Н-н-нет... то есть после несчастного случая, когда меня... так что... да... нет...

Она все еще взвешивала какие-то “за” и “против”. Снова оглядела меня с ног до головы и сказала:

— Покупаю. Иду за сабалем, носильщиком, то бишь.

Остановила прохожего, чтобы перевел не понимавшему по-немецки носильщику (тот был из Йемена) что-то вроде: “Отвези его на улицу Хапу-Хапу, 8, к мадам Чин. Там я с тобой расплачусь”.

И пошла себе.

Сабаль помог мне забраться на свою двухколесную тележку. Потом перенес одежду. Объявления не взял. Мы выехали на улицу Алленби.

6

На нас никто не обращал внимания. В то время частенько переезжали таким образом. Носильщик бодро толкал тележку, высовывая язык, как дети, когда пишут. И тряс своей козлиной бородкой. Трудно было удерживать равновесие. Так что одни верхушки домов. Я улегся и уже не видел улиц. Чувствовал, когда ехали в тени. А в остальном только небо, на которое тяжко было смотреть.

У кинотеатра “Муграби” он остановился. Тень еще влажная. Я сел. Разглядывал людей, особенно девушек. В большинстве своем страшненькие, с отвислыми задницами.

В Палестину до войны приезжали идеалистки. Идеализму редко сопутствует красота и длинные ноги. Я удрученно прилег на тележку. Позже мне предстояло убедиться, что в этом городе все же попадаются красивые девушки. Мучаются от жары по вечерам в темных домах.

7

Сабаль неожиданно тронулся. Мы неторопливо ехали по улице Бен-Иегуда, а я думал о странном впечатлении, никак не отпускавшем меня в доме престарелых. Неужели только там можно увидеть такое? А если взять прохожих на любой улице — да везде? Даже самых красивых девушек, которые мне до сих пор встречались.

Я имею в виду ковыряние в носу. Повсюду все ковыряли в носу, открыто либо в своем воображении. И каждый вытаскивал наружу козюльки, долго что-то выискивал в них, искал, искал, наконец, начинал скатывать в шарик, как хлеб, нервно возиться, улыбаясь незаметно, неестественно, рассеянно. И еще каждый трогал свои самые интимные места — рукой, а то и ногой. Конечно, часто не в буквальном смысле, а какой-то третьей ногой, очертания которой я отчетливо различал. Не говоря уж о том, как они, должно быть, интересовались этими местами, лежа в одиночку в постелях. "Интересовались" — это и много, и мало. Нервно копались там, думая о чем-то своем, читая книгу, разговаривая во сне.

Такой уж народ, размышлял я, богоизбранный, еще и в этом. Большой невроз, одно большое осложнение, которое ветвится, как артерия, и заканчивается ковырянием, рассматриванием. Это заразно, подумал я, ковыряя, копаясь, где только мог.

Так, ковыряя в носу, мы свернули в один из переулков. Зелено. Много незастроенных участков. Какая-то башня с круглой комнатой. Лавка с продуктами, мылом, обувным кремом, шнурками.

8

— О, вот и он.

Много детей. С самокатами и без. И взрослые.

Квартира была на первом этаже. Все на улице. Мадам Чин. Я вошел. Опираясь на трость покойного мужа.

Трехкомнатная квартира. Одна комната занята бездетной супружеской парой. Он не показывался, она нервничает. Сын мадам Чин, парень лет двадцати. Мать звала его Эдкой. Когда мы сообща закрыли дверь, я побрел по уходящему из-

под ног полу коридора. Несколько раз спотыкался о выступающую плитку, в конце коридора гостиная.

— Его бы в эту маленькую комнату, — предложил Эдка.

— Нет-нет, это память об отце. Еще сдохнет там. Здесь мясо очень быстро портится.

— Ну, так куда?

— Тебя все равно целый день нет дома. Будешь спать со мной. Во столько мне обошелся... Будет в той, другой. И так у нас балкон общий... Но об этом еще не время говорить.

— Делай, как хочешь.

Эдка — высокий блондин, плечистый.

— Значит, его туда. Тем паче, что миссия, которая будет на него возложена... — высокопарным тоном. — Впрочем, положись на меня.

Я все время смотрел на ее черные усы и выпадающий протез. Эдка повернулся на каблуках и вышел.

— Теперь я переоденусь.

И она надела платье.

Это было платье-не-платье, перемазанное соусами, жиром, прилипшей пылью, пóтом — и опять жир и пот. Его как будто сшили из хорошо выдубленной юфти, а из дырки выглядывал черноватый сосок.

— А теперь приготовим нашему Пётрусю что-нибудь на ужин.

Эдка вернулся и принялся читать газету. Мне все время казалось, что он притворяется, будто читает, — по мне, в этих знаках нет никакого смысла. Но ему помешала мадам Чин:

— Давайте-ка обсудим наши дела. Вы должны выглядеть неаппетитно. Впрочем, сойдет и так, как есть. Главное вот в чем. У нас тут жильцы. Он якобы инженер — черт бы его побрал, у нее триппер, который она подцепила в армии. Но это неважно. Ваша задача, Пётрусь, блокировать клозет. С утра до вечера. Питанием обеспечу. Запру вас, для надежности. Вы понимаете. Я-то сама не могу сидеть, потому что хожу на заседания "Исследователей Библии"[1]. Дам вам Мейера, первый том. Энциклопедию. Понятно?

— Д-д-да, конечно.

— Ну и хорошо, что понятно. Чтобы не скучали — Мейера, первый том. Вечером можно будет выйти. Это единственный

1. "Исследователи Библии" — христианское течение, основанное в 70-е гг. XIX в. Чарльзом Расселом. Впоследствии из него возникло несколько самостоятельных религиозных течений, в частности, "Свидетели Иеговы".

способ. Блокировать клозет, если хочешь их выжить. Я имела неосторожность сдать без мебели. Мой сын Эдка — слесарь и уходит рано утром.

— Но, простите... А они не станут... где-нибудь еще? Я знаю?

— Вряд ли. Нет. Каждый раз по-маленькому куда-то бегать? К тому же у них есть ночной горшок. Я искала что-нибудь подходящее на шуке. Хотя вы не очень-то и подходите.

9

Мне постоянно казалось, может, и напрасно, что они там, в той комнате с горшком, подслушивают, сидят, как крысы, принюхиваются, шевеля черными носами, настороженно, тихо.

Вдруг радио, у них, в той комнате. Мадам Чин подскочила. Завопила:

— Эдка, Э-э-эдка! Где звонок?

Усталый Эдка с трудом пошевелился. Отозвался:

— Что-о-о?

— У них играет, играет, играет!

— Ну и пусть играет.

— Эдка, включи звонок. В розетку. Включи!

— Так он будет мне мешать.

— Включи-и-и, — зашипела мадам Чин.

Он вздохнул и поднялся.

— Где звонок?

— Ты же сам!..

— С чего ты взяла?

— Как это с чего? Ты сам. Включи звонок.

— Да ищу я.

Нашел. Вставил в розетку электрический звонок. От этого *там*, у них, в комнате с горшком, начался невероятный треск.

— Получили музыку, — вздохнула она с облегчением. Радио выключили.

— Это очень просто, — объяснила мадам Чин, перекрикивая шум, — очень просто, включаешь здесь, а трещит там.

— Мешает эта трескотня. Я хочу почитать газету.

— Так им и надо, так и надо. А получится, еще и керосину им в супчик, — отвечала она.

— Выключи звонок.

— Нет. Не выключу.

— Хватит уже с меня. Хочу газету почитать.

— Ты забываешь, что у тебя ноги воняют. Как козел воняешь.

— Если не выключишь этот звонок...

— То что?

— То разобью тарелку.

— Попробуй.

Дзынь! Тарелка вдребезги.

— Эдка, ты что творишь? Успокойся!

— И не подумаю. Ты, старая...

— Успокойся, — перекрикивала она треск, — не то!..

— Не дождешься! Она только это и понимает. Когда ей расколешь...

— Не дождешься!

— Не трогай, отойди-и!!

Мадам Чин загораживает собой какой-то хрусталь. Но Эдку не остановить, он сам не свой. Сцепились.

— Э-э-эдка!

— Ей только это и понятно, только это!

Оба кричат. Все ясно. На это зрелище народ собирается с трех улиц. Окна открыты. Взрослые и дети рассаживаются на подоконниках. Удобно. У женщин набухают вагины. Она впадает в ярость.

— Отойди, не трогай!

— Ну уж нет, нет! Ах ты, вонючая...

— Полиция, полиция! Душат!

Хрип. Звон стекла. Она валится на меня. В истерике:

— Спаси, дружочек, золотой мой!

Эдка, задыхаясь:

— Если не заткнешься... Замолчи. Молчи!

У нее синеет лицо.

Видно, им это не впервой.

На улице толпа. Даже эти, с горшком, поглядывают. Родители поднимают детей повыше, чтобы лучше видели. Эдка вдруг срывается с места, выбегает из дому. Понемногу расходятся. Остаются только дети. Слышен дребезг самоката.

Она:

-...значит, с завтрашнего дня. Пожалуй, приступайте.

— Да, конечно.

— Эдка, он хороший мальчик. Только немного вспыльчивый. Иной раз как врежет нашему инженеру по морде, любодорого посмотреть. Так, без причины. Вообще-то, он кроткий, как дитя. Но за ним глаз да глаз нужен. Чтоб не стал слишком кротким. Иначе эти, оттуда, совсем на голову сядут. А так он их за глотку держит. Это у него темперамент такой. Ну, я иду спать, а утром на пляж. И потом на заседание "Исследователей Библии".

— Спокойной ночи.

— А уж завтра, ну-ну.

И ушла. Перед этим показала диван, на котором мне предстояло спать.

10

Фиолетовая ночь. На окраинах шакалы. Их жалобный смех. Нестерпимо цветут апельсины. Запах в сумерки выходит на улицу, как голодный волк, и кружит, будто кровь по венам. Мяукают и орут кошки. Здесь у них март в любое время года. Аж прогибается жестяная крыша заводика поблизости. Поют петухи. Не знаю, как Иисусу удавалось с ними управляться. "Третий петух" — абсолютно произвольное понятие. Они поют всю ночь. И вдалеке, и вблизи.

А еще — шлюхи. Во дворе, стоя. Иногда, по требованию, ложатся. Потом отряхиваются от хвои и листьев.

Этой ночью их две. Одна глухая, молодая. Вторая, углядев мое лицо в темном окне, приближается и отходит. До полуночи все спокойно.

После двенадцати вспыхивает ссора. Клиент быстро застегивается и уходит. Остаются они вдвоем. Та, которая не глухая, вторая, обзывает первую, глухую. Желает, чтоб ее отымели семь тысяч покойников. Причем не обычным способом. А если случайно и попадется кто-то живой, пускай, едва засунет свой честной член туда и сюда, под мышку или в задницу, тот сразу же увянет, обмякнет, пропадет, рассосется. Под конец она добавляет:

— Тьфу, шлюха, хоть бы понимала что-нибудь.

И уходит.

Эта, первая, взахлеб воет, мычит: "аба, аба, бабаба, бабаба" — и снова завывает. Наконец, успокаивается. Подходит к окну, делая недвусмысленные жесты кулаком, пальцами. Но я с сожалением отрицательно качаю головой: мол, не могу, ни-ни, да и хозяйка моя тут, рядом. Под пение петухов приходит сон.

11

Наутро меня будит дикий топот. Подкованной обувью по плитке.

— Уже шесть. Я приготовила вам еду. Но поедите там.

Вот так начались в моей жизни очень странные дни. Мое сортирное бытие, ограниченное, как в камере. Клозет был маленький. Когда-то его покрасили в зеленый цвет. На стене следы пальцев. Из-за отсутствия туалетной бумаги. И вообще всякой. Сижу. Болит спина. Встаю. Потягиваюсь. Сажусь.

Энциклопедия Мейера. Я к ней даже не притронулся. Ежедневно в половине шестого, еще сонный, не очнувшись, я отправляюсь в клозет. Здесь протираю глаза. Солнце припекает. С самого утра. А в полдень приходится укрываться за унитазом. Спрятать все тело не получается, только по частям. Так что, либо зад загорает, либо ноги, либо грудь и лицо, либо спина. Я освоил многие акробатические позиции. Научился сворачиваться, как змея, у основания унитаза. Еще я произвел множество наблюдений.

Сливной бачок был марки "Ниагара", а унитаз марки "Люкс". Ex oriente lux[1]. Поистине.

В шесть часов уже всеобщее вытряхивание постелей. Напротив вылезают розовые перины, словно выдавленные потроха домов.

Надо мной какая-то семья из Польши. Мама, папа, шестилетняя дочка. Разговаривают по-польски. Только мала́я делает забавные ошибки. Говорит:

"Эта учительница из нас человеков сделает", или "Я говорю с папой, так маме вечно нужно влезть в слово", или "Пожалуйста, притворись собаком", или "В эту субботу я на здоровье повеселилась".

Когда малая уходит в школу, отец заводит:

— Господи, что из этой мало́й вырастет? Хоть бы помереть нам дали по-польски. Но у них всё: "рак иврит", только на иврите. Смотри, я помню даже, какая в Польше была селедка: была черноспинка, был пузанок, была норвежская, была царская, был залом, не говоря уже о копченой. А скажи ей залом, и что? Для нее это будет пустой звук, вообще ничего. А рольмопсы?

— Может, вернемся? — отзывается женский голос. — Может, уедем в Англию, в Австралию, черт его знает? А может, мне с тобой развестись?

— Не безумствуй, прошу тебя, не безумствуй. Заводи себе любовников — польских офицеров, английских, австралийских, негров. Займись сравнительной анатомией членов разных народов, это даже интересно. Нигде больше такого не найдешь, но только не это... не это.

— Я же к тебе приехала и что вижу: нога висит на стене. Это противно мне, противно. Может, еще деревянный на стену повесишь? А-а-а? Что не отвечаешь?

Через секунду:

1. "С Востока свет" (*лат.*) — парафраз евангельского повествования о рождении Иисуса.

— Я вернусь в Польшу и ребенка с собой возьму.

— Ребенка ты не заберешь.

— Фи, так я тебя и послушала. Там будут гражданские браки. Мне важнее, чтобы ребенок отличал можжевельник от кактуса. И чтобы знал слова “озимые”, “стропило”, “колодезь”.

— Ты нарочно придумываешь: “колодезь” и всякое такое. Я городской. Не из деревни, как ты. Хорошо, деревянная нога, пускай, есть и есть, ну а если еще и деньги будут? Не безумствуй, не безумствуй.

И так далее, без конца. Около половины восьмого начинаются разговоры соседок через окна и балконы.

— У моего Ганса еще стула не было. Я послала за доктором.

— Да, всю ночь хныкал.

— Не смогла сегодня достать печенку.

— У вас нынче слабость, понятно. Аборт не слишком приятная штука.

— У этой Лили? из третьей вполне симпатичный любовник. Такая стерва, как это ей удается?

— А я знаю, почему удается. Случая не упускает.

— А, гутен таг, как вам спалось? Мне страшные сны снились. Кто-то где-то меня так жал, прижимал к стенке.

Естественно, непрерывно спускают воду. Уже в десять опускают шторы.

Крупные тараканы, черные молнии дня. Невероятная живучесть. Быстрота. Я обнаружил гнездо под бачком. Хотел их поубивать, но не сумел. Они вводят в транс уничтожения. Вблизи уже видишь, как шевелят длинными усами, так и хочется наступить ногой, схватить руками. Все в тебе кипит. Только они, усатые, аэродинамические, с волосатыми лапками и глянцевыми спинками, они-то знают, что к чему. Всякий раз какой-нибудь маневр — и в дырку. Высовывают усы, торжествуют. Усы вырывать без толку. А впрочем, черт с ними.

Самое странное — мелкие, медленно ползущие кусочки стены. Если сидеть в клозете, делая свои дела, их не замечаешь. Только спустя много часов, дней тебе начинает казаться... Нет, не кажется. Вот они. Мелкие, тащат на себе стену.

12

Через несколько дней или недель меня начинают, как вши, заедать воспоминания. Воспоминания об отеле-борделе, в котором я жил, кстати, близко, совсем близко к шуку, в одном из переулков.

Дом был старый, с темной лестницей. Летом забирались на крышу подышать воздухом. С крыши открывался вид на Яффу-Красавицу.

Запутанные улицы, переулки, которые мне нравились самой возможностью побродить там, поглазеть, замысловатые проходы, дома, соединявшиеся арками, дворы, где вдруг проступала нежность, плитка пастельных тонов, иногда прудик с золотыми рыбками. Этот город не был новым, построенным на пустом месте. Нет, это город-дерево, который понемногу или разрастается, или усыхает, с тысячами пристроек, а к ним еще пристройки — или пристройка, в которой комнатка величиной с клозет. Город, в котором чувствовались корни и можно было спуститься вплоть до корней.

В самом низу — Яффа внутренняя, древняя. Лестницы с позолоченными украшениями, перила в арабесках, чем дальше, тем более витиеватых, ступенечки, воздушные мосты, переходы над улицами, а внизу подвалы, черные подземелья, где трудились золотильщики, резчики, продавцы орехов и сушеных фруктов, кофе, кореньев. А совсем уж на земле сидели нищие, прилипнув к стенам.

Посвященному в таинства обычаев могли открыться чудеса — коврики, вытканные серебром, невиданные мозаики, странные запахи, опиум, гашиш, у которого было пять степеней экстаза, как и пять степеней наслаждения: наивысшая с рабыней, в ванне, выложенной зеленым кафелем.

13

Но не о Яффе хотел я писать здесь. Солнце пекло все сильнее, и я извивался за унитазом марки “Люкс”, а эти двое из съемной комнаты стучались, отчаянно колотили в дверь. Они пытались уговорить меня выйти, суля кушетку и золотые горы. На всех языках — перебивая друг дружку. Уходили, возвращались, ссорились, хлопали дверями и снова становились на колени у окованной двери клозета, заклиная всеми святыми, даже буддийскими, чтобы я вышел или хотя бы впустил кого-нибудь из них, а когда слова не помогали, непрестанно дубасили молотком. Но я, даже если и хотел бы выйти, был заперт на два замка “йель”, а дверь была, как от сейфа.

Наконец, возвращалась жившая надо мной девчонка. Приходила она обычно с диким воплем: “Кусемак!”[1].

1. Непристойное арабское ругательство. (*Прим. автора.*)

— Что это значит? — спрашивал женский голос.

Тогда девчонка заливалась смехом и сквозь хохот говорила: “Ой, не могу... так... так живот болит”, давясь, вылетала на лестничную площадку и съезжала по перилам вниз.

Я различал шаги почти всех жильцов: легкие, тяжелые, с характерным поскрипываньем, шарканьем, упругие — девушек, через две ступеньки, более тяжелые — парней, тихий шорох, с которым скатывались по перилам. Я знал не только, кто в нашем доме хромает, но и у кого тесная обувь, как кто себя сегодня чувствует и т. д. Невероятно много можно узнать по каждому звуку, издаваемому человеком.

14

Возвращалась домой со своих долгих и утомительных, изнурительных заседаний мадам Чин. Выпускала меня. Вот кто умел перемывать косточки мастерски. И кратко.

Я смотрел в угол на слой пыли толщиной с пушистый ковер. И на столе пыль, как бархан. И домашнее платье с вылезающим соском, всякий раз пропадающим в дырке. Я глядел в нее, как загипнотизированный. Под окном паутина. И снова сосок — ходит туда-сюда при разговоре.

Медленно шествует по двору маленький черный кот. Заходящее солнце, заточённое в стеклянной вазе. Море. Спускаются белые паруса.

15

Жизнь оседает на лице, как пыль. Люди отпали от меня. Штукатурка. Осенние листья. Я опутан сном, диким виноградом.

Опадают слова, нашептанные в темноте. Она с этим то так, то сяк, и еще по-другому, изворачивается, ждет того, этого, а потом он вдруг...

— А напротив врач, видите табличку, да, вот эта.

Я один. “Тот, кто достиг осознания настоящего, непременно одинок. ‘Современный’ человек всегда одинок, потому что каждый шаг к более высокой и широкой сознательности отдаляет его от изначальной, чисто анималистической participation mystique[1]...” — говорит Юнг.

А Хайдеггер: “Страх прямо здесь. Только спит. Во всем здесь-бытии чувствуется его дыхание”.

1. Мистическая сопричастность (*франц.*).

Идем дальше. Все непостоянно. Символ времени: ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Меня нет там, где бы больше всего хотелось быть. Эпоха кружится, подобно шмелю, в каком-то странном понарошку. Неуверенность, существуешь ли ты. Все еще. На самом деле. Начертан ли где-нибудь знак? Мир трясется, как в лихорадке. Расплывчатый закат солнца.

Быть может, мы обитаем на обочинах жизни. Как призраки. Нет, не то. Манекены. Переодетые в ряженых. Все продумано. Желтые туманы, стоящие над болотами. Глаза, засыпанные пеплом, песком. Мертвые беспрестанно уплывают на гребнях волн.

Рассказывает о мужчине, который мог только под страхом смерти. Два раза в неделю к нему приходила Она. Раздевалась. Потом душила его галстуком. Когда он уже синел, то, наконец, мог.

Неподвижные дома — спящие животные. Пальмы. Пальмы. Темно. Я кружу над пейзажами, которым суждено повторяться, над воспоминаниями, про которые неизвестно, было это или нет.

Я бродил по бульварам, вдоль моря, где яркие кафе. Иногда спускался на пляж, где отпечатывались и быстро-быстро убегали, чтобы затеряться вдали, только белые волны. Шел, и вокруг были люди, но я всегда выскакивал, как пробка, не мог с ними слиться. Бывает, иду на пляж, когда там переполнено: вздувшиеся вены, иногда кусочек молодого тела, на пределе реальности. Потом снова требуха.

Все меньше вещей, достойных описания. Я устал и хочу закрыться. Не умереть совсем, а засохнуть в книге. Одиночество кричит надо мной, как дикая птица, как гроза. Хватит уже. Вою, как дрессированный соседский пес: тихонько.

Слово писаное подобно шерстке белой мыши, подрагивающему туману. Есть в этих словах неожиданная сила, они, как дымка, способны принять необычную форму, передать тепло спящего зверька. Великая магия либо ничто. НИЧТО. Между намерением, фразами, словами, прочитанными позже, в другой момент, далеко, читателем в чужой стране, происходит неизвестная реакция с непредсказуемыми последствиями. Слова, точно раненые птицы, перелетающие море.

Притягиваемые белым светом летучие мыши, задевая, оставляют следы, будто от прикосновения ночной бабочки. В вышине деревья сливаются с тучами и уплывают, как они.

Язык, на котором я мыслю, распадается и крошится. Он словно бормотание старух, размачивающих печенье в молоке. Мгновенная атрофия: я съеживаюсь, от меня остается

лишь фасад, который говорит, смеется. И на песчаных дюнах треплет ветер сухие кусты.

И капают, будто в клепсидре, слова мадам Чин. Она рассказывает мне о мужчине:

— Женское тело мало о чем мне говорит. Попа, половые органы — это стандартное, бумажное, неживое. Под кожей, вот оно где. Там зажигается. Кал — не мертвый. Он начало всему. Теплый и мягкий. Из него можно, еще можно все сделать.

Бывает, ты просто подолгу лежишь на дне. Тогда, чтобы стало легче, можно слушать тиканье часов, нюхать одеколон, лизать и целовать поручни кресел, говорить чужим голосом: “Пётрусь, не печалься так”.

Меня всегда удивляли люди, сидящие перед домом. Теперь я знаю, что им хочется видеть, как пролетает жизнь. Один старичок презрительно говорил мне:

— Перед моими окнами намного больше людей проходит, чем здесь.

16

Мадам Чин уже нет. Ночь становится все глубже, все бездоннее. Удлиняется, как цветок граната, в котором скрыты ярко-желтые тычинки. Ночь, словно колодец, в который я смотрюсь, со всеми скандалами, криками.

Входит Эдка. Он в одних носках, чтобы не шуметь. Прежде я за ним такого не замечал.

Напротив живут сто двадцать женщин-военных. Мы подглядываем за ними. Сегодня Эдка будет подглядывать отсюда. Обычно он забирается на крышу, потому что оттуда лучше видно.

Я стою, онемев и ничего не соображая. Такой там мощный поток женственности.

То, что первично в женщине, не выявляется в присутствии мужчин. Приготовления, которыми женщины занимаются, когда они одни. Лунатические прогулки туда и обратно. Перенос трусов с места на место. Созерцание чулок: не поехала ли петля. Созерцание зеркала, переходящее в нирвану. Гипнотизирование той, из зеркала. Приближаются к зеркалу, отдаляются. Движения медленные, почти ритуальные. Расчесать брови, расчесать ресницы. Потянуться к волосам. И опять паралич. Если какая-нибудь что-то и скажет, то рассеянно: “Да-да” или “Нет-нет”. Как будто вот-вот хлопнется без чувств. Медленно, вдумчиво натягивают трусы, совсем новые. Для особого случая. Примеряют лифчики. Нервно их меняют. Не тот. Вот этот.

Смотрят, как выглядят сзади, как спереди. Каждая по-своему вертит задницей. Упражняются. Как будут смотреться в танце. Пробуют разнообразнейшие позы на вечер. Восхищены, разочарованы, рассержены. Нужно очень следить за тем, как будут выглядеть тогда их груди, ноги, зубы, живот. Некоторые разыгрывают целые сцены: здороваются, прощаются, посматривают из-под ресниц, глядят на отражение в стекле, не оборачиваясь, прохаживаются, как ни в чем не бывало.

Потом, полуодетые, они долго стоят перед зеркалом и делают лицо на этот вечер. Тронуть губы помадой, облизнуть. Подзавить ресницы. Кое-кто — атропин. Поправляют то, что, кажется, уже не поправить. Вырывают из подбородка воображаемые волоски. Все равно, как парикмахер, делающий лишние движения вокруг головы клиента. Опять расчесывание бровей, некоторые их чернят. В них есть что-то от хирурга перед операцией, от жреца перед жертвоприношением. Концентрация лунатического внимания достигает пика. Наносят аромат духов. Вдруг начинают торопиться. Замечают, который час.

17

Женщины, пожалуй, более всамделишные. Они — смерч реальности, уничтожающий все, что не есть биология. В женщине больше от человека. Мужчины — побочное, как бы случайное порождение. Их не было в плане. Они насильно вторглись. Человек — это, собственно, женщина. Мужчины кружат вокруг нее, выбирая самые причудливые функции: логистика, альфонсы, деньги, подводные лодки дальнего плавания, метафизика, теоретическая физика — и нигде и никогда не находят удовлетворения. Женщины — совсем наоборот. На пляже. Удовлетворение мужчин не запланировано. Они — обреченный на вымирание вид, которому продлили существование. Переростки. Нездоровые. Удовлетворить женщину — о-о-о-о! Неописуемые, кружевные, ажурные, серебрящиеся голубизной нейлоновые трусики.

Но — это другая сторона медали — есть и исключения. Женщина заслуживает, чтобы ей на короткое время довериться, единственно как проститутке, и ничего больше. НИЧЕГО. Прочерк. Я знаю, что говорю.

О, проститутки. Вместе с темнотой опускаются на город и на наш двор. Те две и третья, молоденькая, у которой вырвали серьги вместе с частью уха (это случилось давно, когда ей было десять лет). Работают во дворе, а на улице ждут мужчины, молча. Сосредоточенно, недружелюбно. Напряженно всмат-

риваются в одну точку — проход во двор, пристально, не отводя взгляда. Они похожи на псов. А может, на волков. Беспокойно кружат, приближаются, отступают. Здесь мало женщин.

На темном небе пасутся тучи. Гигантская ночная бабочка. Носятся какие-то птицы. Кошки ходят бесшумно, словно косули. Так же поводят головой. Кошачий хвост волнуется, как море. Отдельно от кошки. Ночные птицы — белые.

18

Эдка волочет меня в клозет. Я еще не очнулся. Наверху скандал. Он бьет ее протезом. Потом резко опускают шторы. Выходя, Эдка говорит:

— Сегодня страшный хамсин.

Ветер из пустыни, горячий. Над морем он немного успокаивается.

Есть разные теплые ветра: мистраль, фён, сирокко, хальный. Здесь — хамсин. Невыносимый, с самого утра: как китайская пытка, упорный. Стальной. Море, словно миска ртути, поставь стоймя — не выльется. На нем, заподлицо, судно и парус. День ползет. Небо не отличить от залива, похожего на серую тарелку. Полуголые деревья. Песок во рту.

Лежу неподвижно. Я понял, что такое восточная медитация. Приезжаешь с планами. Каждый час дорог. И тут происходит неожиданное. Время разлагается. Понемногу, потихоньку все это тебя засасывает. Острие тупеет. Опустошение разума светом. Полугодия и годы. Барахтаешься, как в болоте. Скисаешь. Обарабиваешься.

Предметы достают тебя издалека. Цвета? Наскакивают отовсюду. Мне трудно дышать. Всё — сплошной блеск. Уже к десяти город вымирает. Мне ни до чего нет дела, кроме очередности: вдох-выдох. Сырость. Раз за разом спускаю воду. Чуть прохладнее — и уже полегче. Энциклопедия покоробилась. Масло давно растопилось, а хлеб мой тверд, как скорлупа.

19

Слышу на лестнице незнакомые шаги. Легкие. Пересекают порог входной двери. Потом открывается один “йель”. Второй. Дверь. Передо мной девочка лет пятнадцати. Может, и шестнадцати. Брезгливо поглядывая на меня, говорит:

— Тетя просила, чтобы я вас сегодня выпустила.

Смотрит на меня, как на глиста, на таракана. Переход через коридор — я ошеломлен.

— Тетя боялась, как бы вы не сдохли.

Она очень некрасива, хорошо сложена. Киргизские глаза. Негритянские губы. Нос картошкой. Идет со мной в комнату. Смотрит на меня с высоты своей молодости. Губы у меня склеились. У нее нет. Входим в комнату. Она глядит на меня, как на тарантула. Но без страха, с любопытством. Почтовые марки, которые попадаются мне в коридоре, свернулись трубочкой. Даже семейные открытки мадам Чин. У нее прямые белые волосы.

— Хотите мне позировать? Я пишу полуабстрактные картины, но мне всегда нужен стимул.

— Вы рисуете?

— Да, и скоро буду в Париже. Готовлюсь по всем статьям.

Только сейчас замечаю, что она перепачкана красками: ноги, платье, лицо.

— Мне требуется стимул, а вы — стимул.

— А как же быть с клозетом?

В ответ негромкий смех. Губы выгибаются.

В этот момент я слышу, как те, с горшком, осчастливленные, плещутся в раковине.

— Но мадам Чин купила меня на шуке, да я и ходить не умею.

— Я живу в махлюле[1], это деревянные домишки на спуске к морю. Барак № 38. Придете?

— Но я не могу. Ваша тетя...

— Я уже слышала эту песню. Придешь — получишь яблоко. И посмотришь, как я рисую. Всё.

Женский голос из-за двери спрашивает:

— Вам в какую сторону?

— Не в ту, куда вам.

Я:

— Как вас... тебя зовут?

— Батья. Батья-дурочка или Батья-художница, этого достаточно.

— Боюсь, что...

— Ну и бойся.

Ушла. Шаги. Очень легкие.

20

Этот день я провел у себя в комнате, глотая воздух, как рыба. По комнате скакал книжный шкаф. Сервант то опасно приближался, то отступал. При этом еще и постанывал. Дверцы

1. Махлюль — по-арабски квартал дешевого муниципального жилья для малоимущих.

открылись, показался купальный костюм, грязные трусы, поваренная книга, цветочный горшок с землей и прочие вещи. Я надел темные очки с разбитым стеклышком. Глаза выцвели от яркого света. Напряжение. Солнце затянуто песчаным облаком. Но все же прорывается, слепит. Дышишь одной слизью. Клозетной сыростью.

Хватит уже с меня этого климата, хоть тропического, хоть суб... Люди с белой кровью, люди уставшие, измочаленные, которые хотят пережить день, просто дотянуть. Человеку достаточно пятидесяти градусов мороза и пятидесяти градусов жары. Вполне.

Два дня спустя я по расписанию ходил в уборную. Хамсин ослаб. Но меня терзала мысль, как отсюда выбраться и навестить Батью. По ночам я размышлял под вопли проституток. Но ничего не придумал.

Странное это было время. Я что-то задумывал и считал, что уже сделал. Воображение подменяло собой факты. Из-за этого ссорились с мадам Чин. Я клялся, но моя клятва оказывалась ложной. Так напряженно я думал.

Гроза, надо надеяться, последняя. В небе еще сверкает. Серая туча, прошитая молниями, будто серебряной нитью.

Я проснулся. Но это мне снилось, что проснулся. Тем самым сон, словно в футляр, вставляется в сон, и никак мне оттуда не выбраться. И снова я просыпался, а это только снилось, что я просыпаюсь. То есть как в двух зеркалах: мне снилось, и я спал. Пока крепкая рука Эдки не выволакивала меня в клозет.

В криках шлюх, в чрезмерном воображении, в мнимых пробуждениях. Бесконечно длящаяся временность.

И все-таки мне хотелось пойти к Батье, что, возможно, тоже было фантазией. Во всяком случае, я хотел попытаться. Я не знал, что такое махлюль, но знал, что это рядом.

Уже миновала гроза, которая в Польше приходит, когда душно, а здесь после резкого похолодания. Вот я и простыл. У меня был насморк и не получалось думать. Теперь я знаю, почему древние считали насморк свойством мозга.

Итак, через неделю я начал думать о Батье. Она мне даже снилась. Было приятно. Сон прилипал к векам, кусочкам клозета и улицам. В сонном угаре. Когда Эдка тащил меня в клозет, я произносил имя Батьи. До тех пор, пока Эдка, этот светловолосый гигант, наконец, не сжалился.

— Возьму, возьму тебя к этой Батье-дурочке. Ее любой может поиметь. Она этому не придает большого значения. Отведу тебя к ней и велю. Я ее с детства знаю. Мы вместе приехали из Германии. Вместе учились тушить пожар от бомбежки. Нас в школе этому учили. Каждый должен был уметь. Но я тебя пре-

дупреждаю, сынок. Ее отец, он, ну, чокнутый. Живет в ванной. Пишет *шифрим*, песни. Как пророки. На разных языках. На немецком, иврите и еще не знаю на каком. Но хуже всего эта его поза. Длинные волосы, сам с собой разговаривает, ужасно самодовольный. Матери у нее нет. А полоумная она в него. Ну ладно. Сегодня вечером сходим. Она была в кибуце, но потом сбежала. Вот. Я все тебе рассказал.

Когда я отработал свою повинность, взял меня Эдка под руку, и мы пошли. Мадам Чин протестовала, но Эдка ее утихомирил, мол, старая шлюха и т. д. А мадам Чин заканчивала какой-то разговор: "...а она была беременна, и в последний хамсин ребенок у нее усох, весь, без остатка". Он вел меня за руку, а я, по правде говоря, на нем висел.

21

Позерство. Не литературное или там артистическое. Меня завораживал человек в своем лицедействе. Ужасно трудно докопаться до истинных начал жизни, если они вообще существуют. До человека, который уже не притворяется. Требуются изворотливость и ум, чтобы продраться сквозь весь этот спутанный клубок ролей, в котором укрывается человек. Будто в коконе. Даже в смертный час он не обнажится до конца. В первую очередь перед собой. Тысячи поз, тысячи ролей, одна накладывается на другую, сцепившись, противореча друг другу. Я знаю, как нелегко отречься от своей роли, пусть даже она ведет к смерти. Смертью кокетничаешь до последнего мига. И на самом-то деле не веришь в нее. Как же трудно избавиться от своей роли.

Трудней, чем от жизни. Отделавшись от одной роли, мы автоматически входим в другую, не менее фальшивую, чем первая. И так, в поисках сути — если хочется искать, а желание-то есть у немногих, — мы изощряемся во всех своих ста тысячах поз, чтобы наконец под одной из них открыть пульсирующую жизнь. Но вместо жизни, к своему удивлению, обнаруживаем превосходно пульсирующую роль, которую и спешим оседлать.

А когда, от души накувыркавшись, столкнешься с чем-то хоть чуточку настоящим, когда увидишь, что играть больше нечего, что эта возможность отнята совсем, то пугаешься — застываешь. И тогда со страху выдумываешь "смерть", перед которой можно вертеть задом, выделывать всякие там выкрутасы. И опять актерствуешь — пусть даже смерть эта подлинная, самая что ни на есть настоящая, — опять, до последнего вздоха. Потому что дно страшнее смерти. Правда существования невыносима, что бы об этом ни говорили.

Это относилось не к отцу Батьи, который был обыкновенным позером. А к ужасающей тревоге, жизни понарошку, временности — ко всему, что создает заколдованный круг. Случайно коснувшись дна, люди в панике лезут из кожи вон, лишь бы что-нибудь эдакое выдумать.

22

В лучах заходящего солнца мне видны домики на склоне, они как будто сползают по песчанику, на котором растет только определенный вид кактуса. Цветет он очень редко, всего одну ночь. Тогда он похож на большую ночную бабочку с невиданным рисунком.

Домики построены из дерева, залатаны жильцами кто во что горазд, разделены тропинками, у них общие уборные, на верандах цветы. Солнце плюхнулось в воду, большое, красное, вода брызнула во все стороны.

Мы спустились по ступенькам, на которых мне пришлось очень постараться, чтобы не упасть или хотя бы упасть как надо.

Я попросил Эдку отвести меня на пляж, где мелкие волны лизали ступни. Отсюда была видна Яффа-Красавица, и ее вид волновал. За бухтой, вдалеке, вблизи, она стояла в тумане, сквозь который пробивался только минарет. Туман был розовым, нежным.

Потом — я опирался на Эдкину руку и отдыхал на каждой ступеньке — мы тащились в гору, пока не отыскали барак № 38.

— Вот и она, — сказал Эдка.

Мы вошли в комнату, которая показалась мне знакомой. Когда мы поздоровались, Батья даже не повернула головы. Везде были холсты, листы картона, доски, тряпье. Она не пользуется палитрой. Языком, тряпками, прямо из тюбика. Там, где обычно видишь лики святых, — две небольшие репродукции.

Клее. Одна: город из кружев на фоне бездонного неба. Над городом детские флажки и месяц в полгроша. Вторая: под водой какие-то птицы, о, наш потерянный рай-милый край.

— Привел, наконец? Оставь его и уходи.

Она говорит спокойно, без выражения.

— Ты, не умничай, — отвечает Эдка. — Когда за ним прийти?

— Иди уже, пожалуйста. Я сама его.

Эдка уходит. Мы с ней остаемся одни. Повернувшись спиной, она склоняется над большим листом и закрашивает ярко-желтым какой-то небольшой кусочек. Закончив закраши-

вание желтым небольшого кусочка на большом листе, идет прополоскать рот. Пока она полощет рот, из маленькой комнатки, которая наполовину ванная, доносятся какие-то стоны. Там во власти вдохновения сидел ее отец, избравший это занятие: *ширим*. Густые, седые уже волосы. Он стонал и разговаривал сам с собой, еще один пророк, как говорит Франс, и писал крупными буквами на больших листах бумаги. И я слышал потом, как он читал это моему парикмахеру, что вовсе не умаляло его достоинства. Пока же он только еще писал и плакал, как котенок.

Батья вошла в комнату и посмотрела на меня. Взгляд был каким-то странным, безличным. При этом она улыбалась, показывая красивые зубы. Но улыбалась не мне; и в улыбке не было ничего личного. С таким взглядом ее и вправду мог бы поиметь каждый, кто захочет. На меня она смотрела, как на неживой предмет.

— Что ты сейчас рисовала?

— Тель-Авив.

Я подошел к темному столу и увидел большой залив, идеально синий, желтую землю, а на ней темно-желтые дома. Синий цвет моря и желтый, напоминающий о тепле греческих колонн. Я сказал об этом. Неожиданно она заинтересовалась. Начала меня подробно расспрашивать о греческих колоннах, зданиях. Потом замолчала, водя языком по губам. Наверняка думала об Ионическом море или о телесно-желтом цвете.

Вдруг из ванной выбежал ее отец со своей уже отпечатанной брошюрой.

— Вы читаете на иврите?

Когда я ответил отрицательно, он сказал:

— Ага.

— Его купила тетя Чин, так что...

Он понимающе покивал, хотя я был уверен, что ничего-то он не понимает.

Пробормотал “Ага-ага” и вышел. Чайки спали на волнах. Море было ленивым и сонным. Потягивалось, как кот. Ночью начало светиться при малейшем волнении: морские светлячки.

Ее глаз я уже не видел, до этого они были цвета моря и менялись вместе с ним. Теперь я различал только очертания ее фигуры. Она стояла неподвижно в темноте. В греческих плоских сандалиях, прямой юбке и блузке навыпуск по здешнему обычаю. Еще у нее были прямые светлые волосы до плеч. И было ей лет пятнадцать, может быть, шестнадцать.

— У меня чувствительные груди, — сказала она.

Мало-помалу она улеглась на топчан, и я тоже лег. У меня не получалось расстегнуть лифчик. Она рассмеялась, не открывая глаз, и показала мне две пуговки сбоку. У нее были большие соски, темные с розовыми кончиками, окруженные, словно кольцами, блестящим слоем. Соски отозвались, едва я дотронулся. И она не позволяла быстро. Медленно, как сегодняшнее море, на котором спали чайки, она то поднималась по ступеням вожделения, то глубоко опускалась. Протяжно, как кошка, урчала "Хр-р-р-р" — тоном своего голоса, низкого голоса, давая знать, что я должен делать.

Вдруг ее отец с развевающейся бородой. Я вскочил.

— Ах ты, дурачок, — говорит Батья. — Он все равно ничего не видит. А когда будем в недвусмысленной ситуации, не нужно никогда — запомни, никогда — делать резких движений: это еще больше привлекает внимание. Надо не спеша, плавно сменить позицию. Будто бы случайно.

— Кто тебя научил таким премудростям?

— А, одна пожилая дама, которая в сексуальном плане готовит меня к Парижу. Я свожу тебя к ней, когда научишься ходить.

Молчание в полутемной комнате.

— Слушай, послушай меня внимательно.

— Слушаю.

— Когда три раза прозвонит телефон...

У мадам Чин был покрытый пылью телефон, который никогда еще не звонил.

— Он работает, когда набирают ваш номер. Но от вас звонить нельзя. Внимание: когда трижды прозвонит телефон, то есть я буду звонить три раза, каждый раз кладя трубку.

— Боже мой, но ведь я сижу целый день!

— Во-первых, это будет в такое время, когда ты обычно уже не сидишь. Во-вторых, нужно, чтобы ты не сидел.

— Как так?

— Видишь ли, это секрет. У тети Чин такой выверт, ну, в общем, она держала собак. И покупала для этих собак ошейники. Ошейников у нее очень много. Если позволишь надевать на себя ошейник, она согласится, чтобы ты подходил к телефону. Постарайся научиться ходить; там будет видно.

23

Я опирался на ее хрупкое плечо. Она хорошо это делала. Поддавалась ритму, а когда мне требовалась помощь, замирала. Она была гибкой, сильной. И так, с опорой на плечо, которое еще нельзя было назвать женским, мы добрались до цели.

— Держи десять пиастров[1], — сказала Батья, — мне их кто-то дал, не помню кто. Можешь взять себе. И я иногда у вас бываю. Пока.

Она довела меня до двери и сделала рукой бай-бай. Ушла.

У меня в руке было десять пиастров, и я решил не говорить о них мадам Чин. Еще я решил позволить надевать на себя ошейники издохших собак.

Когда я вошел в квартиру, Эдка встретил меня словами:

— Слава Богу, дошел.

Мадам Чин отрабатывала свою вечернюю смену в клозете. Было, наверное, двенадцать. Она вышла.

Эдка уже спал. Храпел, широко раскинувшись. Я ждал ее.

— Говорят, у вас были красивые собаки.

Она беспокойно повела усами, вставила в рот протез, лежавший на столе, и ответила:

— Батья тебе рассказала, естественно. Естественно, были. Видишь, — тут она открыла шкаф, — этого Ворчуна, вечная ему память, переехало машиной. Вот этот Чау отравился, бедняга.

Она уселась на диване рядом со мной.

— Примерим, — сказала ласково.

Надела на меня ошейник, видимо, от большой собаки, ошейник с поводком. На нем даже были налоговые марки.

— Я их продлеваю, хоть у меня и нет собак, — стыдливо сказала она.

Когда ошейник был уже застегнут, она прошептала, держа в руке поводок:

— Пойдем гулять.

Я опустился на три лапы, "притворился собаком", как говорила девчонка сверху, и прошел немного. Тогда она тихо простонала:

— Ох.

Обернувшись, я увидел ее силуэт в темной комнате. Она скорчилась в оргазме. Упала на диван, который отражал ее ритмичные спазмы. Было в ней что-то от змеи. Потом она еще долго лежала на диване, а я боялся снять ошейник. Наконец, она поднялась, села и сказала совершенно официальным тоном:

— Ну, завтра в клозет.

Тогда-то я и заключил с ней договор насчет телефона. И она пообещала мне трость покойного мужа.

1. Пиастр — египетская денежная единица. 100 пиастров составляют один египетский фунт.

24

В клозете становилось все тяжелее. Во время хамсинов Эдка часто выносил меня без сознания. Я с нетерпением ждал звонка Батьи — не знаю, сколько прошло времени. Ожидание для меня — тягостное занятие. Я весь сосредоточен на ожидании. Так что, даже если происходит событие, которого я ждал, значение его вытесняется.

Во время хамсина насекомые прятались. Темные молнии дня, даже пауки. Только по вечерам носились летучие мыши. Крупные, как крысы. Воробьи собирались на каком-нибудь кустике, чтобы обсудить курс проса. Потом все стихало, если не считать писка пролетающих ушанов и мяуканья кошек.

В один прекрасный день трижды прозвонил телефон. Я дополз до него, поднял трубку. Батья.

— У тебя еще есть десять пиастров, которые я дала?

— Есть.

— Ну так приходи на угол выкупить меня. Я должна за кофе, а у меня ни гроша.

Поскольку дело было в свободное время, под вечер, я отправился в направлении этой кофейни. Ходил я очень медленно. Вдоль домов, чтобы можно было перевести дыхание. Наконец, вместе с десятью пиастрами, дотащился до угла, оставалось только перейти на другую сторону. Подошла какая-то дама и с жалостливой миной взялась меня перевести. Да еще дала мильс[1].

Я разглядывал вывески: “Ломброзо-ортопедия”, “Мадам Ноэ Аллембик — платья”, мадам Гроскопф делала бюстгальтеры, тут же рядом сапожник Обротный. Ходил я, как уже сказал, под самыми стенами, для опоры. И еще: чтобы быть незаметным. И еще: я инстинктивно избегал солнца, которого и так не было. Зато дама, давшая мне мильс, была весела и шла в кофейню. Снаружи сидела Батья в обществе косматого юнца с вытатуированным на плече якорем. Я подошел. Она заметила меня. Просто заметила — и дальше болтает с усатым юнцом. Я присел на парапет. Сидел. Пока она:

— Заплати за нас.

Вышла хозяйка кофейни, с одним-единственным передним зубом, плоскогрудая. Сказала по-польски:

— С вас семь пиастров.

Получила с меня семь пиастров и ушла.

1. Мильс (миль) — денежная единица в Палестине. 1000 мильсов равнялись одному фунту.

Батья с юнцом поднялись.

— Пойдем к морю.

Юнец согласился; я — за ними. В этот момент раздался крик:

— Alte Sachen, alte Sachen[1], старье бе-е-рё-ё-ё-м...

Батья воскликнула:

— Э-эй! Стой.

Мне стало интересно, что же она продаст. Но она сняла юбку, под которой у нее были штанишки, и начала торговаться с Alte Sachen. Тот, разглядывая юбчонку, говорил, что немодная, что старая и что... Батья отвечала быстро, не раздумывая, так что, в конце концов, товар оказался в мешке. Просто заболтала его, заморочила. С обреченным видом он дал ей десять пиастров. Она сказала:

— Пойдемте на пляж.

Сунула мне в руку десять пиастров:

— Ты платишь за лежаки.

Я думал о ее теле, к которому у меня не было доступа, и не знал, как затронуть эту тему. Шел за ними и видел кожу блондинки, к которой хорошо пристает загар. Ничего не может быть красивее. И закат солнца. Они неторопливо шли, разговаривая на иврите. Ну и я поспешал за ними. Мне были видны ее сильные стройные ноги в греческих босоножках на низком каблуке, с одной перемычкой между пальцами. А потом мы спускались по ступенькам к пляжу, на котором в эту пору было пусто. Она сдвинула вместе три лежака и все время оживленно болтала с этим. На ней были короткие белые штанишки, блузка в широкую полоску, без рукавов. О Боже, у нее были длинные ноги, красивые, с легким пушком. А ее отец в это время писал *шифим*, псалмы, о Боже.

На тот день приходился какой-то праздник. В клозете у меня была возможность послушать еврейские молитвы. В них не просят. В них требуют. Даже угрожают. Обращаются к Богу только свысока. Есть в их молитвах и что-то от торга с Богом, избравшим этот народ.

На пляже. Солнце проваливается в море и сегодня не расплескивает воду. Из земли начинает исходить темнота. В конце концов она нас обволакивает.

Якорь прощается. Назначает свидание, кажется, на завтра. Я тихо говорю ей:

— Хочу тебя.

Она смеется.

1. Старые вещи, старые вещи (*нем.*).

— Если, братец, охота пощупать всякие формы, поезди автобусом. Там такая давка, что не поймешь, чья рука, чья нога. Будут тебе и бюсты, и животы на любой вкус. Поезди автобусом. Сможешь свободно потереться о задницы. Сейчас почти ничего на себя не надевают. Не носят ни лифчиков, ни трусов. Редкая возможность за семь мильсов. Я тебе говорю. Там такое творится! Даже вставить можешь, если изловчишься. Но ты не из ловких. К сожалению.

Вдруг она говорит:

— Пошли.

Приводит меня к махлюю № 38, где стонет ее отец.

— Не обращай на него внимания.

Я уже знал, как расстегнуть лифчик. Но она сняла его сама. И штанишки тоже. Медленно, глядя на меня. Мне показалось, что она чему-то учится. Женщины все время учатся. Без остановки.

И вот она голая, тело девчоночье, немного мальчишечье. Сплошь загорелое. Сияющее пятно. Стоя, когда я уже лег, она говорит:

— Может, отвыкнешь от своей болезни?

— Как это, отвыкнешь?

— Ну, просто... не будешь больным.

— Но я...

— Это скверная привычка, и, кто знает, не симулируешь ли ты.

И снова ее темные соски на глянцевом теле. И окно, открытое, с еще розовыми тучами. Топчан был низкий, очень низкий. А перед ним ягнячьи шкуры. И “Alte Sachen” издалека. Тут же рядом — ее отец. Она умела отдаться вся, целиком, — даже следа не оставалось. Как от корабля, который пошел ко дну. Захлестывала меня, словно волны, ударяясь об меня, наклоняясь (как бегущая волна), выпрямляясь (как волна, налетевшая на скалы), пока не скатилась со сжатыми губами — содрогаясь. И осталась так. Не открывая глаз. Только свесила голову и разжала зубы. Через некоторое время спросила:

— Что это было?

Потом перевернулась навзничь, все еще отсвечивая золотом.

От нее пахло, как от разбуженного ребенка. Постепенно ее глаза наливались блеском, глаза, по-кошачьи светившиеся в темноте. Лениво потянулась. Надела штанишки и блузку.

Только теперь я осознал, что это не она мне отдалась, а я ей. Ею невозможно было овладеть. Всегда, с каким-то детским упрямством, она ускользала, когда уже казалось, что она

твоя. Просто была там, где ее не ищешь. У нее был дар улетучиваться. Это она взяла меня — тем, что говорила “хр-р-р”, стискивала зубы, лежала, беззащитная, и ничего нельзя было с ней поделать.

25

Я возвращался, стиральщик уже сворачивал свои сети: он стирал занавески и потом широко их растягивал.

— Добрый вечер, пан Шпрунг.

И он отвечал:

— Дай Бог. Как там старуха?

Он имел в виду мадам Чин.

И я говорил:

— Здравствуй, Давид.

Парикмахер. Я отрастил длинную бороду и не брился.

В этот момент наверх влетела девчонка, скандируя:

— Да-вид, Да-вид, царь Изра-а-а-и-ля!

И так без конца.

Вернулся я домой, а в моей комнате вторая кровать и на ней какой-то тип, длинный и зеленый. На меня ноль внимания. Видно, это входило в его работу, которую он исполнял с большой долей автоматизма. У него были маленькие усики. Уже успел надеть пижаму. Тут вошла мадам Чин и по-доброму сказала:

— К чему такие расходы? Возвращайтесь в уборную — и делу конец. А так... Знаете, во сколько мне обходится вышибала? Зато результат гарантирован. Мы подписали договор у адвоката. Если бы мне не нужно было ходить на заседания Иссле...

— А поводок? — робко перебил я.

— Поводо́к — это телефон и трость. Кстати, он согласится, и на четырех лапах, а не на трех. Хотя был у меня один мопсик-хромоножка. Сами убедитесь и еще просить меня будете.

А у него была уже отработанная система: двухсотсвечовая лампа, завел на три часа ночи кухонный будильник, закрыл окно, несмотря на духоту. Разделся догола и читал детектив.

Два дня я не мог прийти в себя. На третий вышибала сказал:

— Если не сдашься, я тебе ненароком шею сломаю. Ты слабак, и все подумают, что это несчастный случай. Где-нибудь в коридоре. Да, в общем-то, никто и не захочет вмешиваться. Не получится — поразмыслим насчет химикатов. А уж если и с этим не выйдет, выставим тебя психом и будем насильно выносить в сортир, вроде как ты опасен для окружающих. Это самое лучшее.

Эдка тоже заходил время от времени в комнату и говорил:

— Ну сдавайся, старик, это безнадежно. Даже лев из здешнего зоопарка целый год жил в клозете. Мы только тратимся понапрасну. Да еще на доктора придется, чтоб из тебя психа сделать. К чему это все?

Но я был как невменяемый и не мог отвечать. Наконец, они привели врача, д-ра Зигберта из дома напротив, который выписал следующую справку:

Настоящим удостоверяю, что Пётрусь, проживающий по адресу: ул. Хапу-Хапу, 8 у г-жи Чин, приобретенный ею на рынке, страдает острыми приступами безумия и, в связи с этим, должен быть изолирован и лишен возможности покушаться на самоубийство. Кроме того, больной периодически впадает в параноидальное состояние, в связи с чем ему кажется, будто в его комнате находится т. н. вышибала, который в действительности является квалифицированным санитаром и может оказать больному неоценимые услуги.

Д-р Зигберт.

— Ну, так как с нашим дельцем? А? — спросил зеленоватый вышибала.

Приближался вечер, и горела лампа в двести свечей. От жары у меня склеились губы, и я лишь невнятно пролепетал:

— Нет.

Я уснул. Когда в час ночи зазвонил будильник, усиленный тремя тарелками, я подскочил и заорал:

— Только в клозете! Только! Одна есть свобода[1], и пребывает она в клозете. Да здравствует! Да здравствует! Позарез нужно, скорее, скорее!..

Мадам Чин, поднявшись, подозрительно оглядела меня и сказала:

— А ну марш сию минуту — и покончим с этим.

За мной закрылась дверь, я свернулся у подножия унитаза и тут же уснул.

Проснулся я под давящим солнцем, которое свисало, словно огромный светящийся плод. Никакой возможности покончить с собой. Разве что утопиться в раковине, а это было очень трудно. Значит, опять искусно сворачиваться в клубок, с неизбежным загаром какой-то части тела, уклоняться, убегать от солнца, карабкаться на стену, до самого бачка, спускать воду, обливая руки и смачивая виски, пока еще в сознании. А потом

1. Ср.: “Одна только есть свобода!” — из статьи немецко-еврейского социалиста Мозеса Гесса “Свобода единая и неделимая”.

солнца, солнца, гаснущие, будто верблюда режут, истекающие юшкой, от которой мне становилось дурно. Днем я иногда спрыгивал вниз, и солнце, казалось, можно было достать рукой. Мне хотелось уничтожить его, убить, чтобы его не стало. И я хватал его руками и душил, но оно ловко выскальзывало, обжигало руки, палило так нестерпимо, что приходилось заслонять глаза.

Когда, наконец, поздним вечером, мадам Чин выпустила меня, я был ей, к собственному ужасу, благодарен. Доковыляв до комнаты, начал лизать подол ее домашнего платья, лизал, и он казался мне вкусным. Котел бульона можно было бы сварить из этого платья.

Эдки не было. Она почти никогда не зажигала свет. Открыла ключом шкаф, выбрала ошейник, чуть тесноватый, надела на меня, и я радостно залаял.

— Фу-у, — сказала мадам Чин. Надела шляпку, вуаль, накрасила губы и только после этого произнесла:

— Гулять.

Утром я снова лез на стену, пока было солнце, жуткое. Научился засовывать голову в раковину, в воду. Потом, когда вытаскивал, все кружилось.

Наверху девчонка скандировала: “Да-вид, Да-вид, мелех Израэль!”[1].

Госпожа Чин, уходя, обычно говорила:

— Привыкнете. Я и не таких приучала.

26

Однажды к моему *кло* приставили лестницу, а на лестнице Батья. Смотрела, жив ли я еще.

— Эх, дохляк ты, дохляк, — сказала она. Залезла в *кло*, закинула меня на плечо, спустилась по лестнице.

— Воняешь, как зараза, — заметила она.

От нее пахло морской солью.

На улице стоял небольшой автомобиль. В нем незнакомый мне мужик. Она затолкала меня в багажник, и мы тронулись.

— Ох, я совсем про тебя забыла. Просто забыла. Сначала этот Якорь, потом Зигги, Ганс, позже какой-то австралийский лейтенант, я тогда упилась вдрызг и два дня с ним, а потом уже и не знаю. Вообще не знаю. Пока мне десять пиастров о тебе не напомнили. Не будь этого, гнил бы ты дальше. Я взяла для тебя свою пижаму. Пока сойдет. Остановись на

1. Давид, Давид, царь Израиля (*на иврите*) — из народной еврейской песни.

минутку! Ну, притормози, — велела она водителю. Надела на меня пижаму. — Дай ему чего-нибудь поесть.

Он, водитель, достал консервы и хлеб. При этом пялился на Батью.

— Куда мы едем?

— В Хайфу. В маленькую арабскую деревушку на Кармеле. Ага, погоди-ка, похоже, я еще кое-чем занималась. С одной дамой. Я тогда была выпивши.

Батья открыла мясные консервы, протянула мне:

— На, жри.

— А кто этот господин? — показал я на водителя.

— Да так, один, как его, кажется, Лулу, хозяин этого драндулета. Везет меня на Кармель.

— А меня?

— Тебя тоже, я попросила его задержаться на минутку.

Мужчина:

— Гм-м, хр-р.

— А что, нет? — повернулась она к водителю.

— Она мне говорила, что только скажет пару слов какой-то даме.

— Тете Чин, естественно. Ну а раз ее не было дома...

Мужчина был уже в годах, видно, ему здорово приспичило, аж ухо начал скрести. И сказал:

— Два дня отпуска, а потом снова мундир. Едем в Хайфу.

Я, набив рот консервами:

— Естественно!

Итак, я на заднем сиденье, Батья с Лулу спереди; едем.

27

Конец апреля. Столько цветов и трав с неизвестными мне названиями. Ненадолго затих изнуряющий, иссушающий ветер, который поднимается с песчаных дюн. Мы едем вдоль зарослей чертополоха высотой в человеческий рост, с синими цветами, а вдоль дороги все время красные анемоны, маки.

— Тебе этого не видно, — говорит Батья, — у одних в основе фиолетовый цвет, в глубине они фиолетовые, а у других — пурпурный.

Ветер играет листьями. Потом долина, с краю солнечная, внутри глубоко-влажно-темно-зеленая, среди пляшущих пригорков. Начало Кармеля, уже видна прорезающаяся белым зубом Хайфа. Скалы, где гнездятся ястребы; они расправляют навстречу ветру свои большие крылья. Зелень пенится. Мы остановились ненадолго; жабьи очки, незабудки. Только крупнее, чем в Польше.

Растения здесь более сочные, мохнатые, большие, иногда карликовые; как, например, кустарниковые дубы. А желуди у них огромные. Потом домики, а на них вьюнки.

Выкрикиваю:

— Эти чисто-голубые, как небо.

Батья кивает.

— А вон те неоновые, электрик, не такие красивые.

И цветущие деревья: цветы красные, сиреневые, желтые, ослепительно-белые. А иногда пшеница, тыквы, картофель. И бананы: листья у них, словно лодки, человека можно обернуть.

Я тихо повторял:

— Это незабудки, цветики-малютки[1]. А если дождь пойдет, как ты тогда? — спрашивал я, не сводя глаз все с тех же штанишек Батьи.

— Дурачок, семь месяцев будет жара. Без перерыва.

Когда мы приехали в Хайфу, оказалось, что нам нельзя жить ни в арабской, ни в соседней, друзской[2], деревне, а надо оставаться, по крайней мере, какое-то время в портовом районе. Тогда-то я и осознал, как у Батьи складываются отношения с людьми.

28

На долгие часы Батья оставляла меня в кафе и плела сети на новом месте, как паук. Сводила чуждые, иногда враждующие круги. Хорошо разбиралась в людях и в одну минуту переходила на "ты". И им казалось, что на "ты" она лишь с ними. Если требовалось, лезла к мужчине в постель, с легкостью соблазняла нормальных женщин, и даже животные ее ревновали. Она была вхожа в так называемые приличные дома, еврейские и арабские, к контрабандистам, в притоны, бордели, где обсуждала одной ей известные дела. Возвращалась извилистыми улочками нижней Хайфы, таща с собой какого-нибудь клиента, способного заплатить.

Лулу исчез. Я дни и ночи сидел в кафе, хозяин которого говорил немного по-французски. Так как я немного тоже, то мы находили общий язык. Одетый в пижаму Батьи, я порой вызывал жалость: мне бросали питу, оставляли порцию хумуса, тхины[3], один араб в платке даже заказал для меня кебаб.

1. Строчка из стихотворения М. Конопницкой "Незабудки".
2. Друзы — арабоязычная народность на Ближнем Востоке.
3. Пита — круглая плоская пресная лепешка. Хумус — закуска из нутового пюре с различными добавками. Тхина — густая паста из молотого кунжутного семени; служит добавкой ко многим блюдам, основой для соусов.

Дважды в сутки приходила Батья. Тогда я просил кальян, однако вскоре меня начинало рвать. Дым был легкий, ароматный, но ударял в голову, в желудок. Заглядывали и моряки, от которых арабы отгораживались полным безразличием. Попадались ливанцы-караванщики, бегло говорившие по-французски. Такой просиживал в кафе целый день, ел шницель, мороженое, барашка, крутившегося на вертеле, и пил зеленоватую жидкость. Потом заказывал молоденького мальчика, с которым шел наверх или во двор. У повара было два помощника, служивших для двояких целей. Самого его звали Ахуббет. Он уже теперь был полуголый, а потом и вовсе. Напоминал корабельного кочегара. Огромный, мускулистый.

Как-то раз пришла английская жандармерия, что-то говорили, принесли ведро с краской, раздели посетителей и покрасили им мошонки в зеленый цвет. Затем нагишом выгнали в город, забрав одежду. Я уцелел только благодаря уборной. Так я просидел в кафе семь дней и семь ночей. Потом пришла Батья. Сказала:

— Пошли, — и я пошел.

Опять какой-то мужчина в комбинезоне, джип рванул с места, и мы едем на самую гору, к вершине Кармеля.

— От того Лулу я избавилась, — говорит Батья. — А теперь бы избавиться от этого англичанина. — Остановись, — сказала она, — ему пи́сать хочется, мне нужно его сводить.

Выскочила из машины, и мы скрылись в кустах.

— Сюда, мы уже на месте, — показывает на виллу посреди сада. — Я приехала к одному типу и не знаю, дома ли он.

29

Звонит. Перед этим велит мне спрятаться за кустом. Открывает служанка. Говорят на иврите. Потом Батья дает мне знак. Пробираюсь.

— Где спрятаться?

— Пока нигде. Он уехал в Иерусалим. Переночуем здесь. Она сейчас уходит. Да, и знает она меня как облупленную. Вся вилла будет наша. Это тоже кое-чего стоит.

— А что мы будем есть?

— О-о-о, не беспокойся. Полный холодильник. Лишь бы она ушла.

Постепенно темнеет. Огни Хайфы. Неоновые рекламы из-за угла каменоломен, в расщелине горы. Порт, огни. И, словно масляные лампы, зажженные в море огоньки рыбаков.

— Посчитай их.

— Шестнадцать.
— Это добрый знак.
— Зашей мне пижаму.
— Возьмем его, свежую. А эту выбросим.
— Останешься сегодня со мной?
— Да. Ведь его нет.
— Тогда расскажу тебе что-нибудь.
— Ну, рассказывай.
— Не знаю, с чего начать.
— С чего угодно.

— Я был в Тегеране. И ходил в бордели. Там работали десятилетние девочки.

— И как они справлялись?

— Совсем неплохо. Знаешь, совсем не ощущалось, что они обучены. А они были обучены, но делали это по наитию.

— Что значит “по наитию”?

— То есть совершенно естественно, после бани, просто ты лежишь, а они залезают на тебя и делают всякое. И видела бы ты мину такой соплячки.

— Подумаешь. Я с двенадцати лет. А руками сама себя намного раньше.

— Но они носили особые платья, были накрашены. Как здесь дети в Пурим[1]. И дети в Пурим мне об этих девочках напоминают.

— В Иерусалиме — осел с женщиной. А знал бы ты, как она его раззадоривает. Она, женщина, висит на осле, держась за его голову и обхватив коленями.

— Где это происходит?

— В каком-то четырехугольном дворе. И нужно заплатить. Там одни мужчины.

— А ты как же?

— Я была переодета мальчиком. В Париже такого нет. Точно нет. На юге Франции много ослов. Но такого нет.

— А еще там, в Тегеране, ходили пятилетние мальчики с подносом на голове. На подносе апельсины, золотые рыбки в аквариуме, вареная курица, сушеные фрукты, навалом. Прямо там, в борделе.

Батья тихо рассмеялась.

— Не смейся. Так и было. Ходили. Глаза у них были черные, большие глаза. Детские. Серьезные. Этих мальчиков старые арабы тоже употребляли.

1. Пурим — праздник, установленный в память о спасении евреев, живших на территории Персидской империи, от истребления.

Мы лежим на широкой кровати. Смотрим на неоновую рекламу, отраженную в зеркале.

— А что еще ты там делал?

— "Делишки", как называл их пан Буяновер. Он представлялся так: "Моя фамилия Буяновер, Лешно[1], 32, собственный дом". Жил я в бараке, там были деревянные бараки на много семей — одна от другой отгораживалась одеялами. Рядом со мной спала Рыся. Когда утром я просыпался, то протягивал через одеяло Рысе руку и говорил: "Доброе утро". Еще была Рысина мама. Однажды, протянув руку, я наткнулся на маму. Она боялась. Рысе ведь было шестнадцать. Завидев пана Буяновера, Рыся кричала, давясь от смеха:

— Пан Буяновер идет, пан Буяновер!

Входил пан Буяновер, кланялся, приближался к моим нарам и говорил, понизив голос:

— Ну, Пётрусь, может, пошевелили бы мозгом — выдумать чего-то хорошего, интересного.

Я отвечал:

— Прилягте, пожалуйста. Я не могу думать, когда вы стоите.

В Тегеране есть шук-великан. Занимает, наверно, третью часть города. Он покрыт крышей, и дневной свет проникает через небольшие отверстия в арочных нишах. Там есть кофейни, мечети, бордели, склады. Как раз через Тегеран проходил основной путь помощи Советам от США. На тегеранском шуке можно было купить шины, запчасти для автомобилей, цистерны по дешевке, детали пушек. Это был отдельный город. Хотя я добросовестно обошел весь шук, знаю всего три выхода. Этим путем проходили огромные "студебеккеры", в сумерках, по извилистым горным дорогам, водители грызли веточки сирени. Там разведки разыгрывали свои партии, в которых почти всегда верх брали Советы. Я говорил пану Буяноверу:

— Иди туда-то и туда-то, купи текстиль, который придет в цистернах, и продай Ахмуду, а он уж будет знать, что с ним делать.

Он делал делишки, сукин сын. Как-то раз сказал мне шепотом, что, когда испражняется, у него еще и сперма выходит. Поэтому он вызвал у себя запор. Кричал:

— Я это берегу для своей жены и доченьки. Лешно, 32! О-о-о, я несчастный!

Не помогло. Его стало прихватывать на улице. В конце концов, он заболел желтухой. Тем временем в лагере мой друг уговаривал меня:

1. Лешно — улица в Варшаве; во время оккупации была частью почти полностью разрушенного еврейского гетто.

— Поезжай в Индию. Поехали вместе.

Индусы из Пенджаба, с волосами как у женщин, ходили в отхожее место с серебряными сосудами: им нельзя было пользоваться бумагой. Индусы из Пенджаба прижимались к столбу палатки и говорили, нежно обнимая его: "French madame имел, Polish madame имел, English madame[1] имел", — и так далее, и тому подобное. Европейкам вообще было интересно, как они это делают. Некоторых привлекали длинные, женские, волосы. Но я не поехал в Индию, не поехал в Центральную Африку. А могло быть очень интересно. Целыми днями я сидел на шуке. Мне нравился его шум.

— А еще что? — шепотом спрашивает Батья. — Что еще?

В Бейруте, в самом центре города, есть квартал красных фонарей. Там в окнах сидят и ждут проститутки; и в каморках без окон, с одной только дверью тоже сидят полуголые или танцуют под маленький приемник. Когда входишь, опускаются на колени, спрашивают, нет ли у тебя какого-нибудь особенного желания, потом задергивают занавески, велят тебе лечь, говорят: "Не нужно быть таким усталым" — и заводят разговор. Во время беседы, в общем равнодушной, они присматриваются и понемногу, понемногу... Тебе не удается скрыть от них возбуждения. Всегда в последний момент — стоп. И так почти до бесконечности.

— Слушай, я собираюсь в Париж. С деньгами у меня туго. Но думаю, с помощью того, что мне уже известно, я объеду весь мир. Это потребует много энергии, сноровки, идей. Но я попытаюсь.

— Ты на самом деле хочешь изучать живопись?

— Да, думаю, что да. И поболтаться по свету. Не сидеть в одном и том же месте, до омерзения, пока лица, улицы не сольются, как помои. И ничего больше не видеть. Мир должен быть колючий, контрастный, должен пробирать до кишок, бить наотмашь. Не такой, как здесь: провинция провинции. Дыхание моря, дыхание других стран, все разное, все новое.

Вздохнула.

— Все другое, — добавила. — Вот что мне нужно.

— Был такой Кант из Кёнигсберга, который не выезжал за пределы города. И у него было все, что у тебя, и еще намного больше.

— Но я же не Кант. Из меня даже Миро не выйдет. Не знаю, кем я стану. Пока, наверное, натурщицей и любовницей. Буду много учиться. У людей, которые будут меня рисо-

1. "Французскую мадам... польскую мадам... английскую мадам..." (*англ.*)

вать, у людей, которые будут меня любить. Не то что в кибуце.

— А что было в кибуце?

— Представь себе поселок с населением в сто человек. С ума сойти можно. Все обо всех всё знают. И девушке приходится спать с тремя парнями. Изо дня в день одно и то же. О-о-о, я сбежала.

Бывает разговор, который течет по поверхности. Бывает, просачивается вглубь, как в теплый песок. А бывает такой, который уже и не разговор: неизвестно, кто кому говорит, кто кому отвечает, и вы вместе опускаетесь на дно. Наконец ты нашел то, что искал.

Потом она разделась. Оказалось, что у нее между грудью и животом тоненькая полоска.

Стемнело, и поэтому из полумрака выплывали некоторые детали, незаметные днем. Как у людей бывают ямочки на подбородке, так у Батьи они были с наружной стороны бедер. В бедренном суставе. Родинка между грудями. Глаза, отполированные до синевы. Чернота там, где зрачок. Жесткие глаза. Несколько голубых жилок ветвятся на левом плече. Бледная, со склонностью к мигреням. Белая, особенно перед месячными.

Говорит:

— Когда буду при деньгах и немного постарше, сделаю себе все пластические операции, какие только есть: кожу на лице подтяну, подрежу грудь, нос приличный, наконец, сделаю и многое другое, чего еще не знаю.

Вздыхает.

Я рассказываю о Персии. Как заклинал там котов. Ночами они приносили с собой длинные тени и терлись об меня. Я сзывал их, мяукая как кошка, громко и пронзительно. Всегда собиралось немало зрителей. В том числе Веслав, теперь он врач. Коты были огромные и тихие. Тогда у меня была власть над котами и детьми.

Она смотрела на меня большими, прозрачными, как стекло, глазами, зелеными, неоново-синими, в которых колыхалось море.

Вечером на западе стоит гроза. Свет, закутанный в бордовую замшу, просачивается сквозь тучи на уже потемневший кипарисовый лес. Нервные молнии ныряют с гор в долину. Взмыла и опустилась черная птица.

Толстый перс, сидя на мягком ковре, курит кальян (немного опиума), прямо как в сказках. Гадает, вовремя ли пришлет ему шины фирма “Абуваб”, теперь она называется “Прага”. Только одну машину, упаси Аллах больше. Потом шофер

фирмы “Прага” отвезет их за Тегеран, в известное место у руин храма огнепоклонников. Дела со взятками; счетами, квитанциями возьмет на себя англичанин. Вопрос лишь в том, чтобы опередить этого мерзавца Хаджа. В кальяне волновался голубой дым. Сквозь дым и стекло он взглянул на слугу и увидел свое путешествие в Дамаск на верблюдах, давнее, нереальное, приказал: “Воды со льдом”. Улегся на спину на ковре, то засыпая, то затягиваясь, дышал, грезил, оценивал риск. Цыпленок, которого он переваривал, приятно тяжелил желудок; его любовник, курьер из меняльной лавки, был очень хорош и имел голову на плечах; и вдруг что-то стиснуло ему горло: дело было в молодости, первая поездка в Дамаск, светская развратница, белая, блондинка, оставила ему свою дочку как гарантию, что вернется. Он никак не мог подсчитать, сколько ей лет, хотя в счете был на редкость сноровист. Изображая полное безразличие, велел слуге:

— Приведи Ауэн и закрой дверь.

Он был очень занят все это время, долгие годы, и не знал, сколькими детьми наделил его Бог, помнил только, что у него одиннадцать жен, не считая наложниц. То, что он когда-то верил в гарантии, теперь казалось смешным.

Пришла Ауэн, пришла, наконец, после долгих розысков, держа в руке кусок баранины, сочившейся жиром. У нее были голубые глаза, совершенно дикие и безумные. Он вышиб кость у нее из рук, сказал:

— Сядь рядом.

И дальше:

— Давно ты здесь живешь?

Ауэн рассмеялась.

— Уже давно.

— Воспитывает тебя Пата (это была его старшая жена), и она ходит с тобой по нашему саду, который велик и прекрасен.

— Ручей красивый, а если влезть на высокое гранатовое дерево, то видна мечеть за нашей оградой.

— Ты была там?

— Но я же никогда не выходила из сада. Правда однажды, лет в пять, была. Мы носили рыб в бассейн.

Она подползла к куску кости, который он у нее вышиб. Он схватил ее за ноги, подтянул к себе, сказал:

— Тихо! — и раздел ее. Она судорожно сжимала в руке кость. — Теперь внимательно послушай меня.

И объяснил, как она должна лечь, что сделать. Это ее заинтересовало. Потом, обгладывая кость, она сказала:

— Не было противно.

Вдруг бросила в него кость и поднялась. Тогда он потянул ее за ноги так, что она упала. На шестой раз она кричала:

— Как приятно, делай мне еще, еще!

Батья молчала; аккуратно сложенные штанишки лежали на стуле.

В ночи освещенные взгорья, пологие склоны, внезапно заканчивающиеся обрывами, зигзагами на небе, с которых стекает подрагивающий разноцветный туман.

— Сулейман стар, последние зубы выпали. Кожа на скулах обвисла. Ходит в теплой шапке и торгует виноградом вразнос. Виноград он приносит с предгорий на равнину, покупает у сына, самого старшего, задорого. Уже сорок лет плохо видит, глаза красные, особенно последнее время. Наливаются кровью, когда он смотрит на разящее солнце. Сулейман садится посреди пустыни, минареты города еще только блестят вдалеке. Сулейман сидит на корточках, и ноги у него мягкие, не такие, как тогда, когда он убегал через горы из Тифлиса, города, растворяющегося в солнечном блеске, города, где родился его первенец, тот, что дерет с него за виноград. Он закрывает воспаленные глаза, выставляет голые десны, сухие десны...

— Этого не рассказывай.

— Человек — хлюпающий мешок, нафаршированный требухой, мягкий, влажный. Полно дырок, из которых льется, капает, которые воняют, которые набиты слизью, мокротой, студенистой массой.

— Послушай, мой отец старый и больной. Когда просыпается, пальцы у него как склеены. Наконец, еле-еле встает, не в силах одеться, не в состоянии застегнуть пуговицы, ширинка вечно нараспашку. По-моему, внешний мир видится ему как сквозь густую мглу, а внутренний — мутный, сонный, уже ленивый, я знаю? — может, и совсем неподвижный. И все же у него сохранились рефлексы, да, одни только рефлексы, такая реакция на то, что вокруг. Это явно видно, на этих рефлексах он и пишет свои *ширим*. Ковыляет в клозет. Весь трясется. Его шатает из стороны в сторону, кидает вперед, назад. И, что хуже всего, кричит: “У меня сохнут икры. Сохнут! И он, такой могучий, сохнет, горе мне, о горе!” Но об этом он не пишет в своих *ширим*. Только замечает сквозь щели в своем забытьи. Да, это мой отец. Я никогда...

Тишина.

— Ну, рассказывай.

— Если прошлое, которое обрушилось мне на голову, сожгло все до зернышка, придавило меня, прорвется наружу благодаря этому рассказу, то...

Тишина.

— Рассказывай.

— Там, на шуке, кричат, призывают, будто умоляя, слагают песни об оливках, жирных, как курдюк барана, о гранатах, красных, как солнца, о луке, пахучем и хрустящем, о винограде, прозрачном и крупном: “Покупайте, люди, покупайте, кто верит в Единого Бога и Его Пророка, оливки, жирные, как бараний курдюк...”. В персидских горах красиво, так красиво, что я чуть не свихнулся и думал там остаться. На вершинах го́ры розовые, ниже — голубые и пепельно-серые. Прорезанная в камне дорога хитрит, виноградной лозой вьется по скатам, ныряет в зеленое или темно-синее ущелье, где сверкает стеклянный ручей. В темноте, скользящей вниз по склонам, движутся огромные глыбы, похожие на людей или рептилий. Черный орел рассекает небо. Потом дорога вгрызается в горы, течет среди базальтовых скал и плюшево-зеленых склонов. Под откосами висят домики, пасутся овцы величиной с букашку. На станциях индусы сооружают из мешков со щебнем четырехугольные укрепления. Медленно выползает большой локомотив с фарой на носу. Он тащит за собой орудия с вытянутыми мордами, танки, опутанные сетями. Снова дорога, как нитка, и странно спокойные постоялые дворы: внутри течет ручей. Там ты просто не существуешь.

Потом лагерь американцев. Шум. Лагерная газетка: “Католический молебен в обычное время. Парикмахер принимает 24 часа в сутки. Советская победа под N. Около главной столовой открыт клозет второй категории. Иудейское богослужение проведет капитан Рубин”.

30

— Одному я научилась в кибуце: наблюдать за людьми и растениями. Особенно за растениями. Неспешный рост, в их собственном ритме, который нельзя ни ускорить, ни замедлить. У каждого растения свой распорядок, и ты вживаешься в этот распорядок и совершенно меняешься, может быть, становишься спокойнее и смотришь в небо, что там: солнце или тучи, а дальше живешь са́дом, вместе с ним растешь и увядаешь, это очень необычно, ты как человек, который сменил кожу, как нечеловек; утром разглядываешь подсолнухи, львиный зев, цветы на деревьях, закрывающиеся к ночи и потом просыпающиеся вместе с подсолнухом и солнцем, и кактусы, один удивительнее другого, и амариллис; в конце концов, сама превращаешься в сад: тут отросто́к отведешь в сторону, там прополешь, живешь совершенно другой жизнью, непред-

сказуемой, просто она здесь, рядом; выходишь, будто загипнотизированный этой жизнью, не в состоянии найти равновесие, а когда цветет слива или вишня, даже рисовать не осмеливаешься, да и все равно на картине ни черта бы не вышло, разве что исказишь форму дерева с близкого расстояния, с небольшим увеличением. Там не захочешь, а найдешь невероятные, фантастические пейзажи, и ты просто не в состоянии рисовать с натуры, и это необыкновенно — жить жизнью сада.

Я — на грани небытия и существования, к которому Батья влекла меня всем, что делала. Например, сейчас она нагишом рылась в холодильнике, набивала рот сливами, ела мясо, сыр, все вперемешку. Я подошел к ней, разглядывал, как диковинное животное, потом спросил:

— Сколько у тебя было любовников?

Будто пробудившись от сна:

— Что-о?

— Ничего.

Дальше она ела манную кашу, курицу, компот, все подряд.

— Ты, правда, собираешься стать художницей?

Перестала жевать, выпрямилась, ответила:

— Естественно.

Но потом опустила голову.

— Я хочу учиться. Возвращаясь к саду: я рисую ветви, подражаю китайцам, рисую муравьев, рисую прибрежный песок, рисую всем, что у меня есть, не только кистью, но и помадой, телом, грудями, и учусь. Больше всего меня привлекает структура дерева, с его сучками, неправильностями. Особенно на срезе. Не знаю, почему дерево. Структура дерева, его поверхность, шершавая, а иногда гладкая... Помнишь "Сиддхарту" Гессе? Там влезают на дерево, чтобы соскользнуть в оргазме.

Вернулась в комнату, легла, узкие ступни, живот с красиво вылепленным пупком, широкие плечи, шире бедер (могла бы служить древнеегипетской натурщицей), и глаза, постоянно меняющиеся даже в полумраке, киргизские глаза, и видно было, что, когда подрастет, у нее будет красивая спина, и я, подвешенный между небытием и существованием, неистовой бессознательной поборницей которого была Батья с ее легким пушком, и, наконец, центр тела, самое главное, окаймленное рыжими волосами.

Той ночью она обняла меня ногами и обнимала еще не раз, я целовал ее губы, те и эти, не зная, выживу или совсем сойду на нет. Соблазн сойти на нет затягивает, как пылесос. И Батью тоже затягивает, раз я отдаюсь ей так же целиком, как — с виду (не оставляя ни следа) — она мне.

— Еще мне нравятся старые перочинные ножи, ими можно резать хлеб, в том числе черный, с чувством, торжественно, медленно; вообще люблю старые, использованные предметы: березовые табакерки, секретеры, шкафы, полки, комоды; то, чего долго касались руки человека, чем уже пользовались, меня это трогает. Металл терпеть не могу. Годовые кольца деревьев, наличники, крестьянские хаты, ты этого не знаешь, лодки, бадьи, рубель: все это дерево. Человеческий материал — дерево. А вот металл, стекло — это чужое, нездешнее.

— Посчитай огни на воде.

— Восемнадцать.

— Это хороший знак.

Повернулась набок, прижалась ко мне почти в положении эмбриона, промурлыкала:

— Прикрой.

Она же была голая, с заметным желобком между грудями, со встрепанными волосами, белыми волосами, скрученными в кольца, эллипсы, еще запыхавшаяся, постепенно успокаивалась, засыпала во мне так доверчиво... Она, которая, в сущности, только еще начинала, пробовала, и неизвестно было, что из нее выйдет, что она отколет. Засыпая, пробормотала:

— Я ничего не стыжусь, ничего. Глядишь, это мне поможет.

Вдруг просыпается:

— Приехал этот Кон, у которого мы живем?

— Нет, нет, спи.

— Не могу пока. Знаешь, на что похожи задницы у женщин с самыми хорошими фигурами?

— Нет. Понятия не имею.

— На зады першеронов. Обрати внимание. Именно першеронов. Правда же? Почему так?

— Спи.

— Не могу. Слишком много кофе выпила и еще новидрин приняла.

— К чему тебе был новидрин?

— Да собиралась провести ночь, ну, кое с кем тут.

Погодя:

— Насчет животных в кибуце, знаешь, я всех перепробовала.

— Сколько же тебе было?

— Наверное, лет четырнадцать. С людьми в кибуце скучно. Приходят с поля усталые, и вечно одно и то же. Особенно парни. Никакой фантазии. С утра шагают в свои конторы с серьезным видом, как будто на самом деле хотят приносить пользу. И

все становятся вроде как чиновниками, судьями, юристами, даже дворниками.

— А импотенты?

— Импотентов не бывает. Каждому можно доставить удовольствие. Полизать или поцеловать, или дать себя пощупать, это что-то да значит. Очень часто от этого все зависит.

Она распалялась.

— Успокойся уже. Три часа ночи.

— Всего три?

— А что ты хочешь делать завтра?

— Завтра поедем в Иерусалим. Посмотришь.

— Посмотрю. А деньги?

— Дурачок. Деньги получают за это, как раз за это.

— По-моему, во времена проституции — мир и тишина. Шлюхи и мирная жизнь — вещи связанные. Хорошо организованные публичные дома, это же очень важно.

Похоже, она совсем не слушала меня.

— Обо мне не беспокойся. Я делаю всё, что только можно. Знал бы ты, как чудно́ с козлом. Прямо как с йеменцем. Греция, говорю тебе.

Я смотрел в темное небо, где, словно маргаритки, расцветали звезды. Слышен далекий шум моря, изрыгающего свои внутренности.

Батья говорит:

— Мне нравится Ливан. Лыжи. Высокие горы. И отшельники в горах, монахи, которые делают хорошие вина, ликеры. Тебе бы хотелось поехать в Ливан?

— Каким образом?

— Ну, организую какого-нибудь с машиной.

— И оставишь меня там?

— Естественно. Он снимет тебе комнату с девочками. А мы будем танцевать. Но это не теперь. Зимой.

— Ты же до зимы уедешь?

— Скорее всего.

— Так как же?

— Просто фантазирую.

Потянулась. Вся, как волна: живот выгибается, расслабляется, спина вслед за руками, центр тела вместе с животом, глаза то пылают, то на мгновение застывают, чтобы затем разгореться до зеленоватого свечения, рот, блестящие зубы, ее ноги в постоянном движении, ягодицы твердые, бедра, все больше похожие на зады чистокровных першеронов. Она живая, теплая, и на минутку забывается. Ее общительность и аскетизм. Умение раскидывать широкие сети и бросать уже раскинутые. Возможно, это молодость. Начинать и

ничего не заканчивать. От одного незавершенного дела к другому. Обезьянья натура, ненасытность. "Всё что угодно, только не это" — то, что делает именно сейчас.

— Который час?

— Четыре.

— Я так и знала.

— Откуда?

— Всегда прилетает один и тот же комар со своей флейтой и играет. Всегда в четыре.

— Ну, теперь еще разок и спать.

Огни порта. Огоньки в море. Море, которое нежно плещется о берег, — похоже на чмоканье: ткам, ткам-ткам, ткам, ткам-ткам.

31

— Не дает мне все-таки покоя этот клозет, — сказал я.

— Какой еще клозет? — переспросила Батья.

— Который меня ждет.

— Пока что мы едем в Иерусалим. Эта Сара дала мне адресок.

— Но что будет со мной?

Мне уже представлялись розыскные листы. Примерно так: "Уведомляем все полицейские посты, что из квартиры по такому-то адресу сбежал не установленным точно способом параноидальный шизофреник, опасный для окружающих". Меня трясло, корчило, было жутко. Я залез под кровать и там, свернувшись клубком, уснул.

Мне снилось, что я превратился в унитаз, и мадам Чин охотно садится на меня. Садится, поднимается, говорит: "Ну, как мы выглядим?"

В ужасе я проснулся. Вылез из-под кровати. Лег на постель. Батья спала, ровно дыша. Спала обнаженной. Ее лицо, совершенно расслабленное. Ее рот, по-рыбьи приоткрытый. Волосы, как ореол. Когда я приблизился, легкий запах женщины, спящей женщины. Потихоньку, во сне, я взял ее, с приоткрытым ртом. Она не проснулась. И сам я уснул уже без снов.

32

Иерусалим. Вырубленный в скале город, через который проплывают тучи или песка, или испарений. Город, в котором, ко всему прочему, растет семиярусный цветок, люто-зеленый. Земля спускается террасами, к которым подвешены до-

ма. Сквозь закругленные окна трудно разглядеть "Терра-Санта"[1], Большую ешиву[2], монастыри с кондиционерами, мечеть Омара. Каменность ощутима и в самом воздухе, в окруженных штакетником зданиях, где вход почти всегда сбоку (Иерусалим не любит фамильярности). Зубчатые венцы, карнизы, эркеры, иногда мозаика. И самое удивительное: старый араб пашет клочок земли деревянным плугом, в стенах града Давидова. Хамсин в Иерусалиме — Толедо в грозу у Эль Греко. Устрашающе белые лица пейсатых юношей и мальчиков. Ветер.

Ничего не соображаю. Она сажает меня под лениво крутящийся вентилятор. Уходит на поиски клиента. Я засыпаю, просыпаюсь, снова засыпаю и снова просыпаюсь. Все это происходит в кафе "Вена". Уже вечер, полно народу.

Вот куда сбежались раввины со всяких святых гор. Гроб Господень, Голгофа, "Имка"[3] с крытым бассейном — только успевай смотреть. И "German Colony"[4] с большими деревьями и хвойным ароматом, и женщина с ослом, английские солдаты, раздающие религиозные брошюры ("чудесно поет хор"), крысы, скалящие зубы, как покойники. Возвращается Батья, ведя с собой клиента, кафе постепенно пустеет.

— Ты, у меня хорошая новость.

Неожиданно для самого себя:

— Надоело мне здесь болтаться. Хочу в мой клозет.

— Погоди. Получишь свой любимый клозет и вдобавок еще чуток свободы, которую девать будет некуда.

Я никогда не смотрю на ее клиентов, вот и на этот раз не смотрел.

— Послушай. Этот человек работает у верховного комиссара[5]...

— Какое отношение имеет высокий комиссар...

— Погоди ты. Объясни ему. Все по порядку.

1. Францисканский колледж "Терра-Санта" ("Святая зе́мля"), построенный в 1927 г.
2. Ешива, или иешива (в переводе с иврита — сидение, заседание) — высшее религиозное учебное заведение, где изучаются традиционные источники письменной и устной Торы, главным образом Талмуд. Большая ешива (или ешива "Мир") — крупнейшая в Израиле.
3. Неофициальное название гостиницы волонтерской организации YMCA (Юношеская христианская ассоциация).
4. Немецкая колония (*англ.*) — район, построенный в конце XIX в. в Иерусалиме немецкими колонистами из религиозной независимой организации "Der Deutsche Tempel" ("Немецкий храм"). С 1860 по 1930 гг. темплеры создавали колонии в Палестине.
5. Верховные комиссары Палестины — высшие должностные лица Великобритании в подмандатной Палестине в период с 1920-го по 1948 г.

— Выслушайте меня, — заговорил тот, щупая под столом Батью. — Как вам известно, в настоящее время правительство Его Королевского Величества нуждается в долларах.

Дальше пошло такое... я и слушать не стал. До меня долетали только звучные "следовательно... в этой связи... помимо того... причем..." и т. д. и конечный вывод: "поэтому нам придется выслать госпожу Чин в...".

— Так значит, твоя тетя уезжает?

— Как видишь.

— А что будет...

— Эдка остается.

Все мои планы вдруг зашатались. Вижу только, как Батья позволяет этому типу сладострастно себя щупать. Впадаю в ярость:

— Любовь приходит, любовь уходит!

— Какая еще любовь?

— Ну, а это... вчера?

— "Это" не имеет ничего общего с чувством. И вообще, не любовь проходит, а мы.

Разверзлась трещина. Наконец хоть что-то от нее. Загадочное.

— Ты хотя бы помнишь, как я тебя драил водой и мылом? А потом ты меня? Помнишь?

— Помню. Ну и что?

Холодно и вежливо Батья заключает:

— Мы, то есть я и этот господин, отвезем тебя на улицу Хапу-Хапу, 8. Верни мне мои десять пиастров.

Ч*асть вторая*

1

Отработав у Эдки, я выходил на улицу. Яснее всего мое состояние отражалось в глазах детей. Они, в зависимости от возраста, либо замирали в ужасе, либо первыми здоровались со мной — если вообще здоровались, здесь это редкость, или переходили на другую сторону улицы, притворялись, что не видят меня. Как-то я услышал комментарий и от той мало́й, что жила над нами:

— Мама, почему у этого Пётруся рука резиновая?

Я медленно бродил по тротуарам, присаживаясь передохнуть в парках или на уличных скамьях. Шел всегда вдоль стен. Порой какая-нибудь дама, увидев меня сзади, подавала мне милостыню. А оглянувшись и увидев спереди, моргала изумленно и, в некотором замешательстве, отворачивалась.

Иногда, вздремнув на скамейке в парке, я потом находил в шляпе немного денег.

2

Мое состояние ухудшалось не из-за финансовых проблем. К примеру, после работы мне хотелось прилечь. Тогда комнату начинало тошнить. Пол выгибался, доставая почти до потолка, а стены ходили ходуном. В конце концов комната торжествующе изрыгала меня на улицу. Еще долго был слышен ее громовой кашель, подобный смеху гиппопотама или осла. К Батье я не заходил, боялся. Вечерами, бродя по улицам, заглядывал в окна первых этажей. Был июль, и рубашка прилипала к телу. Город тяжело дышал. Открытые окна, отдернутые шторы. Все происходит на улице. Кто мог, выходил на крышу проветриться. Идеальная пора для подглядывания. Иногда я онанировал под каким-нибудь окном или подкрадывался со двора, выбирая подходящую точку, чтобы оставаться в тени.

В тени предпочитали оставаться и проститутки, чья реакция была обратной фототропизму[1]. Случалось наблюдать и более частые, чем у других женщин, геотропические[2] реакции.

Иногда мне встречалась одна нищенка, уже очень старая. Беспокойная, у нее сильно опухали ноги. Мы вместе сиживали на скамейке. Она говорила:

— Видишь, видишь, люди эти носятся, как собаки. — Она тяжело дышала. — Как собаки. Миллионерши с Бен-Иегуда. А ты что делаешь? Спишь в комнате, правда, миленький? Правда? Может, по такому случаю дашь взаймы пять пиастров? Ну вот. Тебе это ничего не стоит. Видишь? Прямо как собаки.

В то же время я остро ощущал, что и внутри, и снаружи все крошится, все распадается напрочь.

Время от времени я ездил в автобусах, щупал, стремясь убедиться, что все это еще существует. Но толку было мало.

В конце концов я решил наведаться к д-ру Зигберту. К тому, что выписал справку.

3

В тот вечер все говорили о землетрясении, которое я проспал. Меня приняла жена доктора. Она тоже переживает из-за землетрясения.

1. Фототропизм — изменение направления роста растений или положения тела животных в зависимости от направления падающего света.
2. Геотропизм — способность органов растения располагаться и расти в определенном направлении по отношению к центру земного шара.

— Говорю вам, просыпаюсь я ночью и не нахожу рядом с собой господина доктора. Вижу — из уборной свет пробивается. Чтобы вы знали, у нас их две. Я себе думаю, неужели это мой Ганс, то есть господин доктор, так сотрясает дом? Думаю себе, что это вполне возможно, потому что испражняется он очень бурно. Утром читаю газету: землетрясение. И что вы на это скажете?

— Когда доктор принимает?

— С восьми до двух ночи. Вам придется немного подождать.

Ну, я жду.

— Гутен таг, господин доктор.

— Что там?..

Я был в просторном кабинете, в конце его за красным столом сидел, съежившись, как паук, доктор.

— Я бы хотел, чтобы вы меня обследовали, осмотрели.

— А, это вы, господин, господин...

Он повернулся так, что мне стали видны толстые стекла его очков.

— Вы мне предписали, ну, так сказать... клозет.

— Ага, ага, ничего странного. Я сам, знаете ли, в подобных обстоятельствах вынужден...

На столе блестела мраморно-золотая чернильница. Книжный шкаф ломился от толстых старинных томов. Я обратил внимание только на "Технику метафизического восхождения" и "Опыты низшего уровня и соматическое состояние". Он махнул мне рукой:

— Садитесь.

И я утонул в плюшевом кресле. Через секунду поднялся и увидел плюшевый диван. Попятился в испуге.

— Ничего страшного, — произнес доктор. — Это безусловный рефлекс.

— В каком смысле?

— В таком, что ваше предназначение — сидеть в уборной, что приговором Провидения...

— Вижу, вы религиозны.

— Нет, не в этом дело. Просто насмотришься разных случаев на земле и на небе и начинаешь верить в кисмет[1]. Вот, к примеру: женщина, приятная, здоровая, даже красивая, что для меня существенного значения не имеет, приходит с раком. Неважно уж чего. И я ей говорю: "Уважаемая, для вас ничего не осталось в этом мире, кроме сливочного мороженого

1. Кисмет — в исламе судьба, участь, предопределенность.

и темпераментного юноши. Еще пять-восемь месяцев, и вы труп". А она в ответ: "Что вы такое говорите, доктор? У меня ведь муж и двое детей". Как будто это имеет какое-то отношение к делу. Я ей говорю: "Е..сь, милочка́, пока не слишком поздно". А она через два дня вешается. При таком-то чудесном будущем. Чего людям, черт возьми, надо?

— А как насчет моего случая?

Тут доктор поскреб голову.

— Ваш случай непростой. Вас можно рассматривать в двух или более зеркалах. Определенного диагноза нет. Есть кое-какие признаки... что-то вроде хвостика у буквы "h"[1], если вы разбираетесь в графологии.

Его голубые глаза, обведенные красной каемкой.

— Положим, вы христианин.

Я возмущенно возразил:

— С какой стати?

— А вот с такой. Все мы ходим в уборную. А вы там устроили себе личную Голгофу. И вам неудобно в плюшевом кресле.

Голос доктора набирал силу. Мне и вправду стало неудобно сидеть.

— Вы хотя бы мадам Чин впускаете в уборную?

— Да... нет, у нее есть ключ... Мне как-то снилось, стыдно рассказывать. Это был всего только сон: будто бы мадам Чин вошла в уборную, засунула меня в унитаз. Села...

— Но это же очень хорошо.

— Не понимаю. Почему?

— Она заставляла вас, когда вы вернулись, исполнять прежние обязанности?

— Нет. Но...

— Никаких "но". Она уезжает, потому что во сне вам проиграла. Больше вам не бывать на поводке у мадам Чин. Перед вами открываются неограниченные возможности.

— Как это?

— Какой вы недогадливый. Она проиграла вам, притом, во сне. Во сне. Вы понимаете?

— Так ведь она все еще на мне ездит.

— Не беда. Вам положено страдать. Ох, бедняга Пётрусь. За всех нас. Спасительные сны. Спасительный клозет.

Доктор схватил мраморную чернильницу и продолжил:

— Когда вы ощущаете секс через боль... Это еще ничего. Таких миллионы. Когда вы ощущаете боль через секс... И где

1. Согласно графологии, особенности написания "верхних отростков" таких букв, как "h", "t", "f", отражают приобретенные (посредством воспитания или жизненного опыта) особенности личности.

только вы не ощущаете боли? О, великий Пётрусь! Неужели вы страдаете за все несчастное поколение? Не знаю, видит Бог, не знаю...

— Батья...

— Ясно-ясно, ваши малолетки. Но именно старая, отвратительная, опытная женщина, обладает силой. Не знаю...

— Доктор, вы верующий?

— Да что вы. Я вообще ничто, за исключением таких случаев. И в этом двусмысленность вашей ситуации. Может быть, вас излечат шлюхи. Иногда я посылаю пациентов к проституткам, присмотреться. Вы дошли до дна. И даже глубже.

— Как это возможно?

— Во-первых, это зависит от индивидуальной способности катиться вниз, во-вторых, можно и глубже (тут он поправил пенсне), можно, голубчик.

Похоже, я догадываюсь о личной тайне доктора. Неужели он... Такой жизнерадостный, краснолицый, развеселый — я не мог поверить. Но я был слишком взволнован.

— Да-да, но прошу не забывать, что вы, по меньшей мере, неоднозначный случай. А симпатичная эта Батья? — поинтересовался доктор.

— Симпатичная, только...

— Знаю, знаю. В таком случае, в качестве терапии я рекомендовал бы проституток. И, скорее, подобных мадам Чин. Не обязательно таких же неприглядных внешне. А внутренне — еще более. Иногда требуется клин клином. Когда вы узнаете, что такое настоящая мерзость...

— Я в России был.

— Вот узнаете, что такое *настоящая* мерзость, психический распад, когда побываете у такой сверху или снизу... тогда возможно, возможно...

Молчание. Доктор продолжал:

— Итак, диагноз у вас неоднозначный. И наверняка вы еще подглядываете. И катаетесь в автобусах. Значит, вы уже близко. Инфантилизм. Эксгибиционизм. Мазохизм. Тайна жизни и смерти. Женщина, о которой я упомянул в начале нашего разговора. Вы бы смогли так существовать? Да вас бы разорвало собственное давление, как разрывает глубоководных рыб. Диву даешься, как большинство людей воспринимает мир. Смешно! Они даже не осознают, что, по сути, совершенно изолированы.

Но, поскольку вы — случай неоднозначный, то... Батья. У нее есть размах молодости, и она может вызволить вас из западни, потащить за собой.

— Батья уезжает... Она думает, что еще добьется чего-то в этом мире. Я иногда и сам так думаю.

— Очень хорошо, если вы так думаете.

— Думаю, не думаю. Трудно на это ответить. Иногда мне бы хотелось...

— Давайте, цепляйтесь за нее, пока не уехала. Но если отвлечься от вашего случая, тревожит рост шизотимии[1], шизофрении за последние сорок лет. Тревожат антропологические изменения. Раньше был только циклотимический[2] синдром, как в клинике, так и в жизни. Сейчас модно — что у мужчин, что у женщин — быть изящным, лептосомным[3]. И страшное количество шизофреников. Это все мода. Влияет ли мода на телосложение? Каждая соплячка вырастает выше своей матери и на нее не похожа. Куда подевались рубенсовские формы? В литературе, в живописи, в стиле жизни? Куда это нас заведет?

Этот вопрос был адресован мне. Он как будто меня обвинял.

— А истерия? Она просто вышла из моды. Остается Todestrieb[4], смерть. Смерть не вышла из моды. Даже украшением стала. А пойдите к какой-нибудь проститутке — увидите, как быстро все делается. Сорок лет назад человек мог прийти в бордель и потихонечку... Скорость, вообще, страшная штука. Не только в сексе. Только циклотимия знает золотую середину. Это всё шизотимики задают темп. А потом их сажают под замок. А вы обращали внимание на такую мелочь, как шкала голосов?

— Да как-то...

— Ну, так сейчас один только джазовый альт. Раньше царило сопрано. Если девушка пела альтом, говорили, что у нее нет голоса.

Доктор вытянулся поудобнее, положив ноги на стол. Недолгое молчание. Наблюдаю. Типичный лептосомик, шизоид. И сдавленным шепотом доктор добавил:

— Да ведь Бог, сам Бог — шизофреник.

Визит окончен. Он выпроваживает меня из кабинета.

1. Шизотимия — тенденция демонстрировать беспорядочные модели мышления и поведения.
2. Циклотимия — многократная волнообразная смена нерезко выраженных состояний психического возбуждения и депрессии.
3. Лептосомия — тип телосложения, характеризующийся худощавостью, с такими чертами личности, как замкнутость, закрытость, склонность к мечтательности и фантазированию. Рассматривается как предрасположенность к развитию шизофрении
4. Влечение к смерти (*нем.*).

— А теперь осмелюсь порекомендовать вам одного оптика на Алленби. Он корректирует взгляд на вещи. Не всегда правильно.

— У меня хорошее зрение, доктор.

— Неважно. Зайдите к нему при случае. До свидания.

4

Пока что я пошел домой, раздумывая над словами доктора. Был час ночи. Иду тихонько по лестнице и слышу, что комната, хоть я и поднимался без шума, начинает злонамеренно блевать. Спускаюсь вниз.

В самом низу, у больного раком соседа еще горела маленькая лампочка. Это был приятный, образованный, пожилой человек. Я подумал себе: может, посижу у него, пока там наверху успокоится. Вхожу. Говорю: "Добрый вечер". У него не проходящая желтуха. Кожа покрыта язвами. Так он чешется. Еще не спит. Читает книгу: Ницше. В глаза бросилась фраза: "Приказываю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы отречетесь от меня, я вернусь к вам"[1].

— Жена еще не вернулась. Она у детей. Может, и ночевать у них останется.

— Как ваши дела?

С минуту он молча чешется.

— Э-э, там, не лучшим образом.

— А что беспокоит?

— Когда жара начинается, зудит все сильнее. А еще — я худею.

Молчание.

— Знаете что, мне сказали, что рак бывает мужской и женский.

— Я про такое не слышал.

— Да не бойтесь вы. Я и так перед женой и сыновьями делаю вид, будто ничего не знаю. А они — передо мной. Так и им легче, и мне, пожалуй.

Мне подумалось: "Вот гражданская смерть героического обывателя".

— Не хочу, чтобы сыновьям было стыдно, оттого и не вешаюсь. А сил у меня пока еще хватает.

— Уже поздно, мне пора идти. Спокойной ночи.

Я немного помедлил на темной лестнице. Потом тихо пошел в свою комнату. Она уже угомонилась.

1. Ф. Ницше "Так говорил Заратустра".

Девчонки напротив давно закончили раздеваться-одеваться. Тени женщин, темно-тропические, геотропические. Из моря поднимается туман. Под утро всегда какие-то трели, переходящие в писк.

На следующий день я просил у Эдки взаймы. На одну шлюху. Умолял. А вдруг это мне поможет? Он дал.

После работы я дотошно подыскивал подходящую. Чтобы не слишком молодая. Когда все, к моему удивлению, уже закончилось, я услышал из алькова мужской голос:

— Позвольте-ка сюда.

За гардиной сидел какой-то сутулый субъект, этакая конторская крыса.

— Будьте любезны присесть.

Перед ним лежал гроссбух.

— Имя? Фамилия? Где взяли средства?

Вдруг появился альфонс-осведомитель. О чем-то докладывает.

— Подождите, — сказал субъект с гроссбухом. И альфонсу: — Итак, чистого доходу сколько? Ага. "Прямой шантаж". Сколько?

Сутенер погрузил нос в большое, густо заросшее волосами ухо. Бормотал. Чиновник полистал толстую книгу — открылась страница, на которой значилось: "Женатый мужчина".

— Сколько?

И снова перевернута страница гроссбуха, и появляется надпись: "Когда это ты платил, говнюк?". А потом "Ой, пришел мой муж".

— Сколько? Сколько?

Вдруг отворилась маленькая дверь. В альков вошла женщина. Одета подчеркнуто бедно:

— Есть младенец?

— Оба в прокате. — Субъект с толстой книгой взглянул на часы. — Приходи через часок.

В этот момент, опередив женщину, я выскользнул за дверь. Осведомитель кинулся за мной, но я притаился. Он меня не нашел.

Итак, иду себе спокойно и размышляю. Что ж, и это не помогло. Сажусь на скамейку в небольшом парке на улице Гордона. Месяц кружит над моей головой. Тихо стукаются друг о друга листья. Два часа ночи. Три. Напряжение нарастает. Половина четвертого. Я задыхаюсь. Четыре. Дрожу. Пот градом. Лязгаю зубами. Наконец — сон.

Не сон — извержение снов. После пробуждения остался какой-то жемчужный осадок: поблескивает, переливается.

После работы еду на улицу Алленби, чтобы последовать совету доктора, данному мне мимоходом и потому особенно ценному. Еду, рядом сидит еврей в лапсердаке, редкость в Тель-Авиве, и присматривается ко мне. Я думал, вытащит мильс, но он сказал:

— Я ищу калеку.

— С какой целью?

— Для производства содовой воды. Вы же знаете: если имеется калека... А вы официальный, оформленный?

— Нет. К тому же я куплен.

Он махнул рукой и вышел на ближайшей остановке. За ним и я. Смеркается. Прохожу мимо каких-то рекламных тумб. Киосков. На киосках афиши. Реклама фильмов. У женщин на афишах всегда выцарапаны глаза, продырявлены груди, пах, рот. Я запутался с номерами. Хожу и не могу найти. А тут приперло — по нужде. Так что стучусь в первую попавшуюся дверь:

— Впустите, люди добрые.

5

Дверь отворилась, на пороге появилась дама. На мой вопрос про клозет дама — то ли старая, то ли молодая — ответила:

— Туда, пожалуйста, без стеснения.

Ответила по-польски, приятным голосом. Я знал, что здесь много польских семей, поэтому не был удивлен. Пошел и облегчился. Потом, когда хотел потянуть за ручку бачка, увидел, что бачка нет. В таком-то шикарном доме, подумал. И вдруг заметил, что клозет — деревянный, что дерево пахнет на солнце. И увидел сквозь круглую дырку деревянный штакетник, какие-то фруктовые деревья, яблоню и розовые цветы. В нежных каплях. А еще увидел солнце и несколько тучек. Дама с фиалковыми глазами, вовсе даже не старая, а молодая, но в платье до щиколоток, вела девочку лет пяти. В одной рубашонке. И разговаривала с ней. Девочка говорила:

— Я *ка́зу*[1], *кинь*.

— Нет.

Дама держала в руке вызывающе крупный мухомор.

— А я *ка́зу, кинь*.

Тогда дама, улыбаясь, бросила гриб.

— *Молодец, сто* послусалась.

1. Здесь и далее курсивом выделены непольские слова и фразы, употреблявшиеся на восточных окраинах Польши до Второй мировой войны.

Вдалеке какие-то работники. Нет — пахари в поле.

Дама обратилась ко мне:

— Эта малышка просто прелесть.

Издалека:

— Онуфрий, Онуфрий!

— Это дочка нашей прислуги Евдокии. А сейчас быстренько покажу вам наши владения. Начнем с Березняка. Дальше хвойный лес, сосновый, а кое-где смешанный. Вон там дорога на Шиповщину. А тут у дороги — Полянка. Но самое главное — Петрополь. Отец построил дамбу. Чтобы отгородить болота. Когда идешь из Березняка через лес в Петрополь, вдруг выскакивает крест. Деревянный, уже позеленевший, маленький такой Христос. Там, где лес редеет. Из Петрополя пойдешь по дамбе до Закутка — опять распятие. Вот где бы вам фруктов попробовать. Там живет мой старший брат, Ксаверий. Ох, совсем забыла показать вам пруд. Вот здесь, за камышами, там, где кружат утки. И притаились глухари. Из Закутка дорога идет прямо до самой Барановки.

Вдалеке:

— *Кузьма, погоди.*

Эконом приводит бородатого крестьянина:

— Нет, *паночку наймилейший, мы только брали дрова до печки.*

— Как вам живется? — спросила барышня.

— Хлеб печем с лебедой да с корой березовой.

— А *грыбы* у вас есть?

— *Маленько, наисветлейшая паненка.*

— Ой, Артемук, Артемук. Отпустите его.

А тут воздухом с полей тянет — прозрачным, холодным. А из леса воздухом тянет зеленым, темно-хвойным. А эконом тянет свое:

— Этот вот попойки устраивает в кустах с двумя старухами. А те друг дружку за космы таскают: которую он выберет. Вот так, барышня.

— Отпустите его.

— Еще *чорта напытае*, — бормочет тот. — Ведь им, с позволения сказать, только бы сивуху хлестать да... Ну, Артемук, *пошол*!

И тут барышня говорит:

— Вы уж меня простите, но братья на охоту ушли, далеко, за Бурчачку, а я дорогого гостя попотчую, сказку страшную расскажу.

Улыбнулась при этом, повела глазами, а они словно слюдяные. Косы до самой земли, солнце скользнуло по лицу, оставив ее в тени, из которой глядели только синие очи.

— Прошу, сударь.

И вошли мы в сад, в дом белый с белыми ставнями, в тишину и покой, где лишь мухи жужжали. Была она босиком. Вошла со мною в дом, в салон, где медвежья шкура лежала, где стояли чучела сов, где большие часы двенадцать били.

— Копчености у нас домашние — очень хороши. Отведаете почек, копченных на крюке? А, может, телячьей головизны? Или свининки? Все домашнее.

— На ваше усмотрение.

А она то краснеет, то бледнеет. Блуждающая улыбка. Под потолком липучка для мух, за окном пеларгония.

Весна. Кора на деревьях мокрая и зеленая. Обросла там и сям мхом, поблескивает темно и зе́лено. Тучи, большие, как горы, делились на зеленые, золотые, бурые, темные. Барышня:

— Будет, Марина, будет уже.

Доски, гладко оструганные, вощеные. На стенах какие-то портреты со странно вывернутыми головами. Среди них дама с фиалковыми глазами.

— Это моя матушка.

А тут кот сидел, весь черный, как ксёндз. Только белый галстучек и туфельки белые. Издалека снова:

— Онуфрий...

В вазе на столе черемуха, еще влажная. Старый ясеневый шифоньер. И ореховый книжный шкаф. Клеенчатый диван. Она села на диван, надела мягкие туфли.

— Расскажу вам страшную сказку. Обед Алима готовит. Хотя... пойду сама пригляжу.

И пошла по длинному коридору в сторону кухни. Было слышно, как в кухне приговаривают:

— *Ну вот, хозяюшка, цветочек мой аленький, а ну подкинь, а ну подсыпь, хоть чуток, хоть жменьку.*

— *А пошел вон, свинья, к чертовой матери*, — отозвались четыре женских голоса.

И мужик, смеясь, позволял девушкам себя лупить. Было на нем извечных двенадцать кожухов, которые он не снимал ни летом ни зимою: летом они защищали от жары. Вернулась барышня в шубе, подбитой кошками. Несла яства, коих мне не описать.

— Тереня, Тереня, — раздался слабый старческий голос.

— Это дедушка мой, — сказала она.

Вошла в комнату (и я за ней), где было почти совсем темно. В кресле старик с пиявками за ушами.

— Сними уж этих зверушек, — попросил он.

Барышня побросала пиявок в банку.

— Братья с болот приносят, — объяснила. — Мы скотину туда гоняем.

– Послушай, Тереня, из этого лексикона: не наша ли родня? Юцевич (Людвиг-Адам) написал "Пословицы литовского народа", Вильно, 1834. Это, случаем, не наш?..

– Не думаю, дедушка.

Вышла. Издалека, с полей:

Ой, казали люди да люди
Полюбила Петруся
Эй ты, срочка-белобочка
Ой, скрыпить мое сердце, як кола без мази...

– Вы обещали страшную сказку.

– Присаживайтесь, сейчас расскажу.

Задумывается на минутку.

– Жили-были дед и бабка. У него была дочка, и у нее тоже. Дедова дочка веселая была, работящая, добрая. Бабкина – ленивая да злая. Замыслила бабка ее погубить, падчерицу свою, позавидовала, что ту все любят. И начала деда уговаривать, чтобы тот ее из дому увез да в лесу бросил. Дед так и сделал. Вечер наступает, дочка давай звать: *А хто у поли, а хто у лесе, прыдь ко мне гэту ночку начаваць.* Сидит девушка, ждет, а тут медведь по сосне колотит: *А я у поли, а я у лесе...* Спрашивает, можно ль подойти. Услыхал, что девушка согласна, и молвит: *Дзевка-дзявица, перестань маю лапу...*

Вдруг к дому подъехала коляска. Барышня оборвала свой рассказ. Встала и говорит:

– Пора уже нам прощаться, ведь...

И покрылась румянцем. Я воскликнул:

– Почему?

И оказался на улице Алленби.

6

Тогда я и осознал, что не попасть мне в этот мир. С комком в горле воззвал я к себе:

– Из глубины взываю к Тебе[1].

Долго вдоль стен и ворот. Уже поздно. Но мне не хотелось идти домой и спать. Подожду до утра.

Променад у моря: огни – представление, которое можно бесплатно смотреть издалека, усевшись со всеми удобствами на балюстраде. Трое мексиканцев, один итальянец, всевозможные игральные автоматы. Кукуруза. Фалафель. Влажно.

1. "Из глубины взываю к Тебе, Господи!" – из Псалма 129.

Запах моря, соленых водорослей, креветок, моллюсков. Непременные проститутки, полупроститутки. Альфонсы развозят джипами своих девиц, потом их контролируют. Стайки десятилетних мальчишек. Останавливаются, постоят и с громкими криками идут дальше.

Примерно около полуночи торговцы сворачивают ларьки. Приступают к своим обязанностям ночные сторожа, и мой знакомый помощник помощника, который охраняет автомобили. Подметают улицы. Потом ездит туда-сюда машина-пылесос. К ночным заведениям подъезжают такси, в них пьяные солдаты с шлюшками.

Пора перелома. Ничего не происходит, но все почти незаметно подрагивает.

Первыми, еще до восхода солнца, просыпаются птицы и начинают: глюп-глюп-глюп. Они довольно крупные, в дневное время их не видно. Маленький автомобильчик развозит газеты, хлеб. Над морем торжественно поднимается туман. Светает. По пустым улицам катят на велосипедах спящие люди. Первые автобусы. Маньяки купаются в море.

7

После рабочего дня, за который мне удалось немного выспаться, я все же решился пойти к Батье. Махлюль, барак № 38. Меня трясет. Стучат зубы. Ведь я познал ее в апреле, когда густой аромат тяжестью ложился на губы. Вхожу. Штанишки. Блузка. Как будто мы виделись вчера:

— Пётрусь, послезавтра я уезжаю! Уезжаю. Я так рада. Уже вещи уложила. Их всего-ничего, но я уезжаю!

Я слегка ошарашен. Нет, я не страдал. Было почти весело, как под наркозом. Вроде бы мне следовало испугаться, но не получалось. Я чувствовал, что чего-то не понимаю. Будто меня вдруг ослепили. Напрасно пытался я припомнить забытое. Но точно знал — там было что-то еще. И вдруг понял, что никогда мне этого не увидеть. Не увидеть, не понять — не в том дело. Это было частью смерти.

Она вдруг побледнела и закричала на меня:

— Иди уже! Уходи!

8

Я уже знал. Стоит ли рисковать жизнью ради долгих лет агонии? Это уже было мне знакомо. “Он ничего не слышит, бедный. Не понимает, что ему говорят. Он без сознания”, — повторяли Анка, Лотка. А я все слышал и прекрасно понимал.

Будет только хуже. Агония, в безмолвии, годами. Замурованный в собственном теле (как замуровывали монахинь).

И войдут тогда животные в твою комнату и усядутся на тебе спокойно, как на камне или на земле.

Махлюль, где жила Батья. В 1937 году здесь был район трущоб, жестяных бараков.

Ингмар Хэйтце

Стихи

Перевод с нидерландского и вступление Елены Данченко

Впервые книгу стихов Ингмара Хэйтце (“Всего хорошего”, 2001) я увидела на собственном дне рождения — то был подарок наших голландских друзей. Вручая его, они сказали: “Ты — поэт. Тебе будет интересен этот парень”.

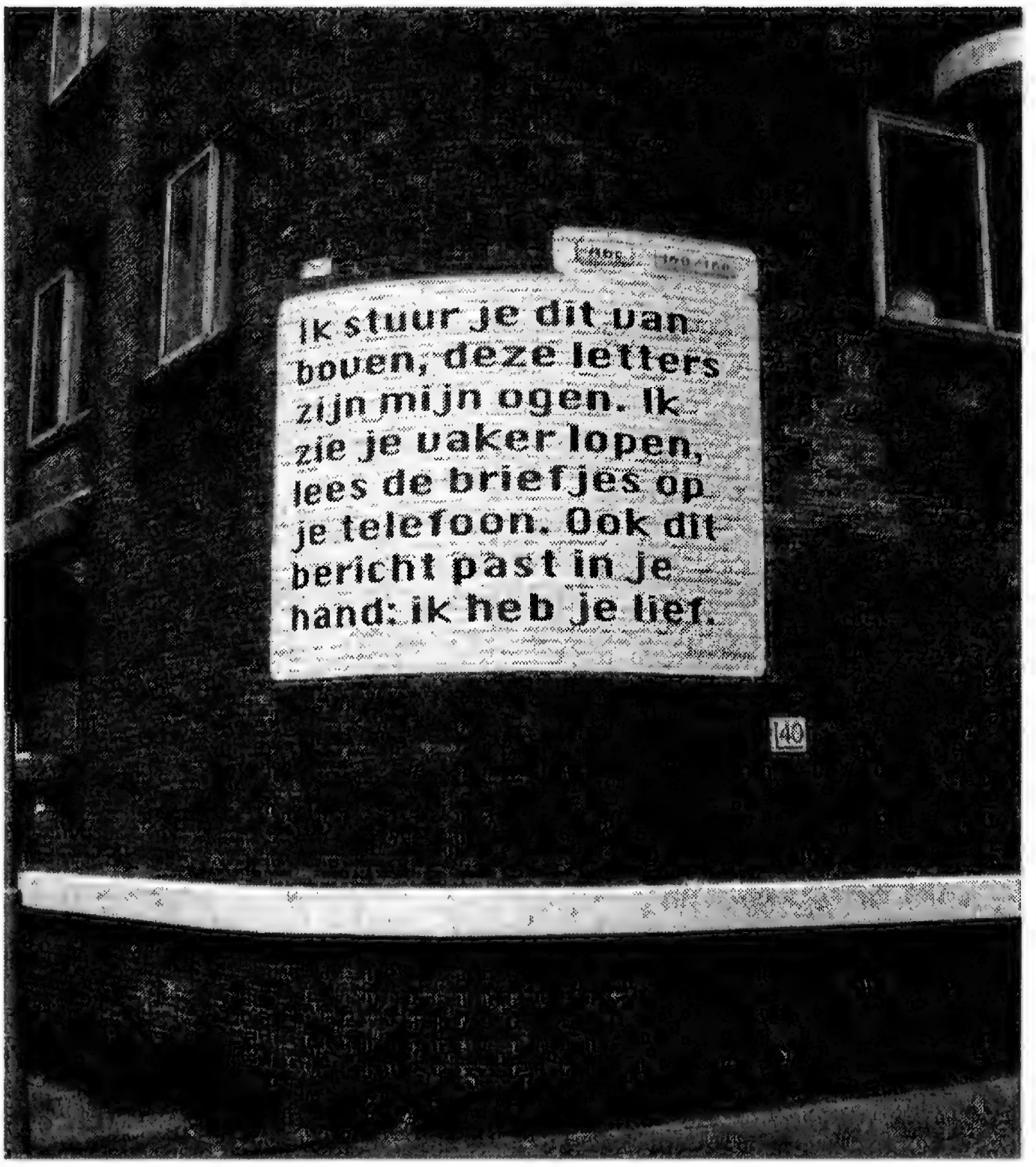
Они оказались правы. Сколько я до того ни читала голландских поэтов, современных и классиков, — не шло, в отличие от голландской прозы... было скучно. Много риторики, описательность, сушь, логика и почти ничего, кроме логики.

А тут... был мир живой и парадоксальный, мир моего почти ровесника, мир, раздвигающий поле зрения, какие-то неожиданные образы, персонажи, идеи. Изумительные метафоры. В стихах струилась и пульсировала кровь Поэзии, изменяющая мой мир. Автор на фотографии выглядел слегка странноватым мечтателем, романтиком и одновременно очень умным, трезвым, даже в чем-то расчетливым человеком. Стык романтичности, открытой, ничем не защищенной души и предельной трезвости ума высекал искру вдохновения, не только из автора, но из читателя.

Тут были те самые “ирония и жалость”, которые, по определению Хемингуэя, являются главными веществами литературы. И я начала перево-

© Ingmar Heytze 2001
© Елена Данченко. Перевод, вступление, 2015
Редакция выражает благодарность Ингмару Хэйтце за любезное разрешение безвозмездно опубликовать его стихи на страницах журнала “Иностранная литература”.

дить, счастливая своим открытием крупного западноевропейского поэта. Немного из биографии Ингмара Хэйтце. Поэт родился в 1970 году в Утрехте. Журналист по образованию, долгие годы вел колонку в газете "Алгемеен дагблад". В 2009 году единодушно избран первым официальным городским поэтом Утрехта. В 2011-м его срок истек, но никто больше не удостоился этого титула. С 2009 года выступает на нидерландских сценах с ансамблем "Феи асфальта", сам играет на клавишных и читает свои стихи, ведёт курс нидерландской поэзии в Утрехтской академии искусств.



Стихи Ингмара Хэйтце на стене дома в Утрехте

Я посылаю тебе сверху письмецо.
Эти буквы — мои глаза.
И теперь я могу тебя чаще видеть
идущей по улице и читающей эсэмэски.
И это письмецо как раз по твоей руке,
моя дорогая.

Автомойка

На автомойке есть движение, но нет жизни.
Нет никого, кроме парня в комбинезоне; он берет
плату,
показывает свободную колею и исчезает в облаках.

Ты выключаешь радио, всё, теперь ты один. И это
отличный момент
для того, чтобы обдумать убийство или начать
молитву.
Мыльные губки, струи, колышущиеся моечные
занавески,

дервиши в синем выскакивают из-за кулис, хлопают
по капоту чем-то мокрым,
вертятся юлой вокруг; панически дергая
замшевотряпочными руками.
Полощущая вода грохочет, хлещет по стеклам и по
капоту машины.

Не исключено, что лишь здесь и сейчас тебе
преподносят
твою настоящую жизнь: бурлящую механическую
вселенную
со свободной игрой ветра и воды, тщательно
продуманной

в твоем полном отсутствии, туннель, в котором ты
неуправляемо движешься, и когда старый добрый
свет
в нем появляется на выходе — он начинает сиять.

Час овцы

Наступил час овцы,
краеугольный камень вечера.

День пережеван. Он еле заметен.
Сейчас запрещено в одиночестве быть.

Людям свойственно иметь детей,
которые могут пока просыпаться

в домах, окруженных садами.
А снаружи идут люди дождя,

лабрадоры, и — на улице за улицей —
мерцает ТЕЛЕхладоогнь в диванном углу.

Я ползаю за садами, вокруг домов,
большой и ненастоящий пес.

Мой хозяин умер, я прогрызаю свой путь
через живые изгороди домов.

Посвящение

Однажды меня приняли в Общество.
Вытащили около полуночи из постели
и, надев балахон, с повязкой на глазах,
провели по лестнице в холодный и затхлый погреб.

Кто-то поет на неизвестном языке.
Кто-то подает кружку. Я должен
до самого дна ее осушить. С дрожью в коленях,
иду вдоль живой изгороди голосов, чувствуя

дюжину рук на теле и на лице.
Я кружусь, как суфий, но теряю равновесие,
в ушах застряли три вопроса, прозвучавших при
посвящении —
и когда я оказываюсь у подножия платана

в южной стране, не ведая, как я там очутился,
до меня доходит, что наступило время для
приключений,
что я больше не один — и это самое главное, что
отныне
все пойдет по-другому.

Кумари

Где-то в мире выпустил художник на воду резиновую
уточку,

величиною с дом. В другой стране на банк напала
женщина
с пакетом молока в руке, выдав его за оружие. Еще
где-то, прямо на улице,

где некто рисует свою личную пешеходную полосу,
три дня стоит вертикально гроб
с умершим парнем, согласно его последнему
желанию.

Китенок следует за кораблем, принимая его за маму —
китиху, и умирает
через несколько дней от истощения. Верующие
непальцы
ищут девочку в возрасте от двух до четырех лет
с характером львицы, телом, гибким, как инжирное
дерево
и голосом утки: живую инкарнацию богини Кумари.
Избранная однажды, она носит красные и золотые
одежды

и может делать все, что захочет, пока не начнет
кровоточить, ну а я —

охранник, не пропускающий этот момент, я обладаю
голосом утки,
характером льва; ем инжир, когда захочу.
Смотрю на все экраны одновременно и вижу: где-то в
мире
выпустил художник на воду резиновую уточку,
величиною с дом...

На *скамейках*

Их можно увидеть повсеместно:
слегка помятых мужчин с расстроенными лицами.
Они сидят на парковых скамейках и чего-то ждут.
Они ждут
когда их сыновья
встанут когда-нибудь на ноги.

Они ждут
когда их дочери
не будут выходить замуж за пролетариев.

Они ждут
когда их жены
перестанут увядать в их постелях.

Они курят
и содрогаются: пепел обильно падает
на ширинки их брюк.

Материнские уроки

Мальчик мой, любовь — это бесполезный предмет.
Она не обходит стороной фотомоделей
но не замечает обычных, некрасивых людей
таких как мы. Влюбившись
ты не становишься лучше.
Ну смотришь одну неделю не так грустно.
Короче, эта гора проблем —
не для твоей спины...
Оставайся-ка лучше дома. У нас уютно,
и давай-ка сыграем в скрэббл.

Составление, перевод с немецкого Наталии Васильевой

Наталия Васильева

“Об чем бишь *нечто*? — обо всем”

Некогда для произведений необычного, пограничного жанра — то ли философские раздумья поэта, то ли свободные фантазии философа — бытовало в русской литературе меткое определение “нечто”: “Нечто о поэте и поэзии”, “Нечто о науках, искусствах и просвещении”, “Нечто о вранье” и т. д. Собрание подобных “нечто”, только написанных современными немецкими авторами, и предлагается вниманию читателей.

Помимо своеобразной “гибридности” формы, свободно сочетающей публицистический памфлет с непринужденной беседой, философский трактат с визионерским пророчеством, гимн поэзии со строгой словарной статьей, отличает “нечто” еще и поразительная тематическая всеядность. Эти небольшие по объему тексты вмещают и проблемы глобального масштаба — о будущем Европейского союза и западной демократии, о судьбе планеты Земля, о роли массмедиа в процессе “всеобщего оболванивания”, и вопросы более камерные — о тоске бездетности, о трудности восприятия музыки XX века, о сути писательского дела и даже о преимуществах недоговаривания.

Словом, как в известной реплике грибоедовского Репетилова: “Об чем бишь *нечто?* — обо всем”. С единственным уточнением — обо всем, что особо волнует сегодня писателя. А так как большинство из представленных здесь авторов являются “ведущими интеллектуалами Германии”, хотя бы уже по данным рейтинга журнала “Цицерон”, то можно сказать и расширительно — обо всем, что особо волнует сегодня Германию, по крайней мере, тех ее жителей, кто готов этими вопросами озаботиться и отозваться на “тревожный набат”, что все отчетливее определяет тон общественной дискуссии в стране.

Но ценна в эссе не только его злободневность, а в первую очередь — новый, смелый, неожиданный взгляд на ту или иную проблему. Выработать такую позицию и сохранить при этом предельную верность себе — не многим по плечу, но именно такую сверхзадачу ставит перед автором этот самый свободный жанр. Уже его родоначальник Мишель Монтень говорил: “Эссе — это я сам”. Поэтому публикуемые здесь произведения можно читать и как мини-автопортреты таких корифеев немецкой литературы, как Ханс Магнус Энценсбергер и Мартин Вальзер, или же поэтов и прозаиков младшего

© Наталия Васильева. Составление, перевод и вступление, 2015

поколения — Луца Зайлера и Ханса-Ульриха Трайхеля, а также автора философских бестселлеров Петера Слотердайка и известных своим провокационным стилем культурологов Маркуса Меца и Георга Зеслена.

Непринужденное соседство в данной подборке поэтов, философа и публицистов тоже показательно, ведь именно на пересечении науки, публицистики и художественной литературы рождается эта особая порода текстов. И хотя тяготение к одному из этих трех полюсов в каждом тексте безусловно ощущается, но легко уловим и их общий художественный знаменатель — яркость, образность, нестандартность мысли. Неслучайно эссе называют еще и "старшим братом афоризма".

И как любой афоризм, эссе всегда предлагает читателю "пол- или полторы правды", не претендуя на неоспоримость, а скорее бросая вызов, приглашая читателя к диалогу, к дальнейшему самостоятельному раздумью.

"Эссеист, — утверждает признанный мастер этого жанра Х. М. Энценсбергер, — не стремится быть непременно правым. Едва поставив точку, он тут же уступает место другим — в надежде, что они подхватят его идею, продолжат его тему, оспорят, подправят или попросту разворуют его мысли".

Ханс Магнус Энценсбергер

Наш ласковый монстр Брюссель, или Установление опеки над Европой

Главы из книги

Хвала & слава

Хорошие новости — вещь редкая, поэтому разумнее будет начать с них, хотя любой уважающий себя репортер предпочел бы, разумеется, плохие.

Прежде всего о самом главном: немного наберется в истории нашего континента десятилетий, в которые бы царил мир. Однако с 1945 года между странами, вступившими в Европейский союз, дело ни разу больше не доходило до вооруженного конфликта. Жизнь почти целого поколения без войны! И этой аномалией континент наш вправе гордиться.

© Suhrkamp Verlag Berlin 2011

Но и целый ряд других отрадных перемен, не связанных напрямую с вопросами жизни и смерти, заслуживает упоминания. Все эти завоевания стали сегодня настолько естественны, что мы почти не придаем им значения. Лица моложе шестидесяти не могут, разумеется, помнить, с какими трудностями после Второй мировой войны было сопряжено любое посещение соседнего государства. Без затяжных бюрократических боев нельзя было и помыслить ни об одной зарубежной поездке. Желающему выехать за пределы своей страны требовалось предоставить официально заверенное приглашение, заполнить в трех экземплярах визовые анкеты на временное пребывание, преодолеть замысловатые предписания по ввозу и вывозу валюты и дюжину других препятствий. Если вы хотели заказать книгу из-за границы, не избежать было длительной процедуры в Главном таможенном управлении. Чтобы получить почтовый перевод из Франции или оплатить счет в Испании, приходилось заверять соответствующую квитанцию кучей гербовых печатей, словно речь шла о вопросах государственной важности. От всего этого остались теперь лишь потускневшие воспоминания. Имея на руках паспорт одной из стран — членов Евросоюза, вы можете жить, где вам заблагорассудится, не обивая при этом порогов иммиграционных служб для получения вида на жительство или разрешения на работу. Стало даже возможным, за редким исключением, пользоваться где угодно любым электроприбором, не возя с собой в чемодане арсенал разнообразных адаптеров для розеток. Также существенно снизились — хоть и к великому огорчению обменных пунктов — комиссионные сборы.

Одним словом, процесс европейского единения бесспорно изменил нашу жизнь к лучшему. В экономическом плане он долгое время шел настолько успешно, что все возможные и невозможные кандидаты и по сей день стучат к нам в ворота и просят впустить.

Кроме того, нельзя не испытывать благодарности к нашим брюссельским заступникам за ту отвагу, с которой они не раз выступали против картелей, олигополий, протекционистских уловок и незаконных субсидий. Вы только вспомните эти безбожные тарифы на международные переговоры! А каверзные подпункты мелким штифтом в договорах, на которые вечно попадаются бесхитростные покупатели! Или трогательная забота о некурящих! А борьба с грабительскими поборами в банкоматах! Евросоюз зорко следит, чтобы во все вопросы была наконец внесена ясность.

Нелегкая, надо сказать, обязанность и не столь уж самоочевидная. Ведь национальные правительства не раз и весьма

охотно шли на поводу у мировых гигантов фармацевтического, энергетического, финансового, пищевого, телекоммуникационного бизнеса. А это противники с колоссальными финансовыми ресурсами. Ради извлечения сверхприбыли они готовы пустить в ход любые средства, грозят потерей рабочих мест, а в деле укрывательства от налогов проявляют чудеса изобретательности. Ни одна, отдельно взятая, страна не в состоянии дать им сегодня надлежащий отпор, противостоять их шантажу и давлению, не говоря уже о том, чтобы при необходимости даже привлечь к ответственности.

Весьма похвальны усилия Евросоюза и в отношении других проблем, разрешимых только сообща. Долгие годы пытается он, хоть и без особого успеха, положить конец той нелепейшей лоскутной мозаике в воздушном пространстве Европы, которая превращает управление полетами в рискованную игру-головоломку. Но за сохранение тридцати шести различных служб, это пространство контролирующих — и каждая, разумеется, со своими методами и своими техническими средствами, — неустанно, с крысиной ожесточенностью, бьются военные и гражданские организации этих стран. Подобный способ управления воздушным движением не только обходится более чем в три миллиарда евро в год, но и пожирает уйму горючего и приводит к бесконечным пробкам в воздухе и задержкам рейсов.

Фатальными последствиями оборачиваются и вечные споры по поводу квот на вылов рыбы или постоянно откладываемый в долгий ящик вопрос о захоронении радиоактивных отходов — все это проблемы, решать которые в одиночку ни одна из стран, членов Евросоюза, по-видимому, или не может или не желает. Членство в Евросоюзе сулит, однако, преимущества и совсем другого рода. Даже в самых отдаленных уголках Европы обязательно наткнешься на вывеску, гласящую, что строительство данного объекта — будь то автомагистраль, мост, административное здание или научный центр — осуществляется при поддержке ЕС. Хотя самый значительный куш выпадает все-таки на долю аграрного сектора. С наибольшей щедростью из крупнейшего бюджетного котла одариваются именно крупнейшие предприятия: на нужды сельского хозяйства отводится ежегодно около пятидесяти девяти миллиардов евро. Второе место среди рекордсменов по расходам — с бюджетом в сорок девять миллиардов — занимает поддержка регионов, насчитывающая четыреста пятьдесят пять различных проектов. (Счетная палата умудрилась-таки подмешать ложку дегтя в этот медово-приторный елей, по ее данным только за последнее время тридцать шесть процентов этих проектов было субсидировано без надлежащих оснований.)

И все-таки нельзя не отдать должное нашим брюссельским заступникам: трудятся они в целом во благо нам. Надлежит ли тогда воздать им хвалу за все замечательные достижения, которых они, несмотря на ревностно охраняемые "национальные интересы", добились во многих областях? Особой надобности в том нет, поскольку ведомства Евросоюза сами охотно берут на себя этот труд.

Причуды Еврокомиссии, а также ее критиков

Популярными в народе наших брюссельских избранников не назовешь. Кого ни возьми — будь то Совет Министров ЕС или Еврокомиссия, Европейский суд или самый обычный референт на самой низкой тарифной ставке, — авторитет их оставляет желать лучшего. Но чем же вызвана такая неблагодарность? Чем объясняется эта нелюбовь? Отчего большинству обитателей нашего континента непременно надо ставить палки в колеса своим опекунам? Число подобных приверед составляет уже чуть ли не несколько сот миллионов. В Брюсселе только недоуменно разводят руками и не находят ответа.

Нельзя не отметить, что с особым пылом эти бузотеры набрасываются на вещи скорее второстепенные. Их больше беспокоят внешние проявления недуга, нежели его глубинные причины. Такой болезненной темой, активно к тому же подогреваемой прессой, является якобы сверхщедрое вознаграждение госслужащих Евросоюза. Вновь и вновь дотошно перечисляются все предоставляемые им привилегии и льготы. Оклады генеральных директоров ЕС, как выясняется, почти вдвое превосходят зарплаты госслужащих на тех же должностях в Германии. Десять процентов их жалованья не подлежит налогообложению, как и командировочные расходы, затраты на хозяйственные нужды, на содержание и воспитание детей. Тем, кто трудится за пределами своей страны, полагается также надбавка к окладу в размере шестнадцати процентов. Неплохо обстоят дела и с пенсионным обеспечением. По достижении шестидесяти трех лет любой рядовой чиновник ЕС имеет право на заслуженный отдых, а уже с пятидесяти пяти может выйти на пенсию и досрочно. По словам одного инсайдера из Еврокомиссии, обласканным такими льготами живется настолько хорошо, что "заставить их покинуть Брюссель можно только под дулом пистолета".

Сильно, разумеется, сказано, может, даже чересчур сильно. Отклик подобные выпады находят в первую очередь в сердцах

тех, кто в принципе к любой правящей верхушке не испытывает ничего, кроме затаенной злобы, зародившейся далеко не вчера. Зиждется она на многовековом опыте и готова в любой момент выплеснуться наружу. Но не только межгосударственные институты становятся мишенью такой критики. Стоит в какой-нибудь стране пройти слуху о готовящемся повышении окладов местных парламентариев или министерских работников, как сразу раздаются те же завистливые, возмущенные крики. Ни один народный трибун, если речь, конечно, не идет о его собственном окладе, не станет вспоминать о том, что служащие любой администрации, от референта до главы правительства, везде оплачиваются на порядок хуже, чем какой-нибудь коммерческий директор или инвестиционный брокер, не говоря уже о таких всенародных любимцах, как эстрадные певицы, футболисты или телеведущие, которым никто и не подумает ставить в упрек, что они зарабатывают миллионы.

Во сколько же на самом деле обходятся нам наши брюссельские, страсбургские и люксембургские труженики? Сказать, вообще-то, сложно. Хотя бы уже потому, что точное их число не назовешь. В печати цифра эта колеблется от пятнадцати до сорока тысяч. Происходит это, видимо, потому, что госслужащих и других сотрудников принято там валить в одну кучу. Правильнее будет, наверно, опереться на годовой отчет Европейской счетной палаты. По ее данным, на административные расходы отводится шесть процентов общегодового бюджета ЕС. Получается — 8,2 миллиарда евро. При этом люди, сведущие не только в делах Брюсселя, но и Австрии, утверждают, что управление Веной стоит ничуть не меньше. Ежегодно на австрийскую столицу тратится 11,3 миллиарда евро, около десяти процентов от общего бюджета страны (по данным на 2009 год). Сумма эта на первый взгляд может показаться фантастической, если не учитывать, сколько всяких забот, совершенно не обременяющих ЕС, ложится на плечи большого города, как то: уборка мусора, службы социального обеспечения и многие другие бюджетные столовники. Возможно, дело тут в каверзах статистики или, и того хуже, в самой природе вещей, однако бюджетные расходы всегда были и будут для налогоплательщиков книгой за семью печатями. И это, между прочим, касается не только города Вены, но и учреждений Европейского союза.

Учитывая данные обстоятельства, следовало бы, вместо того чтобы постоянно попрекать наших брюссельских чиновников, взять их под защиту. Небольшое, согласитесь, удовольствие — шестьдесят часов в неделю пребывать в обстановке недоброжелательства, межведомственных конфликтов, вза-

имных блокад и интриг, не говоря уж о неизбежной утрате чувства реальности, неминуемо грозящей любой политической касте, а в случае географической оторванности от прочих обитателей континента только еще увеличивающейся. Мелочно и недостойно требовать, чтобы подобное незавидное существование к тому же и плохо оплачивалось.

Другое обвинение, которое часто выдвигают в адрес Брюсселя, гораздо весомее. Речь идет о пристрастии Еврокомиссии вмешиваться в повседневную жизнь европейцев. Эта неуемная мания регулирования, доводящая до бешенства многих простых граждан, легко, однако, объяснима. Как некогда заметил Роберт Конквест[1], любая бюрократическая структура ведет себя так, словно ею управляют тайные агенты ее противников. Факт подобного самосаботажа прискорбен, но отнюдь не случаен, поскольку расширение полномочий всегда сулит ведомству еще больше власти, денег и штатных единиц. Лучшего объяснения для многих инициатив наших европейских попечителей пока никто не предложил.

Уже сегодня, опираясь на Лиссабонский договор, Европейский союз активно прибирает к рукам все, что касается европейского внутреннего рынка, а кроме того, ключевые направления экономической, здравоохранительной, промышленной, региональной, образовательной, пенсионной и молодежной политики. Охрана окружающей среды, климат, энергоснабжение, наука и инновации, защита прав потребителей, вопросы миграции и предоставления убежища, гражданский процессуальный кодекс, уголовное право, внутренняя безопасность — обо всем-то они пекутся, до всего-то им есть дело. Предусмотрительно позаботились они и о пресловутой "гибкой формулировке", позволяющей Евросоюзу при необходимости самому расширять собственные полномочия.

Бесчисленные примеры говорят сами за себя. Так, работающим с отбойным молотком заботливо предписывается не превышать "предельно допустимого уровня вибрации рук, плеч и туловища". Правила протезирования зубов тоже находятся в ведении Еврокомиссии. По ее же воле на упаковках сыра следует специально указывать, если он вызревал в рассоле. Широкую известность получила директива ЕС по огурцам (1677/88), постановлявшая, что данный овощ может быть пущен в продажу под этикеткой "высший сорт" только в том случае, если его кривизна не превышает десяти миллиметров на

1. Английский историк, политолог и писатель (1917–2015) — автор книги "Большой террор". (*Здесь и далее, кроме особо оговоренного случая, – прим. перев.*)

каждые десять сантиметров длины. Многие фермерские союзы из стран с преобладающей долей сельскохозяйственного производства не просто приветствовали такие ограничения, но и горячо их впоследствии отстаивали. Только спустя двадцать лет Еврокомиссия выразила-таки готовность их отменить, как и остальные двадцать пять из тридцати шести аналогичных стандартов, изобретенных ею для фасоли, цветной капусты и дынь. Что сталось с регламентом под номером 2396/2001, сказать не беремся. В нем постановлялось, что "у лука-порея первого сорта не менее одной трети от общей длины или половина утолщенного стебля должна быть белой или зеленовато-белой окраски", за исключением ранних сортов — в этом случае "белая или зеленовато-белая часть должна составлять не менее одной четверти от общей длины или треть утолщенного стебля".

И это не единственный норматив, будущее которого весьма сомнительно. Другие достопримечательные резолюции, такие как регламент по бананам или маркетинговые нормы по реализации яблок, тоже находятся под угрозой отмены. Что же касается инструкции в отношении минимального размера презервативов, согласно которой "длина их должна составлять не менее 160 мм, а ширина отклоняться от номинальной ширины, установленной производителем, не более чем на 2 мм", то в данном случае Еврокомиссия — предположительно после долгих и жарких прений — пошла-таки на уступки. Во всяком случае, длина в шестнадцать сантиметров не является больше строго обязательной, хотя и настоятельно рекомендуется. Войну Еврокомиссии против сыра из сырого молока или традиционного франкфуртского сидра, издавна вызывавших у нее большое беспокойство, можно считать окончательно проигранной, поскольку строптивые французы, равно как и гессенцы, не поленились на этот раз выйти на улицы с шумными акциями протеста в защиту своего сыра и своего сидра. Однако никаких признаков того, что у высокого ведомства закрались хоть малейшие сомнения в своем всевластии, не наблюдается. Делать из таких незначительных поражений далекоидущие выводы не в его правилах. Производство новых инструкций продолжает идти полным ходом.

Ярким примером такого неуемного рвения служит и "Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 244/2009 о применении Директивы 2005/32/ЕС в отношении нормативных требований к энергосберегающим бытовым лампам с ненаправленным светоизлучением". В нем на четырнадцати страницах убористого шрифта излагается, как европейцам надлежит освещать их личные жилища. Трудно сказать,

чего тут больше: обостренного чувства ответственности? прямого издевательства? глупости? произвола? или слегка отдающего садизмом пристрастия командовать и запрещать? Этого вам не скажет никто, даже те, кто все это сочиняет.

Ну а кто придумал подкручивать стрелки часов? Брюссель и тут приложил свою руку. По его милости и в соответствии с Директивой Европарламента и Совета Европы под номером 2000/84 несколько сотен миллионов людей дважды в год вынуждены подкручивать и переставлять стрелки всех имеющихся у них наручных, карманных, настенных часов, в результате чего биоритмы европейцев пару недель дают сбои. Многочисленные исследования показали, что ни о какой экономии электроэнергии, будто бы достигаемой таким образом, говорить не приходится.

Кроме того, начиная с 2013 года все тем же обитателям континента, вынужденным в угоду далекому Брюсселю переводить стрелки часов и заменять в ночниках лампочки, придется также указывать тридцатитрехзначные, а то и сорокадвухзначные номера банковских счетов, если им понадобится получить денежный перевод – даже не из-за рубежа, а просто в своей стране. Одна графа при этом отводится под одиннадцатизначный банковский идентификационный код, так называемый BIC, другая – под международный номер банковского счета, сокращенно IBAN. Он, в свою очередь, представляет собой комбинацию из двадцати двух вплоть до тридцати четырех цифр и букв. В Италии этот номер насчитывает двадцать семь знаков, а на Мальте – тридцать один, так что там в распоряжении 414 000 мальтийцев имеются 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 различных номеров банковских счетов, которые с помощью дополнительных 100 000 000 000 различных BIC могут быть еще существенно уточнены и индивидуализированы. Это новаторское изобретение верховного ведомства, вызвавшее уже немало протестов, было зарегистрировано в реестре административных регламентов под номером 924/2009.

Не совсем, правда, прояснен пока вопрос, какие из личных вещей авиапассажиров – маникюрные ножницы, пряжки ремней, флакончики с духами, ботинки или штопоры – следует при досмотре в аэропорту расценивать как потенциальное смертоносное оружие. Четких европейских стандартов на этот счет пока не наблюдается, что хорошо знакомо всем, кто более-менее регулярно летает. Но соответствующие инструкции, без сомнения, не заставят себя ждать.

При столь неутомимом вмешательстве в нашу повседневную жизнь невозделанным остается лишь одно поле. Это куль-

тура. К ней Евросоюз никогда еще не проявлял большого интереса. Она отпугивает уже тем, что с трудом поддается стандартизации. Совершенно закономерно, что это подразделение было вверено Еврокомиссией заботам своего самого нетребовательного и непритязательного члена. Достаточно взглянуть на бюджет, который выделяется Евросоюзом на эту область, чтобы все сразу стало ясно. Его расходы не превышают пятидесяти четырех миллионов евро, что составляет несколько десятых долей процента от общего бюджета, а в пересчете на каждого гражданина Евросоюза — по одиннадцать центов в год. Для сравнения: только городское управление Мюнхена позволяет себе роскошь ежегодно тратить на культуру сто шестьдесят один миллион евро. Можно, конечно, клеймить и осуждать подобное мелочное скряжничество. Но это будет недальновидно. Чем меньше брюссельские ведомства станут интересоваться культурой, тем лучше. Все, кому небезразлична эта сторона человеческого существования, будь то творцы или публика, оказываются благодаря такому наплевательскому отношению избавлены от высокомерного наставничества, не дающего продохнуть людям, занятым в других отраслях. Не хватало нам еще директив по поводу того, как в Европе надлежит рисовать, танцевать и писать.

Во всех же других областях наше верховное ведомство следует давно проторенным путем. Вначале в каком-нибудь комитете озвучиваются предложения и рекомендации, сводящиеся, в конечном счете, к очередному расширению его полномочий. В сложной процедуре прохождения через многие инстанции замыслы эти постепенно крепнут, пока не обретают форму новоиспеченной директивы, регламента или законодательного акта. Особое внимание при этом уделяется тому, чтобы обсуждение не вызывало вовне слишком много шума. Только когда запоздалый гул общественного недовольства начинает достигать критической черты, чиновничий аппарат, проявляя тактическую мудрость, идет-таки на попятную. Но прежде чем какое-нибудь бессмысленное постановление окажется в корзине для мусора, могут пройти годы.

Чем нелепее постановление, тем большей популярностью пользуется оно в прессе. Правда, если присмотреться повнимательнее, то обнаружится, что многие из этих абсурдных предписаний, сильно дискредитирующих деятельность брюссельского чиновничества, приняты были по наущенью и под тайным давлением отдельных национальных корпораций. Так, за стандартизацию размеров тракторных сидений по всему континенту боролось, как выясняется, именно баварское федеральное правительство. И это далеко не единичный слу-

чай. Постановление Еврокомиссии в отношении электрических лампочек было принято вовсе не из соображений охраны окружающей среды, а в угоду производителям осветительной техники. Так что мания регулирования процветает не только в коридорах Еврокомиссии, но и во многих виллах и кабинетах лоббистов. Число последних оценивается предположительно в пятнадцать тысяч, и, по мнению наблюдателей, влияние их на Еврокомиссию значительно превышает депутатское.

Но довольно обо всех этих изрядно надоевших, но никак не угрожающих нашим жизням издевках и самоуправствах, хоть они и омрачают радужный образ Европейского союза! Все это только внешние признаки его более серьезного, что называется, "врожденного порока".

Разговор мсье N. N. из Еврокомиссии и автора в брюссельской "Фатгории дель къянти", что на улице Архимеда

N. N. Вы, как я слышал, не особенно благоволите нашему ведомству.

Автор. Благодарю вас, что вы нашли время со мной побеседовать. Я знаю, вы очень занятой человек.

N. N. Да, но очень любопытно узнать ваше мнение. Рекомендую непременно попробовать тушеную телятину по-тоскански, ее здесь превосходно готовят. Между прочим, мне говорили, что вы сравниваете Евросоюз с химерой. Не совсем понимаю, как вы пришли к такому выводу. Если не ошибаюсь, химерой в Древней Греции называли огнедышащее чудовище, которому в наказание за его опустошительные набеги заливают в глотку раскаленный свинец. Так, по крайней мере, говорится в "Илиаде". Но усматривать тут какую-то параллель с Евросоюзом кажется мне, по меньшей мере, странным.

А. Вы, как я вижу, прекрасно разбираетесь в античной мифологии. Не ожидал таких познаний в коридорах Берлемона[1].

N. N. В мое время все это еще изучалось в школе.

А. А я имел в виду, скорее, что химера — гибрид: спереди лев, сзади змея, а посередине — туловище козы. Врачи и генетики тоже широко пользуются этим термином. Хотя и это было для меня не самое важное. Я тут специально полистал ваших французских классиков, поскольку предвидел, что сравнение

1. Здание в центре Брюсселя, в котором заседает Еврокомиссия.

мое вас не убедит. У Корнеля, например, встречается выражение: “brillantes chimères”, у Руссо — “tendres chimères”. Речь при этом идет о всевозможных красивых фантазиях. В немецком это слово тоже не обязательно означает чудовище, а скорее — мечту или прекрасную утопию, но, надо сказать, подразумевается тут чаще всего нечто несбыточное и авантюрное, некий мираж или даже бредовая выдумка. И это уже гораздо ближе к делу. Ну а что до вулканического характера вашей ликийской *Химеры*, то я всегда особо подчеркивал мягкое и ненасильственное обхождение ЕС со своими подопечными. Если на этих землях когда-то и полыхало пламя пожарищ, то времена те давно прошли. И от зияющих поблизости кратеров веет лишь холодом и сыростью. Это ведь обычные строительные котлованы для новых административных зданий.

N. N. Явное подтверждение того, что мы находимся в самом начале пути. Евросоюз еще очень молод. Шестьдесят лет, с точки зрения истории, — всего ничего, и то, о чем вы так сокрушаетесь, пусть порой и оправданно, — просто ошибки молодости или, если хотите, трудности подросткового периода.

A. Или же признаки развивающегося атеросклероза.

N. N. Вы к нам несправедливы. Во всем всегда виноват Брюссель. Может, у вас просто какая-то аллергия на инстанции?

A. Не исключаю. Но излечиваться от этой болезненной реакции, честно говоря, не собираюсь.

N. N. Но почему тогда вы нападаете только на Евросоюз? Почему обходите молчанием, например, Рим, Будапешт или Дублин? Эти национальные правительства ничем не лучше! Бюрократия и там цветет пышным цветом! Узколобия и канцелярской тарабарщины тоже предостаточно. Я уж не говорю об интригах и коррупции, с которыми буквально на каждом шагу сталкиваешься. А лоббисты, так они, с позволения сказать, как навозные мухи, роятся буквально повсюду, и у вас в стране, кстати, тоже. Приглядитесь-ка повнимательнее к вашей налоговой системе, к этим нелепейшим реформам в сфере здравоохранения и образования. И все, в чем вы нас упрекаете, вы без труда обнаружите в тех двадцати семи национальных копиях, имеющихся в арсенале нашего континента.

A. Но тех, кто нами правит, мы, по крайней мере, сами выбрали, и если не откажемся от наших конституций, то всегда сможем от них и избавиться. А с ведомством, где служите вы, дело обстоит иначе.

N. N. Понимаю, куда вы клоните: все тот же избитый аргумент — “дефицит демократии”, “врожденный порок”... Ну что

на это скажешь: жаль, конечно, расставаться с демократией. Но ведь тот австриец, которого вы так часто цитируете...

A. Его зовут Роберт Менассе[1]...

N. N. Он-то не побоялся открыто сказать, что время требует новых решений. А вы все никак не хотите этого признать. Все цепляетесь за разные авторитетные имена — от Этьена Ла-Боэти[2] до Ханны Арендт[3]. А ведь Жан Монне, один из наших отцов-основателей, о ком вы тоже отзываетесь довольно сочувственно, уже давным-давно предсказал неизбежное увядание классической демократии...

A. И сам этому во многом способствовал...

N. N. Он просто не скрывал того, о чем и так все догадывались, но, будучи человеком осмотрительным, не афишировал публично своих взглядов. В широких кругах его идеи, разумеется, не пользовались большой популярностью.

A. А я записываться в поклонники вашей химеры не собираюсь. Я достаточно пожил и на собственном опыте знаю, что такое диктатура. И могу вас заверить, что я далеко не единственный. Когда на карту ставится судьба демократии, мне всегда на ум приходит известное изречение: "Кто не борется, уже проиграл".

N. N. Да, были, помнится, и такие лозунги. Но согласитесь, особых протестов пока что-то не слышно. Отдаленный гул недовольства доносится и до моего кабинета, но ведь от этого Евросоюз не рухнет.

A. "Будем надеяться на лучшее, поскольку хуже-то вроде и некуда", как говорил известный мюнхенский мудрец Карл Валентин[4]. Евросоюз явно трещит по швам.

N. N. Не буду спорить. Но это же не значит, что пора трубить о закате Европы. Предоставим это журналистам и спекулянтам. Им-то оно на руку, одним, чтобы взвинчивать тиражи, другим — ставки на биржах.

A. Согласен. Апокалипсис до сих пор всегда подводил своих предсказателей.

1. Роберт Менассе (р. 1954) — австрийский писатель, автор книги "Европейский вестник. Гражданский гнев и европейский мир, или Почему на место дареной демократии должна прийти демократия завоеванная" (2012).
2. Этьен Ла-Боэти (1530–1563) — французский писатель и философ, автор политического трактата "Рассуждение о добровольном рабстве".
3. Ханна Арендт (1906–1975) — немецко-американский философ, политолог и историк, основоположник теории тоталитаризма.
4. Карл Валентин (1882–1948) — "немецкий Чаплин", известный комик, артист кабаре, кинорежиссер, писатель.

N. N. И какой же вывод следует из всей вашей критики, заслуженной или нет — другой вопрос?

A. В моих предложениях вы вряд ли нуждаетесь. В вашем распоряжении целая армия экспертов и советчиков, я же себя ни к тем ни к другим не причисляю.

N. N. А вы полагаете, на подобные встречи я хожу исключительно ради удовольствия? Я ведь тем и занимаюсь, что выпытываю у своих собеседников всякие разумные советы. Так что сделайте одолжение, уж поделитесь вашими соображениями! Что конкретно вы предлагаете?

A. Вы припираете меня к стенке! Но извольте, я отвечу вопросом на вопрос: почему для поборников Евросоюза существует только один путь — вперед, напролом, чего бы это ни стоило? Кто сказал, что беспрерывный рост есть неоспоримый Закон Природы? Разве все, что до сих пор сделано, так уж необратимо?

N. N. Что вы хотите этим сказать?

A. Клаузевиц[1], умнейший военный стратег, расценивал отступление как самую сложную из всех боевых операций. Но оказавшись в тупике и даже не делая попыток повернуть назад, не обрекаешь ли ты себя на верную гибель?

N. N. Вы, как я понимаю, рекомендуете переходить к жестким мерам, к ампутации, так сказать, пораженных конечностей?

A. Я бы предложил для начала — диету. Ваши комиссары по здравоохранению любят попрекать европейцев за то, что те постоянно толстеют, — с этим якобы надлежит бороться самым решительным образом. А что, если Евросоюзу и себе прописать подобные оздоровительные меры? Общественные структуры тоже склонны к ожирению. И если за этим не следить, их может быстро разнести вширь. А похудеть вашей организации не помешало бы. Но для этого, как вы догадываетесь, потребуются героические усилия. Сбросить лишние фунты еще никому не удавалось легко. А тут — этот колоссальный аппарат! Специальные социальные льготы госслужащих! Постоянное наращивание штатных единиц! Но, превращая рост в самоцель, не ставите ли вы под угрозу ваш же собственный проект?

N. N. Уж не считаете ли вы, что Евросоюзу пора самораспуститься?

1. Карл Клаузевиц (1780–1831) — прусский генерал, военный теоретик и историк, в 1812 г. служил в русской армии и участвовал в Бородинском сражении.

A. Разве вы не замечаете, сколь осмотрителен я в отношении *химер*, как мало надежд возлагаю на всякого рода радикальные решения? Мое предложение покажется вам более чем скромным, но я бы посоветовал вернуться к тем идеям, которые выдвигались десятилетия назад: "Европа разных скоростей", "Европа переменной конфигурации", "поэтапная интеграция", "Европа *а-ля карт*".

N. N. Но вы же не хуже меня знаете, что все это давно осуществляется на практике. Возьмите, к примеру, Шенгенскую конвенцию или соглашение по созданию еврозоны. Эти договоренности как раз и опираются на те самые модели.

A. Но хардлайнерам-то этого мало, скрипя зубами мирятся они с такими половинчатыми мерами. Им ведь представляется, что из тупика можно выйти, прошибая стену лбом. Но так только голову в кровь разобьешь.

N. N. По-моему, вы напрасно так драматизируете.

A. А вы прислушайтесь, что об этом говорят в Европе, и вам станет ясно, что меры против грозящего склероза нужно принимать безотлагательно.

N. N. При всем моем уважении, зачем же так пессимистично?

A. Вовсе нет! Скорее даже наоборот! Я просто целиком полагаюсь на реальную Европу, от которой Евросоюз, увы, отдаляется все дальше и дальше. Что же касается реальной Европы — тут у меня нет повода отчаиваться.

N. N. Реальная Европа? А это еще что такое? Не очень понимаю, что вы хотите этим сказать.

A. А разве вам не знакомо другое похожее размежевание, к которому, хоть и поневоле, нам тоже пришлось привыкать? Я имею в виду реальную экономику и ее химерического двойника — финансовые рынки. Это же происходит сейчас и в европейской политике. С одной стороны — жизненное пространство граждан европейского сообщества, с другой — надежно изолированный от него биотоп руководящих ведомств. Разве вы не видите, что это далеко не одно и то же?

N. N. А нельзя ли чуть поконкретнее?

A. Извольте. Вот этот маленький черный блокнот, который я всегда ношу с собой в кармане. Обычная записная книжка. Но по содержанию этой заурядной вещицы, которая имеется в каждом доме, легко можно судить о подлинном уровне европейской интеграции. Многие, разумеется, не пользуются больше подобными книжицами. Их заменили мобильные телефоны, умеющие сегодня буквально все. Но так или иначе, у одного всегда под рукой номер знакомого штукатура-поляка, на случай, если в гостиной понадобится сделать

ремонт, другой под безобидной буквой А прячет телефон тайной возлюбленной, Алисы Ц. из Амстердама, третий в любой момент может связаться с хозяином маленькой гостиницы где-нибудь на датском побережье. Чего только не найдешь в этих книжицах, разбросанных по всей Европе: бывшие мужья, домики на лето, зарубежные партнеры, внуки, банковские счета, репетиторы и частные ученики, интернет-сайты, коллекционеры-нумизматы, виноделы, уборщицы, автомеханики, зубные врачи, шабашники, которые по первому же зову...

N. N. Стойте! Не продолжайте! Я понял, что вы хотите сказать. Но вы забываете, что без Европейского союза ничего бы этого не было.

A. Да, процесс этот он, бесспорно, ускорил и облегчил. Но что касается интеграции Европы, мы давно уже не нуждаемся ни в каких административных институтах. Социальные сети связывают нас прочнее любых соглашений, над которыми вы так усердно трудитесь здесь, в Брюсселе. Миллионы нитей создают такую прочную взаимозависимость, что она уже не подвластна вашему контролю, и вы не в силах ее ни упрочить, ни разорвать.

N. N. Да этого никто и не собирается делать.

A. Административные институты, стремящиеся унифицировать Европу и колонизировать наше жизненное пространство, приносят больше вреда, чем пользы. Уж слишком рьяно рвутся они нормировать нашу жизнь. Единство хорошо, а многообразие лучше. Пожалуйста, избавьте нас от вашей опеки и никому не нужных директив.

N. N. Это, я понимаю, ваше личное мнение?

A. Отнюдь. Позвольте привести в подтверждение одно авторитетное свидетельство...

N. N. Сделайте одолжение!

A. Так вот, Одо Марквард, на редкость здравомыслящий немецкий философ, считает, что если до сих пор мир постоянно старались изменить, то теперь дело заключается в том, чтобы его пощадить.

N. N. Классики марксизма, как помнится, учили другому.

A. Не спорю! Однако вы проявили большое терпение, выслушивая мои тирады...

N. N. Без терпения в моей профессии не обойтись.

A. Но в одном все-таки, надеюсь, мы сможем с вами сойтись?

N. N. И в чем же?

A. Даже если Брюссель и считается центром Европы, Европа — это далеко не Брюссель.

N. N. Кому вы это говорите?! На следующей неделе я наконец-то еду домой, в свою родную глубинку, где родился и вырос. И там ждет меня та самая реальная Европа, на которую вы так уповаете. И знаете, что это за люди? Твердолобые упрямцы, все до единого.

A. А вы?

N. N. Ну и я от них ничем не отличаюсь. Что скажете о мясе по-тосканski?

A. Благодарю, мсье. Превосходное блюдо.

Петер Слотердайк
Сколь безмерна безмерность Земли?

I

Насколько широко мы способны мыслить?

Бакминстер Фуллер[1]

И метафоры имеют свою судьбу. В опубликованном в 1969 году легендарном "Руководстве по управлению космическим кораблем Земля" Бакминстер Фуллер высказал смелую, пусть и утопическую, мысль, что в современном обществе пришла пора передать бразды правления из рук политиков и финансистов в руки дизайнеров, инженеров и художников. Мысль эта основывалась на убеждении, что представители первой группы, как и все специалисты узкого профиля, смотрят на действительность сквозь узкую щель, позволяющую им видеть только один ее срез. В то время как последним — уже в силу их профессии — присущ комплексный подход и целостный взгляд на мир.

Можно было подумать, что известный романтический девиз "Вся власть фантазии!"[2], перелетев через Атлантику, был подхвачен на другом берегу как призыв: "Вся власть дизайну!".

© Suhrkamp Verlag Berlin 2011

1. Ричард Бакминстер Фуллер (1895–1983) — американский архитектор, инженер и изобретатель.
2. Один из лозунгов протестного студенческого движения 1968 г.

Смелость книги Бакминстера Фуллера, очень скоро превратившейся в библию "контркультуры", а позднее и альтернативного движения в целом, заключалась не в развенчании великих и сильных мира сего, чью власть он считал "эфемерной", а в том, что эта книга предложила новый, неслыханно дерзновенный взгляд на нашу родную Землю: с этого поворотного момента старая добрая планета Земля перестала восприниматься нами как природное тело, а превратилась в гигантский артефакт. Она была уже не началом всех начал, а неким устройством, не фундаментом, а средством передвижения.

Благодаря вызывающей смелости и неоспоримой меткости метафора Бакминстера Фуллера менее чем за полвека прочно вошла в коллективное сознание. Для нас уже очевидно, что сопоставление Земли с космическим кораблем — не просто красивый поэтический образ за неимением более точных определений. Эта метафора и есть самое точное определение Земли. И верность ее легко подтверждается реальным положением дел. Но если Земля действительно является космическим кораблем, то ее экипаж должен быть в первую очередь заинтересован в поддержании пригодных для жизни условий на борту своего летательного аппарата — на языке астронавтов подобные меры называются системой жизнеобеспечения, гарантирующей устойчивые, близкие к земным, биосферные параметры. Регулирование земной атмосферой становится таким образом первейшим условием успешного полета нашего космического корабля. Нельзя забывать: кислородные маски, которые в "экстренном случае" будут автоматически выброшены из верхних панелей, на борту нашего летательного аппарата не предусмотрены. Нелепо рассчитывать и на то, что по светящимся разметкам на полу можно будет добраться до аварийного выхода, — у космического корабля Земля нет выходов, ни на случай аварии, ни при нормальном полете. Ну а что до светящихся разметок, не в том ли их единственный смысл, чтобы легким гипнозом снимать страх у пассажиров, боящихся летать. Снять страх у пассажиров на борту космического корабля Земля можно только иными, более действенными, средствами. Здесь необходимы новые, революционные методы — и в области техники, и в области человеческого сознания.

Бакминстер Фуллер четко определил важнейшее на данный момент условие пребывания людей на борту космического корабля Земля: его пассажирам потому, вероятно, не было передано никакой инструкции, что им самим надлежит разгадать главные секреты его управления. В самом деле, человек и более древние его предки населяют Землю, насколько нам известно, уже почти два миллиона лет, даже не догадываясь, что

обитают на борту космического корабля. Иными словами, на протяжении всего предшествующего космического плавания людям позволительно было оставаться в беспечном неведении, поскольку изначальное устройство нашего летательного аппарата допускало высокий уровень человеческой бездумности. Но по мере того, как пассажиры начинают постигать механизмы управления и посредством техники все больше и больше подчинять себе окружающую среду, понижается и порог допустимой бездумности, до той крайней черты, пока невежественные выходки пассажиров не поставят под угрозу весь дальнейший полет. "Бытие человека в мире", о котором говорила философия XX века, оборачивается таким образом "бытием на борту" подверженного сбоям космического корабля. Поэтому, с сегодняшней точки зрения, история человеческой мысли предстает как непрерывный гносеологический эксперимент с целью познать главный секрет управления нашей планетой. И те, кому на борту космического корабля Земля достанет мужества пользоваться собственным умом, должны будут рано или поздно признать, что на долю нам выпало быть астронавтами-самоучками. И что истинный "удел человеческий" — или овладеть азами космической навигации, или погибнуть. Самоучкам, как известно, приходится даже самые сложные уроки осваивать в одиночку, без помощи наставника или учителя. От себя добавлю, что и на священные предания в этих вопросах полагаться не приходится, поскольку все так называемые мировые религии зиждутся на пре-астронавтическом представлении о мире, и даже Иисус Христос своим вознесением на небо не смог привнести ничего существенного в правила обращения с нашим космическим кораблем.

Процесс самообучения осложняется еще и тем, что знание всегда на шаг отстает от действительности — можно даже сказать, что знание в принципе всегда приходит с опозданием. Напрашивается вопрос: не означает ли это, что и в случае грядущих катастроф оно придет к нам слишком поздно? К счастью, мы вправе ответить на этот вопрос отрицательно. Благодаря особому прогностическому дару человеческий разум способен воздействовать на ход событий как раз в тот короткий промежуток времени — между поздно и слишком поздно. Именно эта способность человеческого разума оказывается сегодня наиболее востребована. Если до сих пор человечество набиралось знаний, учась главным образом на своем горьком опыте, то сегодня человек должен уметь, пользуясь даром предвидения, извлекать уроки еще до того, как горький опыт станет реальностью, — и это большое новшество в нашей самообразовательной практике. В этой связи — для разработки ин-

новационной теории самообучения — следовало бы позаботиться об очередной "Критике разума", теперь уже пророческого. При этом нас не должен смущать очевидный парадокс любого алармистского предсказания, поскольку, будучи услышанным, оно всегда позднее кажется ложной тревогой, так как люди, спохватившись, умудрялись его избежать. Наброски к "критике пророческого разума" дает в своей книге "Во имя просвещенного катастрофизма" Жан-Пьер Дюпюи. По его мысли, только те, кто всерьез страшатся грядущего апокалипсиса, способны строить разумную политику будущего, ибо только они даже самый ужасающий прогноз готовы принять за реальную угрозу.

Уметь своевременно извлекать уроки — значит сегодня в первую очередь осознать, что кинетический экспрессионизм последних столетий должен быть радикальным образом пересмотрен, если уж не может быть отменен. Под кинетическим экспрессионизмом я понимаю стиль жизни Нового времени, сложившийся прежде всего благодаря легкодоступности природного топлива. С тех пор как горючие вещества оказались в руках практически всех и каждого, человечество зажило так, словно Прометею во второй раз удалось похитить и принести на Землю огонь. Чем это на деле обернулось, легко понять, если мы признаемся себе, что искры этого огня не только запускают в ход моторы наших машин, но и воспламеняют наши сердца безудержными желаниями и ненасытной жаждой свободы. Мы больше не мыслим свободы без права на невиданные ускорения, на достижение самых далеких целей, на безмерное излишество и безоглядное мотовство, включая, в конечном счете, и право на взрыв, на самоуничтожение. Кинетический экспрессионизм отчетливо звучит в словах молодого Гёте, когда он в 1776 году, охваченный " бурей и натиском", сообщает в письме Лафатеру: "Несусь по жизни на гребне волны — готовый открывать, побеждать, бороться, терпеть крушения или взлететь на воздух вместе со всем своим грузом". Кинетический экспрессионизм движет пером Ницше, когда тот провозглашает в "Ессе homo": "Я не человек, я динамит". И уже напрямую мы наблюдаем его в действии, когда Филеас Фогг, герой романа Жюля Верна "Вокруг света за восемьдесят дней", на последнем отрезке своего кругосветного путешествия, переправляясь через Атлантический океан из Нью-Йорка обратно в Англию, начинает из-за нехватки угля срывать на своем судне все деревянные надстройки и швырять их в ненасытную глотку паровых машин. В этом образе сжигающего себя корабля Жюль Верн создал поистине грандиозную метафору индустриаль-

ного мира, пускающего для поддержания своего существования в расход самого себя — никому со времен поэта-романтика Новалиса с его зловещей метафорой "перемалывающей самое себя мельницы" не удавалось столь емко передать суть современного modus vivendi. Но кинетический экспрессионизм присущ и владычественному жесту королевы Англии Елизаветы I, с которым она на известных гравюрах XVI века возлагает свою монаршью длань на глобус Земли, как бы давая понять: отныне властители мира не намерены довольствоваться своими владениями, а претендуют уже на весь земной шар. С того момента, как самоутверждающаяся личность во имя исполнения своих желаний и удовлетворения своих потребностей начинает предъявлять права на блага и богатства всего мира, экспрессионизм превращается в политику. И столь фундаментальный для сегодняшнего дня принцип непрерывного роста есть не что иное, как претворение в жизнь все того же кинетического экспрессионизма.

II

> На нас возложена миссия: мы призваны духовно преобразовывать Землю.
>
> Новалис[1]

Экспрессионистский стиль жизни основывается на том представлении о мире, которое для людей предшествующих эпох было настолько самоочевидным, что даже не требовало обоснования. Природа представлялась им безмерно могущественной и потому бесконечно выносливой внешней средой, способной поглощать все выбросы и оставаться безразличной ко всем разграблениям. Этот стихийно-эмпирический взгляд на природу еще вчера полностью определял путь развития человечества, но и сегодня многие наши современники не чувствуют ни надобности, ни желания внести в эту картину мира хоть какие-то коррективы. Однако неслыханный разгул экспрессионизма, охвативший наиболее зажиточные человеческие сообщества, отчетливо продемонстрировал: полагаться на безучастность природы к тому, что творит на земле человек, — иллюзия. Есть предел всякой экспрессии, есть предел всякой эмиссии, есть предел человеческой бес-

1. Новалис "Цветочная пыльца".

печности — и поскольку предел этот существует, хотя мы и не знаем точно, где он проходит, то наше, еще недавно незыблемое представление о природе, как о каком-то внешнем и все поглощающем в себя пространстве, начинает рушиться. И нам поневоле приходится принять, казалось бы, противоестественный факт, что в результате активного человеческого воздействия наша окружающая среда превратилась в огромный интерьер. В этот переломный для сознания человечества момент Бакминстер Фуллер призывал возложить ответственность за судьбу планеты на плечи дизайнеров, полагаясь на "всеохватность" и "дальновидность" их профессионального подхода. Только такой подход в режиме "тотальной коммуникационной связи" мог, по его мнению, обеспечить надежное управление космическим кораблем Земля.

Спустя сорок лет после публикации программного манифеста Бакминстера Фуллера обнаружилось, что не дизайнерам, а метеорологам удалось закрепить в сознании людей представление о мире как о макроинтерьере. У нас уже не вызывает сомнений, что не за дизайнерами, а за метеорологами сегодня решающее слово, ведь именно им удалось разработать наиболее убедительную — и в политическом и в научном плане — модель глобального макроинтерьера; суть ее состоит в динамической целостности земной газовой оболочки, именуемой со времен древнегреческих физиков атмосферой, что в буквальном переводе означает паровой шар. Разговоры о погоде давно перестали быть досужей светской болтовней, так как метеорологи наглядно продемонстрировали нам, что у атмосферы тоже есть память: она и сегодня не забыла о дыме печных труб на заре индустриальной революции и уже никогда не забудет того, что выбрасывают в нее угольные электростанции развитых стран, тепловые электростанции мегаполисов, самолеты, пароходы, автомобили богачей и бесчисленные костры бедняков на всех континентах, хотя половину всего этого, как известно, поглощают океаны и биосфера. Земля, разумеется, хранит и много других реликтов сомнительного человеческого благоразумия: даже в наши дни в северогерманском речном иле находят подковы римских времен, свидетельствующие о набегах в эти края римской кавалерии. Впрочем, немецкому илу от лежащих в нем римских подков ни тепло, ни холодно. В то время как земная атмосфера — весьма ненадежное хранилище для отходов, она имеет особенность реагировать на прошлые и настоящие выбросы вредных веществ глобальным потеплением. И если верить метеорологам, то ожидаемые перемены климата грозят настолько изменить условия жизни на Земле,

что они во многих регионах окажутся несовместимы с человеческим существованием, по крайней мере, в привычной нам форме.

Метеорологи таким образом принимают на себя роль проповедников-реформаторов. Они обращаются к людям в развитых индустриальных и крупных развивающихся странах с призывом отречься от прежнего образа жизни: они требуют — по меньшей мере, в среднесрочной перспективе — полного освобождения от углеводородной зависимости и отказа от неисчислимых благ современной цивилизации, существующей за счет природного топлива. Вызов, бросаемый ими человечеству, столь масштабен, что не будет преувеличением провести параллель с самыми переломными моментами в истории. От людей XXI столетия ожидается даже более радикальный пересмотр основ жизни, чем того требовали реформационные движения XVI века, установившие тогда новые правила сообщения между землей и небом. Скорее здесь даже напрашивается параллель с проповедями Иоанна Крестителя, призывавшего людей в корне изменить свою жизнь. Глас вопиющего в пустыне звал людей раскаяться, отказаться от прагматической своекорыстной этики повседневности и открыть свое сердце очищающему огню совести — призыв, послуживший толчком к непрерывной духовной революции, именуемой нами христианством. Но, по сути, борьба, ведущаяся сегодня за умы человечества, представляет собой тот извечный, описанный Платоном в диалоге “Софист” спор о сущности бытия между приверженцами бестелесных идей (так называемыми идеалистами) и поклонниками осязаемых тел (так называемыми материалистами) — спор, который, по тонкому наблюдению Платона, подобен битве богов с гигантами за господство над миром, и длиться этому спору, ввиду его неразрешимости, суждено так долго, пока будут существовать на земле люди.

В современной битве за климат речь более не идет о “мировом господстве”, мерещившемся и политическим стратегам империалистической эпохи. В ней скорее решается судьба человеческой цивилизации: быть или не быть ее сохранению и продолжению. Налаживание контактов между различными культурами, начиная с XVI вплоть до XX века, привело путем развития торговли и дипломатии к временному единению глобальных игроков на мировой арене. Процесс этот предполагается в дальнейшем довести до эффективного взаимодействия культур в рамках единой работоспособной системы управления — хотя рассчитывать, что человечество будет способно мыслить категорией “мы” и сможет выраба-

тать претворимую в жизнь "единую волю", на данный момент довольно сложно. Не вызывают сомнений только два обстоятельства: во-первых, что метеорологическая реформация, начальную фазу которой мы сегодня переживаем, открывает путь эпохе величайших конфликтов, и, во-вторых, что XXI век войдет в историю человечества как ярмарка тщеславия его бесчисленных спасителей, так что к концу века человечество будет мечтать лишь об избавлении от своих избавителей и о спасении от своих спасителей. Кроме того, век наш обещает стать эрой беспрецедентного лицемерия и двойных стандартов. Но, несмотря на это, несмотря на тщеславие, паникерство, поток лицемерной лжи, человечество будет неотступно решать все тот же главнейший вопрос — в состоянии ли оно наладить на своем космическом корабле Земля нечто вроде режима стабильного функционирования. Хотя нельзя забывать, что с понятием "стабильность" не стоит связывать слишком больших ожиданий. Цивилизационный процесс не знает устойчивого равновесия. В лучшем случае это более-менее безболезненный переход от одного сносного состояния неустойчивости к другому.

Уже сегодня ясно прорисовывается расстановка сил в грядущей схватке гигантов. Сторону идеалистов в ней будут представлять глашатаи новой умеренности. Они, в противовес своим противникам-материалистам, будут требовать сведения всех форм кинетического экспрессионизма к допустимому в масштабах Земли минимуму. Но, отдавая себе отчет, что экспрессионизм является движущей силой всех преуспевающих сообществ на этой планете, что он пронизывает весь наш "обмен веществ с природой", наше производство, потребление, уклад жизни, способ передвижения, виды искусств и средства коммуникации и что в каждой из этих областей главным и неоспоримым критерием успеха по-прежнему остается непрерывный рост и неизменное превышение уже достигнутого; отдавая себе в этом отчет, мы должны признать, что антиэкспрессионистская и антиэмиссионная этика будущего предполагает фактический разворот всего предыдущего цивилизационного процесса. Она требует сокращения, тогда как прежде на повестке дня стоял непрерывный рост, она настаивает на минимизации, тогда как прежде главной целью была максимизация, она призывает к умеренности, тогда как прежде возможностям человека не виделось предела, она учит довольствоваться малым, тогда как прежде расточительство было высшим шиком, она напоминает о самоограничении, тогда как прежде во главу угла ставилась самореализация личности. Если представить себе,

на что в итоге нацелены эти требования, то станет очевидно: в результате метеорологической реформации на Земле должен будет воцариться своего рода экологический кальвинизм. В основе его лежит одна простая и бесспорная истина: в распоряжении у человечества имеется всего одна Земля, в одном-единственном экземпляре. А потому мы не можем — не ставя на карту собственное существование — требовать от нее большего, чем она в состоянии дать. Так, глобализация неожиданным образом приводит к совершенно обратным результатам: безудержная экспансия по всем направлениям оборачивается вынужденным ограничением по всем направлениям. Посулы всеобщего благоденствия разбиваются об отрезвляющее открытие, что достижима в глобальном масштабе только его противоположность — всеобщая умеренность.

Под такими лозунгами выходят сегодня на арену борьбы гиганты, которые в нынешнем столетии столкнутся в непримиримой схватке. Нам предстоит быть свидетелями ожесточенной битвы экспансионизма и минимализма. Мы будем вынуждены выбирать между этикой фейерверка и этикой аскезы. Мы будем чувствовать, как две противоборствующие модели попеременно будут брать верх в нашем сознании и как необузданная тяга к расточительству и строгий долг бережливости будут изнутри раздирать наши души. Ницше однажды заметил, что пришельцу из космоса Земля должна показаться "аскетичной звездой", на которой тон задают озлобленные и брюзгливые спиритуалисты. Однако в XX столетии наиболее обеспеченной части ее жителей довелось стать участницей невиданного гедонического празднества, грозящего завершиться еще до окончания XXI века. Если под влиянием нового реформационного движения на Земле установится метеорологический социализм, то она действительно в скором времени будет производить впечатление скудной, аскетичной звезды, каждому жителю которой — как равноправному совладельцу атмосферы и прочих ресурсов — будет выделена скромная эмиссионная квота. Но поскольку Ницше был также экспертом и в области битв богов и гигантов, он знал, что в поединках подобного размаха сторонних наблюдателей не бывает: "Ах! В том и состоит магия этих битв, что, оказавшись их свидетелем, будешь неизбежно втянут в бой!" — замечает он в "Рождении трагедии из духа музыки". Каждому гражданину любой богатой страны придется не только разрешать в своей душе этот мучительный спор, но своим образом жизни, своим потребительским поведением открыто вставать на ту или другую сторону.

III

Ибо того, к чему способно тело,
никто пока не установил.

Спиноза[1]

Исходя из вышесказанного легко предположить, что экологическому пуританизму – с точки зрения морального выбора – не может быть на борту космического корабля Земля другой разумной альтернативы. И даже если с этим не соглашаться, нельзя не признать, что главный "нравственный императив" приобрел в XX веке новое звучание: "Измени жизнь твою". Постулат этот неуклонно и все более властно подчиняет себе этическую интуицию наших современников. Он все настойчивее обязывает нас выработать новый modus vivendi, соответствующий нашему новому экологически-космополитическому видению мира. Постулат этот постепенно приобретает ту степень самоочевидности, с которой некогда буддистская, стоическая, христианская, исламская и гуманистическая этики овладели умами и сердцами людей и с которой они и сегодня продолжают во многом определять нашу жизнь. Поскольку новый "абсолютный императив", как любая общезначимая моральная истина, обращается к каждому из нас, то естественно ожидать, что волна этического энтузиазма захлестнет вскоре весь мир. И что по-новому осознанная "воля к жизни", опираясь на переосмысленное представление о долге и добродетели, сможет – в рамках или вне рамок традиционных религий – дать мощный толчок развитию мира. Хотя столь же логично ожидать и новой, встречной, волны пессимизма, пораженчества или циничного безразличия в духе "после нас хоть потоп".

Казалось бы, единственно разумный ответ на актуальный нравственный вызов может дать только этика всеобщей умеренности. Правда, не совсем пока ясно, согласятся ли человеческие популяции, лидирующие сегодня по уровню эмиссии на душу населения, добровольно вступить на путь бережливости, или же правительствам развитых стран – как единственным пока дееспособным макросистемам ввиду отсутствия единого Центра глобального управления – рано или поздно придется вводить на своих территориях нечто наподобие экологического военного положения, чтобы при-

1. Этика. Часть третья, теорема 2, Схолия.

нудительным образом добиться того, что оказалось невозможно на добровольной основе.

При более внимательном рассмотрении становится очевидным, что рассчитывать на воцарение этики умеренности, как и на действенность климатического социализма — значит тешить себя иллюзиями. Подтверждает это не только совершенно иная направленность экспрессионистской цивилизации, но и главный вектор движения всех высокоразвитых культур, основным стимулом которых всегда было единение двух начал: стремления к самосохранению и воли к беспредельному самосовершенствованию. Прямая зависимость самосохранения от самосовершенствования предопределяет и неизбежный выбор той модели, в которой изобилие, расточительство и роскошь наделяются статусом гражданских прав. Уже Платон, размышляя об идеальном государстве, должен был признать несостоятельность идеи такого полиса, который обеспечивает своих граждан лишь самым необходимым, ибо даже мудрейший из греков не нашелся, что возразить Главкону, когда тот, выслушав описание скромной трапезы в таком воображаемом городе, довольно грубо спросил: "А если бы ты, Сократ, задумал устроить государство для свиней, разве не тем бы ты стал кормить и их?" Перед таким аргументом Сократ вынужден был отступить и принять идею государства, живущего в изобилии. Аналогичным образом и нам в наших прогнозах и проектах будущего придется считаться с тем, что люди в богатых странах никогда не захотят добровольно отказаться от своего благосостояния и от технических завоеваний. Они всегда будут убеждены, что цель эволюции в том и состоит, чтобы путем непрерывного роста распространять по планете то материальное благополучие и те плоды экспрессионистской цивилизации, которыми пользуются они сами. И никогда не пожелают они мириться с моделью будущего, ориентированной на минимизацию и самоограничение.

На это поборники новой умеренности возражают, что рано или поздно тем, кто сегодня неограниченно пользуется всеми земными благами, придется подчиниться реальным экологическим обстоятельствам. И чем быстрее Клуб избранных расточителей будет пополняться все новыми производителями и потребителями, тем скорее будет преодолен критический предел эмиссии и экспрессии и тем драматичнее будут последствия. За всей этой аргументацией стоит одна простая и бесспорная истина, на которую опираются и все известные теории о "пределах роста": Земля дана нам в одном-единственном экземпляре, но, невзирая на это, разви-

тые страны уже сегодня живут так, будто в распоряжении у них не одна, а полторы Земли. И если в будущем подобный образ жизни будет перенят всеми жителями планеты, то человечеству потребуется, по меньшей мере, четыре Земли. Но поскольку Земля представляет собой единую и неделимую монаду, мы вынуждены признать примат пределов над нашей жаждой их преодолевать.

На первый взгляд аргумент этот кажется неопровержимым. Если Земля и ее биосфера воспринимаются нами как нечто единичное и невоспроизводимое, то безоглядная эксплуатация ее ресурсов ради удовлетворения наших все возрастающих потребностей и достижения все большего комфорта может расцениваться только как непростительное безрассудство. В этом случае такое поведение землян всегда будет напоминать сцены из какого-нибудь боевика, где соперничающие мафиозные группировки затевают на борту самолета на высоте двенадцати тысяч метров пальбу из крупнокалиберных винтовок. Вместе с тем уместно задаться вопросом, а делаем ли мы из нашей трактовки Земли как неделимого целого надлежащие выводы? И правильно ли мы понимаем наши задачи, считая планету и ее биосферу чем-то предельным и невоспроизводимым? Не следует забывать, что речь идет уже не только о первородном космическом теле Земля и первичном эволюционном феномене Жизнь. К этим исходным величинам добавилась в процессе социальной эволюции еще одна — техносфера, в свою очередь управляемая и преобразуемая ноосферой. Учитывая эти новые измерения, мы вправе отнести известное изречение Спинозы: “Ибо того, к чему способно тело, никто пока не установил”, подразумевавшего человеческое тело, и к самой Земле: никто пока не определил всех возможностей природного тела Земля. Трудно на данный момент предугадать перспективы развития человечества в случае разумного и целенаправленного воздействия техно- и ноосферы на гео- и биосферу. Нельзя исключать, что при этом будут выработаны механизмы, фактически открывающие путь к многократному воспроизведению Земли.

Научно-технический прогресс еще не сказал последнего слова. И если вплоть до сегодняшнего дня он ассоциируется прежде всего с разрушением окружающей среды и биогенных процессов, то говорит это лишь о том, что развитие техники находится во многом в зачаточном состоянии. И тут важно бы провести различие между двумя противоположными направлениями — так называемой гетеро- и гомеотехникой, первая из которых стремится к насильственному пора-

бощению и обузданию природы, вторая же — к подражанию природе и продолжению естественных процессов воспроизводства уже искусственным способом. Если бы в техносфере удалось внедрить стандарты, применяемые самой природой, то со временем взаимодействие техники с окружающей средой обрело бы совершенно иное качество. И если бы человеку от эксплуатации Земли удалось перейти к кооперации с ней, мы бы открыли для себя новые, неведомые прежде, возможности природного тела Земля. Как объект эксплуатации Земля всегда будет оставаться конечной монадой с весьма ограниченными ресурсами. Как поле для взаимодействия природы и техники, она могла бы превратиться в планету-гибрид с гораздо большими возможностями, нежели это могут себе помыслить геологи-традиционалисты.

Аналогичные идеи уже не раз высказывались лучшими умами экологического движения по всему миру. Конкретно, на цифрах, они показали, как, сокращая вполовину потребление ресурсов, можно вдвое повысить всеобщее благосостояние. Это же, вероятно, имел в виду и Бакминстер Фуллер, угадывая в загадочной новозаветной притче о чудесном умножении хлебов прообраз будущего развития техники: "применяя закон рычага... можно в буквальном смысле... меньшими затратами добиваться бóльших результатов. Может быть, еще и урок духовной щедрости хотел преподнести Христос человечеству — в той таинственной истории умножения хлебов и рыб". Неслучайно "Руководство по управлению космическим кораблем Земля" завершается призывом к единению творческих сил планеты: "Итак, дизайнеры, архитекторы и инженеры, берите бразды правления в свои руки. Приступайте к делу и, главное, работайте сообща, не утаивая ничего друг от друга и не стараясь выиграть за чужой счет. Любой односторонний успех будет очень недолговечен. В этом и состоит главный синергетический закон, которым руководствуется эволюция и который она настойчиво пытается нам преподать. Это не изобретенный людьми, а бесконечно мудрый всеобщий закон духовного единения, управляющий Вселенной".

Не стоит поспешно сбрасывать со счетов эти идеи из-за их очевидной наивности. Если человеческому содружеству самоучек суждено когда-то обуздать свое беспечное варварство, то добиться этого можно будет, только объединив усилия всех тех, кто делает сегодня ставку на научный прогресс, и тех, кто пытается разбудить человечество своими мрачными прогнозами.

Маркус Мец и Георг Зеслен

Почему свободный рынок делает нас одновременно умнее и глупее?

Глава из книги *Машины оболванивания. Массовое производство идиотизма*

Самым главным ресурсом капитализма является человеческая глупость. Самым главным продуктом человеческой глупости является капитализм. А посему принято считать, что капитализм порожден самой природой человека.

И разве не оказывалась эта "худшая из систем", чуть сдобренная демократией, все-таки лучше *всего остального,* поскольку ни одна из ее *альтернатив* — как бы она ни выглядела и ни называлась, — изжить человеческой глупости так и не смогла, а только всячески старалась ее обуздывать. Но разве глупость, рядясь в одежды разумности, не мутирует почти автоматически в террор? Разве все революционеры не впадали в один и тот же грех и не ставили глупость себе на службу, вместо того чтобы с ней бороться? Но ведь с полезными идиотами не выстроишь ничего путного! И как любой власти, возникающей из террора, никогда от террора не избавиться, так и власти, опирающейся на глупость, никогда ее в себе не побороть.

А раз так, то не стоит и пытаться, и лучше сразу признать, что "свободный рынок" есть единственная адекватная реакция на специфическую особенность человеческого поведения, сочетающего в себе такую поразительную разумность с такой невероятной глупостью.

Понаблюдайте за людьми, совершающими покупки, — неважно, идет ли речь о наборе овощей для супа или о пакете финансовых услуг, — и вам предстанет удивительный сплав немыслимого безрассудства и тончайшего расчета. Ведь главное, чтоб супчик получился вкусным, сделка прибыльной, а страхование по старости надежным. Но если гость вдруг пожелает суп с мясом или рынок акций в очередной раз обвалится, то все опять встанет с ног на голову. И нам, пребывая

© Suhrkamp Verlag Berlin 2011

в шоке от того, что мы учинили на рынке и что он учинил с нами, останется только недоумевать, как могли мы быть такими близорукими, хотя столько времени выбирали, продумывали, взвешивали.

Похоже, только свободный рынок способен переварить ту невероятную смесь глупости и разумности, которая, как утверждают, заложена в природе человека. И только свободный рынок, судя по всему, в состоянии высвободить ее творческий потенциал. Капитализм (или, точнее, все те разновидности, в которых он до сих пор нам представал) в одно и то же время – беспросветно глуп и потрясающе умен, и посему не может быть объяснен до конца (поэтому и не убеждают нас ни его апологеты, ни критики) и уж, разумеется, не берется объяснять себя он сам. Он вбирает в себя глупость и разумность составных элементов: машин, людей, вещей, рынков, денег, языка и многого другого. И поскольку глупость и разумность в его системе координат – понятия не абсолютные, а относительные, то для бесперебойной трансформации одного в другое ему необходимы специальные устройства. Мы называем их машинами оболванивания.

Плановая экономика требует от человека сознательного выбора либо в пользу разумности либо в пользу глупости. Но ожидать этого от людей бесчеловечно.

Хотя и верить в свободную конкурентную борьбу (спроса и предложения, глупости и разумности) тоже наивно. Главная задача всякого рынка, конечно же, *заставить* нас сделать именно глупость. Ведь на рынок мы идем не с целью его познать, а просто из интереса. Подгоняемые, с одной стороны, любопытством к чему-то новому, с другой – желанием извлечь выгоду или получить удовольствие, мы прямиком попадаем в лапы той или иной машины оболванивания. Для того чтобы кого-то обдурить, мне вовсе не обязательно знать, умен он или нет, достаточно выяснить, какие у него интересы. Одной лишь идеей вряд ли можно кого-то увлечь, если не удастся еще и заинтересовать, и, наоборот, мы будем готовы пойти на любую глупость, если это будет отвечать нашим интересам. Или, по крайней мере, так нам будет казаться.

Глупости случается делать и людям весьма рассудительным, поскольку их решения тоже не всегда продиктованы только разумом. Могут ли изначально добрые намерения или последующее искреннее раскаяние служить оправданием глупому поступку – вопрос спорный. Ну а если глупость, своя или чужая, – бесспорна и очевидна? Тогда можно, например, прибегнуть к услугам театра. Существуют такие общественные институты, которые специализируются на реабилита-

ции глупости. Более того, глупость с их помощью даже превращается в нечто забавное, милое, простительное, этичное и человечное. Эти институты мы тоже называем машинами оболванивания.

Становится ясно, что без машин оболванивания нам не обойтись. Хотя лучше от них тоже не становится. Машины оболванивания обеспечивают функционирование капитализма и демократии, точнее, они амортизируют колоссальную энергию трения, возникающую между ними.

Известно, что любая машина, чтобы самоокупаться, должна работать с прибылью, хотя норма прибыли по мере эксплуатации неуклонно снижается. Поэтому машина с первого же дня вынуждена бороться за свое существование. Она должна постоянно совершенствоваться, чтобы не быть вытесненной новой, еще более "совершенной". И все равно рано или поздно время ее заканчивается. Выйдя из употребления и оказавшись в музее, машины оболванивания, как и всякие другие машины, становятся вполне безобидными и даже милыми. Сегодняшний выпуск газеты "Бильд" не вызывает ничего, кроме отвращения, тогда как номер двадцатилетней давности листаешь с неподдельным интересом, а порой и со вздохом ностальгии. Подземный машинный Метрополис из одноименного экспрессионистского фильма-антиутопии — это чудовищный молох, в буквальном смысле пожирающий людей, но все-таки он не столь ужасен, как оснащенный современными роботами цех какого-нибудь автомобилестроительного комбината (хотя и он сегодня может показаться не таким уж отталкивающим по сравнению с тем, что ждет нас в будущем). Машины — что должно нам быть ясно после запуска уже первой из них — постоянно грозят выйти из-под контроля, повернуть вспять колесо истории, подорвать тот порядок, опорой которого призваны были служить, и в будущем, кто знает, они могут стать даже очагами хаоса и террора. Поэтому общество, изобретшее для своего благоденствия, а также для благоденствия своих членов машины оболванивания, живет в постоянном страхе превратиться в заложников этих машин, в страхе перед хаосом, в который они могут его ввергнуть. Таким образом, любая машина оболванивания, помимо ощущения благополучия, генерирует еще и чувство страха — так уж они устроены.

Вот почему машины оболванивания вынуждены не только постоянно демонстрировать экономическую и технологическую (а отчасти и моральную и эстетическую) эффективность, но и доказывать свою общественную значимость. Вокруг машин оболванивания — вслух их так, разумеется, никто не называет — ведутся непрерывные споры. И часто судь-

ба их зависит от другого общественного института (регулирующего и одновременно регулируемого рынком), а именно от государства, которое то охотно, а то и со скрипом выдает им лицензию на существование.

Машины оболванивания сами по себе вовсе не глупые! Просто назначение их состоит в том, чтобы понижать человеческую способность — видеть, делать выводы, обмениваться мнениями и критически оценивать происходящее — до удобоваримого минимума. Однако не перейти за допустимый порог глупости оказывается довольно сложно. Все мы, столь искушенные сегодня в вопросах политтехнологий и социальной инженерии, прекрасно понимаем, что речь в действительности идет не о борьбе интеллекта с глупостью, а о *правильной подаче* и *правильной дозировке* глупости. (Только не совсем ясно, кто уже здесь кем управляет: машинисты — машинами оболванивания или наоборот?) Неудивительно поэтому, что одни и те же люди то упрекают своих современников в излишней критичности, скептицизме и склонности к конспирологии, то пугают их пагубным воздействием машин оболванивания. Один и тот же человек может с неподдельным пафосом поносить и "проклятые частные телеканалы", и "проклятое интеллигентское умничанье", предостерегать от угрозы "отупения" и в то же время от последствий "деструктивной критики". Что для одних — рупор истины, для других — орудие оболванивания. Любая машина хороша до тех пор, пока служит нашим интересам.

Но не только интереса или удобства ради прибегаем мы к машинам оболванивания, но и из страха. Можно сказать и так: машины оболванивания, понижая нашу способность видеть и делать выводы, приглушают и наши желания и страхи. Справиться со страхом, генерируемым машиной оболванивания, оказывается гораздо проще, чем со страхом, сводящим с ума в реальной жизни. Правда, существует и другая точка зрения: страхов этими машинами производится даже больше, чем гасится. О нашем успешном оболванивании свидетельствует тот факт, что мы даже не замечаем, как легко переходим от праведного негодования к полному безразличию. Сегодня — настоящий скандал: компьютерные игры порождают убийц-маньяков, назавтра — отбой: не так все, оказывается, и страшно. И в результате, как всегда: пошумели-пошумели да и забыли.

Преобразуя беспорядочную смесь глупости и разумности, желаний и страхов, жажды жизни и невозможности жить, преобразуя все это в редуцированную, то есть "оглупленную" картину мира, машины оболванивания направляют высвобождающуюся при этом энергию в социально полезное русло. Они

невидимой стеной ограждают нас от неминуемой катастрофы. Жить во власти машин оболванивания — будь это телевидение или политика, язык или визуальные образы, включая и пресловутые иллюстрированные журналы, — значит быть в равной мере побуждаемым желаниями и парализуемым страхами, ведь именно желания и страхи очерчивают круг нашей жизнедеятельности, диктуют наш "свободный выбор".

Машины оболванивания защищают сначала, к примеру, демократию, потом постдемократию от излишней активности масс, от всякого Дела с большой буквы (как не к месту прозвучала бы сегодня известная гётевская максима: "Вначале было Дело"). И что бы ни внушала нам машина оболванивания, она постоянно нашептывает: "А без меня все было бы гораздо хуже!" (Допустим, новости — сплошное вранье, репортажи — только камуфляж для рекламы, телевикторины дебильны настолько, что даже дети смеются, история прилизана и отутюжена в какой-то слащавый национальный миф, ну и что с того? Зато — свобода слова, в ее мультимедийном варианте! Не нравится, так можно и урезать! Претит, видите ли, дурновкусие Сильвио Берлускони? Может, тогда оруэлловский Большой Брат больше придется по вкусу?)

Машины оболванивания являются неотъемлемой частью капитализма, что, разумеется, не означает, что при других условиях невозможно сделаться идиотом или сделать идиотом другого. Но при капитализме отупление превращается в товар, а товар — в средство массового отупления. Производство идиотизма оказывается очень прибыльным занятием, иначе бы за него никто не брался. Хотя объяснить существование машин оболванивания лишь одной прибыльностью тоже нельзя.

Даже если признать, что порожден капитализм самой природой и является, скажем так, наиболее оптимальной формой приспособления к реальным условиям жизни, со всеми ее известными аномалиями и крайностями, такими, как поразительная разумность и поразительная глупость, то все же, как часто слышишь от молодых людей в модных элегантных костюмах: "Не в капитализме же причина всех зол". Кроме того, что греха таить, жить-то при капитализме довольно весело. Пока, разумеется, не разразился очередной кризис, ваш личный или всеобщий. Оттого и не спешат апологеты и идеологи капитализма видеть в его эксцессах проявление его природной сути. Поскольку если считать законы рынка прямым отражением законов природы — а категории ума и глупости к природе, как известно, неприложимы, то бессмысленно уповать и на какую-либо его корректировку и обуздание. Не стремится афишировать свое "природное ес-

тество" и сам капитализм и не рвется быть во всем последовательным и до конца понятным. Поэтому он не просто использует глупость в качестве главного ресурса, но и сам неизменно прикидывается глупым, да таковым в реальности и становится.

Получается, что возникает капитализм как продукт природы, а нам преподносится как продукт человеческой культуры. Точно так же, как это происходит с глупостью. Хотя в обоих случаях зависимость может быть и обратной. Вот почему одну из главных функций машин оболванивания можно определить как нивелирование различий между природой и культурой.

Ханс-Ульрих Трайхель

Б*ездетность*

Если вам захочется меня смутить, достаточно задать мне один-единственный вопрос. А именно: "У вас есть дети?" Раньше существовали и другие вопросы, которыми легко было меня смутить. Например: "Вы сменили парикмахера?" Или: "Вы разве больше не бегаете по утрам?" На определенном этапе моей жизни, в возрасте где-то от тридцати до сорока, в тот период, когда я работал в разных университетах на временных ставках и должен был всерьез беспокоиться за свое профессиональное будущее, самым неприятным вопросом, который можно было мне задать, был вопрос о моем профессиональном будущем.

Люди в то время делились для меня на две категории: работающие по срочному трудовому договору и имеющие пожизненные контракты. Первые были, по сути, обречены и по истечении срока договора прямым ходом двигались навстречу финансовой, социальной и психологической катастрофе. Другие же были спасены навеки и вплоть до наступления пенсионного возраста пребывали в состоянии, так сказать, вечной весны, за которой потом должна была последовать золотая осень. А первым, несмотря ни на что, приходилось сохранять лицо и скрывать, насколько возможно,

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2005. All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin.

страх перед завтрашним днем, поскольку страх перед завтрашним днем делает человека непривлекательным и только еще больше уменьшает его шансы в будущем.

Вот почему людям, находящимся на временных ставках, следует во избежание вопросов об их профессиональном будущем с первой же минуты направлять разговор, где бы он ни происходил и с кем бы ни велся, на проблемы теоретического характера, вопросы методологического плана и на назревшую необходимость смены научных парадигм. Хотя те, другие, ничуть не отягощенные заботами о завтрашнем дне и день-деньской предающиеся размышлениям о вопросах теоретического характера, о проблемах методологического плана и о назревшей необходимости смены научных парадигм, только и ждут момента, чтобы в непринужденной беседе после очередного научного доклада или в перерыве за чашечкой кофе на каком-нибудь конгрессе задать своему коллеге, занимающему временную ставку, вопрос о его планах на будущее.

От тех лет работы в качестве внештатного научного сотрудника в памяти у меня сохранилось не менее десятка таких перерывов за чашечкой кофе, в которые я старался завести с коллегами, занимающими штатные преподавательские должности, разговор, к примеру, о давно изжившей себя теории "лингвистического структурализма", и на какое-то время это даже удавалось, пока кто-нибудь из моих собеседников, помятуя, видимо, о важности межличностного общения — пару минут всегда найти можно, — не обращался ко мне с вопросом: "Кстати, а что вы предполагаете делать после окончания контракта в университете?"

Вопросы подобного рода диктуются вовсе не интересом и, уж тем более, не живым участием в судьбе собеседника, а намерением тут же, на месте, социально его унизить и растоптать. Избежать подобного уничижения можно, или поменяв свое социальное окружение, что было бы равносильно полной капитуляции, или же, устроившись на постоянную должность, заняв, например, место профессора или члена ученого совета.

После того как мне, наконец, удалось перейти с временной работы на постоянную, я в некотором смысле даже предвкушал, как в перерыве на очередной конференции или в другой похожей ситуации мне зададут вопрос о моих профессиональных планах на будущее и я, не задумываясь, отвечу: "А будущее, уважаемый коллега, уже наступило!" Но, странным образом, с тех пор как у меня не было больше оснований беспокоиться за свое профессиональное будущее, никто им уже не интересовался. Ни одного уничижительного вопроса

социального характера, на каком бы конгрессе я ни стоял в перерыве с чашечкой кофе. Никого не волновало больше мое профессиональное будущее, даже тех, кто и понятия не имел, как обстоят мои дела.

Впрочем, теперь, когда уничижительный вопрос социального характера утратил свою подрывную силу, мне все чаще стали задавать уничижительный вопрос личного плана: “А у вас есть дети?” Что на это ответишь, если детей у тебя нет? Можно, конечно, не стесняясь и наплевав на факты, как это сделал бы любой баварский политик, взять и брякнуть прямо в лицо: “Две девочки и три парня!” Или же, и это был, скорее, мой случай, сухо и честно процедить сквозь зубы “нет” и под предлогом, что, мол, надо помыть руки, тут же удалиться.

Вопрос, есть ли у вас дети, в общем-то вполне банальный, и отвечать на него, если дети у вас есть, легко и даже в высшей степени приятно. Однако в случае, если детей у вас нет, он выглядит крайне бестактным. Ибо за последовавшим за ним “нет” в воздухе, разумеется, повисает — пусть и не высказанное вслух — “почему”. Что тут — невольная бездетность по причине частичной, а то и полной инфертильности? Нарушение сперматогенеза? Дисфункции гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы? Сбои в терморегуляции яичек? Или же их неопущение? Проблемы во взаимоотношениях с партнером? А тогда, значит, — бесплодие психогенное? Из-за непреодолимого желания иметь ребенка, которое обычно сопровождается зацикленностью на данной теме, завышенными ожиданиями и, как следствие, — боязнью надежды эти не оправдать? Или же речь идет даже не о невольной, а о добровольной бездетности, причины которой объяснить еще сложнее? Особенно в том случае, когда добровольно избравший бездетность уже и сам не вполне уверен в своем добровольном выборе и с некоторых пор ощущает в душе глухую экзистенциальную боль и что-то вроде стыда перед Богом, миром и самим собой за свою бездетность.

Долгое время вопрос о детях меня нисколько не задевал. Это было в ту пору, когда у меня не было не только детей, но и ни малейшего желания их иметь. Чем дальше я мысленно возвращаюсь в свое прошлое, тем меньше обнаруживаю в себе желание иметь детей. Жизнь казалась мне тогда более-менее сносной только при отсутствии детей. Людям, у которых были дети, я не то что не завидовал, я им откровенно сочувствовал. Ведь с детьми, и в первую очередь с малолетними, не пойдешь в кафе или в бар или, например, в книжную лавку, не говоря уже о сауне или филармонии, даже почитать нормальную книгу и то сложно. Вы когда-нибудь пробовали, если рядом с вами ребенок, читать Пруста? Или хотя бы ду-

мать о Прусте? Спокойно с детьми даже футбол посмотреть нельзя. А уж о поездках по Тоскане и думать нечего. Дети представлялись мне маленькими вампирами-кровопийцами, у которых на уме одни развлечения и капризы.

Вспоминая себя в возрасте от двадцати до тридцати пяти, не говоря уж, разумеется, о юности, точно могу сказать, что дети для меня тогда просто-напросто не существовали. И у моих друзей и знакомых тоже ни у кого не было детей, и все мы единодушно считали, (потому, вероятно, и дружили), что детям в нашей жизни нет места.

В нашей студенческой коммуне, которой мы вместе снимали квартиру, тоже долгое время царило единогласие насчет того, что дети нам были бы совсем некстати. Нам предстояло сначала разобраться с самими собой и со своей собственной детскостью. Те из моих товарищей по квартире, кто не учился на психолога, ходил, по крайней мере, на психотерапевтические сеансы. Двум из них удавалось совмещать и то и другое, и мне это представлялось идеальным вариантом. Я бы тоже с удовольствием учился на психолога и одновременно ходил на психотерапевтические сеансы. Но я вместо этого занимался германистикой и между делом писал стихи.

Годы в коммуне были временем прекрасного, бездетного коллективизма и товарищества. Так я всегда представлял себе социализм: утром и днем учишься и пишешь стихи и время от времени посещаешь психотерапевта, а по вечерам вместе со всеми сидишь за столом, без всяких детей, ужинаешь и делишься с другими ужасами своего детства. Это прекрасное время неожиданно закончилось, когда одна из участниц нашей коммуны вдруг объявила нам о своей беременности. Даже еще не родившийся ребенок внес разлад в наше сообщество, состоявшее из трех молодых людей и трех девушек. Равновесие полов было под угрозой. Кроме того, у других в нашей компании ребенок пробудил чувство зависти. Им тоже вдруг захотелось иметь детей. Буквально через несколько месяцев после рождения первого ребенка, еще одна девушка объявила нам о своей беременности. Вместе с новорожденными к нам на квартиру перебрались — или, по крайней мере, стали регулярно заглядывать — не входящие в наше сообщество отцы новорожденных. К партнерам со стороны у нас всегда относились терпимо. Но папаши со стороны стали новым серьезным испытанием. И не только они. Дети привели в движение всю генеалогическую цепочку, вплоть до ее истоков. Дедушки и бабушки принялись наносить визиты своим внукам. До сих пор члены коммуны проведывали своих роди-

телей по месту жительства последних. Теперь же родители начали наведываться в нашу коммуну.

Все, во что на определенном этапе своей жизни я так твердо верил — что можно прекрасно обходиться и без детей, и без родителей, — рухнуло в одночасье. Наша коммуна превратилась в семейный клан, где три поколения не давали друг другу жизни. Мечта о внегенеалогическом социалистическом братстве потерпела крах, и я с квартиры съехал. Мои товарищи по коммуне — а ведь образованные, интеллигентные люди, к тому же профессиональные психологи и социологи, — попросту капитулировали перед властью биологического начала и малодушно покорились обычным инстинктам размножения, деторождения и выхаживания потомства. Словно враз обратились в ярых поклонников Эйбла-Эйбесфельдта[1].

Я же перебрался в двухкомнатную квартиру и продолжал спокойно читать Пруста. Вернее пытался читать. Через какое-то время я, читая, уже не отключал телевизор. Потом все чаще откладывал книгу в сторону и просто пялился на экран. По выходным навещал своих старых товарищей и злился на их маленьких детей. Еще через какое-то время я перестал навещать старых товарищей, а нашел себе новых, бездетных, друзей и опять неплохо устроился в жизни, вдали от всяких детей. Никто мне не мешал. Все у меня шло хорошо. Стена пала. Я писал стихи, читал толстые книги, уже не включая при этом телевизор, и преподавал в университете.

Так мирно текли мои дни, пока однажды — это случилось солнечным безлюдным августовским днем, уже ближе к вечеру, в берлинском районе Шёнеберг — я по дороге к метро вдруг не увидел идущую по тротуару маленькую девочку с футляром для скрипки в руке. Вид этой девочки меня тронул. Он вызвал во мне буквально шквал симпатий к маленьким девочкам с футляром для скрипки в руке. Вид этой девочки пробудил во мне что-то глубоко человеческое, бывшее до сих пор погребенным под грудой всего прочего. Это что-то вдруг вырвалось наружу и очень скоро разрослось до чувства, распространявшегося уже не только на маленьких девочек с футляром для скрипки в руке, но и вообще на все маленькие человеческие существа. Другими словами, мне начали нравиться дети. И это еще не все. Очень скоро я обнаружил, что мне нравятся и мамы с детьми. Мне даже стало казаться, что

1. Иренеус Эйбл-Эйбесфельдт (р. 1928) — известный австрийско-немецкий биолог, основатель этологии, науки, изучающей человеческие инстинкты.

и я хотел бы быть такой мамой с ребенком. Обманывать себя было бесполезно: мной овладело желание иметь детей.

С этим бы еще как-то можно было смириться, если бы желание иметь детей не сопровождалось иными чувствами, которых я уж никак не мог допустить. К примеру, чувством зависти. Я стал завидовать людям с детьми. Если раньше мне случалось кому-то завидовать, то разве что из-за их мотоциклетных прав. Теперь же я завидовал им из-за их детей. Не всем, разумеется. Некоторым я завидовал исключительно из-за самого факта родительства, обеспечивающего им биологическую преемственность. Из-за их болтливых, плаксивых, помешанных на сладостях и телевизоре, постоянно писающих в постель, патологически рассеянных или гиперактивных малолетних тиранов я завидовал им гораздо меньше. К тому же в детстве я и сам страдал многими из вышеупомянутых пороков, отчего ни мне, ни моим родителям было не позавидовать. Хотя в те годы отклонения типа синдром дефицита внимания еще легко излечивались обычным подзатыльником.

Если прежде я долгое время считал детскость некой разновидностью психического расстройства и думал, что нужно приложить все усилия, чтобы поскорее перестать быть ребенком и уж, разумеется, никогда в будущем не иметь своих детей, то теперь, к моему удивлению, мне все чаще стали встречаться дети, которые вовсе не казались такими уж дефективными. Мне стали все чаще попадаться умные, милые и интеллигентные дети, живущие к тому же в полной гармонии со своими родителями. А если в их облике угадывался еще и оттенок легкой грусти, то восхищению моему не было предела: что все-таки за очаровательные созданья эти дети! И ни одного из них я не могу назвать своим. Ни одному не передам свои даровитые гены, ни один не будет оплакивать мою кончину, не подарит мне внуков и правнуков, чтобы таким путем продлить до бесконечности мое биологическое и духовное существование. Ибо, как точно заметил Адальберт Штифтер: “Все оборвется в одночасье, если не оставить после себя жизни, которая будет длиться и за гробовой чертой”.

Хотя и на бесконечность особо рассчитывать не приходится. В лучшем случае полтора миллиарда лет, а то и каких-нибудь шестьсот миллионов — о чем недавно писали в газете — остается человечеству, пока земля из-за постоянного расширения солнца не перестанет быть обитаемой. Тогда уж, разумеется, и это я говорю не без доли мелочного злорадства, придет конец и генам тех, кто благоразумно позаботился о продолжении рода.

И тут мы вплотную подошли к вопросу о возможных стратегиях самозащиты и самооправдания. Тем, кто не желает при-

нять и носить в себе боль и горечь бездетности, следует подыскать себе подходящий рецепт самоутешения и самооправдания. Помимо упомянутых выше нерадужных космологических перспектив, надежным подспорьем могут служить и актуальные политические или экологические прогнозы, касающиеся уже менее отдаленного будущего и позволяющие оправдывать свою бездетность заботой о судьбе последующих поколений, опираясь при этом на аргументы типа: "Не хочу, чтобы мои внуки жили в мире, где скоро не будет ни единого дерева!", или же ссылаясь на доводы сугубо политические: "Пока у власти Коль (или если угодно – Шрёдер, Меркель, Штойбер, Шойбле и т. д.), я производить детей на свет не собираюсь". Возможны также аргументы типа "Пока в питьевой воде у нас столько кальция..." или же – политически менее корректные – "Чтобы мой ребенок рос среди всех этих турок (или если угодно – цейлонцев, албанцев, нигерийцев и т. д.)!". Правда, этот аргумент не столь универсален и не столь широко применим, как соображение относительно питьевой воды, поскольку не годится для людей, отправляющих детей в сад или в школу в гамбургском элитном районе Пёзельдорф, а также в берлинском Далеме или мюнхенском Грюнвальде.

Желающим оставаться бездетными и одновременно политкорректными можно предложить, точнее можно было – особенно в семидесятые годы – предложить почитать книги с подходящими названиями вроде: "Бездетность по зову совести". В них сообщается, что дети уже в пренатальный период часто "подвергаются пагубному воздействию алкоголя, сигарет и наркотиков. Если детям удается благополучно пережить первые годы, то в дальнейшем им грозит гибель или тяжелые увечья на дорогах". И далее: "Доставка в ближайшую больницу нередко оборачивается смертным приговором, так как добираться туда приходится долго, а специально оборудованных автомобилей катастрофически не хватает".

Тем, кто захочет подкрепить свой сознательный выбор бездетности данными по дорожно-транспортным происшествиям, коэффициентами мертворождаемости или статистикой детской и подростковой преступности, сделать это будет наверняка несложно, как бы ни выглядели эти показатели в каждом отдельном случае. Причем, делая ставку на статистическую стратегию самозащиты, ссылаться можно не только на реальную угрозу жизни каждого, но и на демографическое состояние общества в целом. То, что мы движемся к малодетному обществу или, как гласит заголовок из "Шпигеля" (от 05.01.04), к "Федеративной Республике Стариков", уже ни для кого не секрет. Ни в одной стране мира – по оценке "Не-

мецкого демографического общества" — не насчитывается столько бездетных, как в Германии. И если ФРГ по показателям рождаемости занимает среди 190 государств 185-е место, как можно было прочесть в том же номере "Шпигеля", то и тебе, как отдельно взятому бездетному, совершенно не в чем себя винить, напротив, ты идешь абсолютно в ногу со временем и мог бы легко, окрыленно и в унисон большинству воскликнуть вслед за Эрихом Кестнером: "Дорогая, внесем и мы наш посильный вклад в дело сокращения рождаемости".

Тот, кому покажутся недостаточными статистические доводы, может копнуть глубже и воспользоваться для свого оправдания последними открытиями популяционной генетики. Так, известный антрополог Спенсер Уэллс утверждает в своей книге "Генетическая одиссея человека", что "каждый ныне живущий человек несет в себе около тридцати новых мутаций, отличающих его от родителей. Мутации — это продукт случайных изменений, которые возникают вследствие ошибок при копировании генной информации в процессе деления клеток..." Выходит, рассчитывать, что ваши дети, как две капли воды, будут похожи на вас, — тоже иллюзия. В отдельных случаях количество подобных ошибок вполне может и возрасти, так что в результате чужие дети будут вам даже ближе, чем собственные. Лучше уж тогда сразу предоставить дело деторождения соседу.

Если все это окажется бесполезно, вам в конце концов не останется ничего другого, как прибегнуть к элементарному защитному механизму, а именно попросту отрицать существование самой проблемы, как это, например, делают толстяки в послеобеденных развлекательных ток-шоу, уверяя телезрителей, что при своих 120 килограммах они "очень даже хорошо себя чувствуют". При желании вы и тут можете воспользоваться богатой справочной литературой, популярно написанной, легко читающейся перед сном, — такими, к примеру, книгами, как "Счастье бездетности" Жанны Сейфер или "Goodbye Baby. Счастье не иметь детей" Шерли Зойл. Причем, второе издание адресовано, в первую очередь, добровольно бездетным женщинам, которые страдают теми же комплексами вины и заниженной самооценки, как и многие добровольно бездетные мужчины, и потому будут наверняка рады повстречать уверенную в себе и начисто лишенную потребности оправдываться и комплексовать бездетную представительницу их пола. "Недавно мне довелось беседовать с одной журналисткой, — пишет Шерли Зойл, — она произвела на меня сильное впечатление. Красивая, открытая, независимая женщина, причем, ей уже далеко за сорок. Я спросила, есть ли у нее дети. Нет, ответила она, и меня это очень порадовало..."

Однако и то обстоятельство, что встречаются красивые, открытые, независимые женщины без комплексов и без детей, приносит облегчение лишь на короткое время. По-настоящему помочь бездетному, будь то мужчина или женщина, может, вероятно, только осознание того факта, что всего в жизни иметь нельзя и что какие-то виды счастья, к которым, вероятно, относятся и собственные дети, навсегда останутся для него недоступны. Но осознание этого факта способно утешить скорее невольно бездетного, который сможет принять свою бездетность как крест. Но что же делать с мечтой о детях и со своей непреходящей тоской – добровольно бездетному? Ведь крест этот он взвалил на себя сам и сам стал, так сказать, кузнецом своего несчастья. Чтение практических пособий типа "Как расстаться с мечтой о ребенке" тут вряд ли поможет, скорее уж стоит принять всю боль и тоску бездетности и активно их проработать, как это называется в психоанализе. А потом, кто знает, может, захочется пошефствовать над группой продленного дня в школе по соседству или взять опеку над детским домом в Индии.

Возможен и другой путь проработки – литературный, хотя он только усугубляет симптомы. К тому же литературных текстов о мужской бездетности – пусть добровольной или невольной – не так уж и много. Скорее авторы предпочитают воспевать свое отцовское счастье и дивиться тому восхитительному созданию, которое они сподобились произвести на свет божий. Это вполне понятно, но вызывает у людей бездетных только еще большую зависть. И прежде всего у бездетных писателей. Мало того что досточтимые коллеги не постеснялись произвести на свет потомство и беззастенчиво демонстрируют нам, что значит жить полноценной жизнью, хотя им ради своего творчества надлежало бы отказаться, по примеру Франца Кафки, от всякого земного счастья, – они же еще и пишут об этом книги.

А я предпочитаю обращаться к текстам, которые способны дать мне некоторое утешение, хотя сами по себе книги далеко не утешительные, как, например, "Кадиш по нерожденному ребенку" Имре Кертеса. В этой книге тоже есть своя – пусть и негативно окрашенная – эпифания: внезапное прозрение рассказчика, которое в виде "огненной надписи" появляется на стене трамвая: "Нет! – никогда не смог бы я стать отцом, судьбой, богом другого человека. Нет! – никогда не должен другой ребенок пережить то, что пережил я, – детство". Здесь, разумеется, неприятие отцовства проистекает не из недоверия к будущему, а из травматического опыта прошлого, пережитого узником Освенцима. Опыта, который трудно перевести на язык

повседневности. А потому мое заключение, вроде того, что каждому суждено нести свою боль и свою печаль бездетности, которым я бы охотно подытожил эти рассуждения, выглядит перед лицом подобного опыта весьма неуместно. Освенцим и в этом отношении ни с чем не соизмерим. Как и бездетность узника Освенцима. К его судьбе неприложимы мерки обычного добровольно бездетного, мучающегося своим же собственным добровольным выбором. Ведь решение его продиктовано всего лишь привычной горечью детских воспоминаний. Конечно, в отдельных случаях опыт этот может быть настолько болезненным, что навсегда сделает из него человека, чурающегося детей и собственного детства и мучимого одновременно все более неподвластной ему тоской по детям и собственному детству. Человека, который, хотя и не хочет детей, но безумно о них мечтает.

Далекое настоящее музыки

Вряд ли кто из нас помнит, какой была его первая встреча с музыкой. Для тех, кому повезло, — это, наверно, было пение матери, в утробе ласкавшее слух еще не рожденного существа, баюкавшее его потом в колыбели и напутствовавшее позднее во взрослую жизнь. Музыка материнского голоса способна, по-видимому, внушить человеку такую непоколебимую веру в мир и добро, что музыка на всю жизнь становится для него прибежищем от всех невзгод и несчастий. Чем же тогда еще можно объяснить, что есть люди, которые не мыслят свою жизнь без музыки, для которых нет большей радости, чем регулярно ходить на концерты и в оперу, и которым ничуть не надоедает слушать то, что они уже столько раз слышали.

Те из нас, кому повезло меньше, внимали во чреве далеко не пению матери, а скорее пугающей тишине, а то и гулу повышенного артериального давления. Оттого уже и на свет они появились нервными, да и позднее не удостоились ни голоса, ни музыки, которые бы утешили или чуть успокоили их детские души. Но и эти люди вполне могут стать большими поклонниками музыки и даже ее настоящими фанатами. Не потому, однако, что музыка заново дарит им то, что некогда им безраздельно принадлежало, а скорее потому, что сулит им нечто, чего им так болезненно не хватает и чего, по-видимому, уже невозможно восполнить.

Именно они, эти ненасытные энтузиасты, эти операманы и концертоголики составляют основной костяк любой аудитории. Сидят они обычно не на самых дорогих местах, но по-

являются в зале с завидной регулярностью — каждую неделю, а то и каждый вечер. И не просто радости или душевного покоя ищут они, в сотый раз отправляясь на "Травиату", "Тристана" или же симфонию Брукнера. Они жаждут душевной бури, чтобы исступленно забыться в музыке. Жаждут умереть или, по меньшей мере, ощутить лихорадочный жар, что им довольно часто и удается.

Но есть меломан и еще одного, третьего, типа. Он тоже ощущает в себе сильную тягу к музыке, он тоже понимает, что из всех видов искусств, наверно, только музыка могла бы приоткрыть ему доступ к его собственным чувствам, к его подсознанию. Он тоже не мыслит свою жизнь без музыки. Вот почему столько лет, хоть и без особого успеха, осваивал он игру на фортепьяно или на каком-нибудь другом инструменте, усердно посещал оперы и концерты и весьма, как говорится, поднаторел в классическом репертуаре, более-менее сносно ориентируется он и в музыке барокко, и в венской классике, и в эпохе романтизма, боготворит Моцарта, но отдает должное и музыке Малера, высоко ценит, хотя и не во всем принимает, Вагнера, готов восторгаться и Рихардом Штраусом, даже если маэстро, как рассказывают, потрудившись до обеда над своими сочинениями, преспокойно затем садился с друзьями играть в скат. Доводилось нашему поклоннику музыки держать в руках и партитуру, и как-то раз, отправляясь на "Мессу си минор", он даже прихватил с собой одно такое карманное издание. Чаще все же он просто откидывается в кресле, внимает божественным звукам, следит за напряженными, сосредоточенными лицами вокруг и старается, как и все, полностью обратиться в слух, с таким же вниманием, напряженностью и сосредоточенностью, что и они. Тем не менее не раз уже ловил он себя на том, что вовсе и не слушает музыку, а думает о прошедшем рабочем дне или о будущем отпуске. И, как это ни прискорбно, но случиться такое может с ним и на Бетховене, на Моцарте или Верди. И никакие усилия над собой, ни подробнейшее чтение программки перед концертом или предварительное штудирование музыкальной энциклопедии не смогут предотвратить того, что в один прекрасный момент он все-таки вынужден будет признать, что, хотя у него потребность в музыке есть, но нет музыки, способной ее удовлетворить, нет.

Всякий раз, слушая Бетховена, Моцарта или Верди, он не в состоянии отделаться от ощущения, что слушает музыку XVIII столетия или XIX. А не ту, которая бы говорила ему о настоящем. Стоит ему, однако, взглянуть на серьезные, а порой блаженные мины сидящих вокруг, и ему начинает казаться, что эти люди слушают Бетховена, Моцарта или Верди, словно музыка

эта обращается непосредственно к ним и говорит о чем-то им очень близком. Словно каждый звук, каждое слово им совершенно понятны, и они живейшим образом участвуют в том, что слышат. Разумеется, он прекрасно понимает, что люди обманываются, думая, что Бетховен, Моцарт или Верди обращаются непосредственно к ним. Понимает он и то, что, безусловно, прав, считая вышеупомянутых композиторов представителями XVIII или XIX столетий. Но пользы от такой правоты ему мало. Более того, он даже вынужден признать, что состояние подобного гипноза имеет большие преимущества, так как доставляет людям радость, дарит сильные чувства, а порой даже трогает до слез. Сколько раз видел он, как люди на концертах Моцарта или Чайковского плакали, а он тем временем листал программку, надеясь найти там хоть какие-то пояснения.

Разумеется, в музыке Бетховена, Моцарта или Верди он угадывает музыку прошедших времен не потому, что обладает каким-то особым историческим чутьем или глубокими познаниями. Скорее он убежден, что большинство людей, слушающих музыку Бетховена, Моцарта или Верди так, словно она напрямую говорит с ними, обладают гораздо более сильным историческим чутьем и более глубокими познаниями. И если они не читают программок, то вовсе не из-за отсутствия интереса, а главным образом потому, что давно уже знают и не раз читали все, что есть в этих программках. И все равно прошлое оказывается для них столь близким, словно заново пережитое в настоящем.

Испытать подобное счастье ему, увы, не дано. Но и приобщиться к музыке настоящего, не воскрешенной, а действительно рожденной в настоящем, ему, увы, тоже не дано. Иными словами, он оказался как бы в музыкальном вакууме. Сигналы, посылаемые музыкой современности, идут к нему из столь же чуждого далека, как и сигналы музыки XVIII или XIX веков. Только чуждость эта уже не во времени, а в настрое чувств. И тут нет ничего удивительного, ему, по правде сказать, ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-то на концерте Веберна или Булеза плакал. И сам он тоже ни разу не испытывал на концерте Веберна или Булеза особого душевного волнения, хотя все больше и больше склонен думать, что музыка современности потому до него не доходит, что это он не может дойти до ее сути.

С потерей прошлого он еще мог бы смириться. Ему даже кажется, что у него есть на то право — считать прошлое делом прошедшим. Нельзя сказать, чтобы он ничуть не завидовал восторженным, а то и умиленным ценителям Баха, Бетховена или Моцарта из-за минут их счастливого единения с

музыкой. Но, с другой стороны, резонно спрашивает он себя, не смахивает ли это скорее на невроз, когда при первых звуках почтового рожка ты сразу мечтой уносишься в дальние странствия или же, стоя перед известным лондонским монументом в память о Великом пожаре, начинаешь, как тот, описанный еще Зигмундом Фрейдом лондонский житель, "оплакивать превращенный в пепел любимый город", хотя сам город уже давно заново отстроен. Не разумнее ли полностью окунуться в настоящее, даже если оно тебя только отпугивает, раздражает или вызывает апатию.

Не раз приходилось ему наблюдать, что люди, слушая музыку XX века – речь, разумеется, не идет об экспертах-профессионалах, – впадают в какое-то оцепенение или же, наоборот, приходят в нервное возбуждение. Но все равно отказываться от этой музыки, мириться с потерей настоящего он не готов, поскольку "без музыки, – как говорил Ницше, – жизнь была бы ошибкой". Вот почему в который уже раз брался он слушать "Три пьесы для фортепьяно" Шёнберга (соч. 11), хотя тут для примера можно привести и другие произведения. Слушая эту музыку, он не испытывал ни счастья, ни других особых эмоций. Но он чувствовал, что это звучит голос его настоящего, голос его столетия. И что ту "радость жизни", которую Гленн Гульд улавливал в пятой из "Пяти пьес для фортепьяно" Шёнберга (соч. 23), безудержной, конечно, не назовешь, но что в историческом плане она подлинна и опыту этого века полностью созвучна.

Чувствовал он и то, что музыка современности перестала быть прибежищем от невзгод и несчастий. Она больше не приносит утешение и душевный покой. Еще даже в меньшей степени, чем литература и живопись. Ведь Кафка для нас сегодня – родственная душа. В Грегоре Замзе, просыпающемся поутру страшным насекомым, мы без труда узнаем себя. И снова и снова перебираем в памяти все детали того превращения, как слова старой любимой арии. Картины Кандинского, Пикассо или Клее знакомы почти каждому, а многим даже близки по духу. О фортепьянной музыке Шёнберга этого не скажешь. Она не вписывается в уютный домашний интерьер. Как и многое из того, что появилось в музыке в XX веке.

Решительнее других искусств избавлялась музыка современности от своих слушателей, как от докучливых кредиторов. И решительнее других искусств противится она быть приютом для умильных эмоций. "Стоп, а вам сюда нельзя" – вспыхивает запретительный сигнал, как только восторг, отчаяние или упоение попробуют стучаться в двери зала. И шанс не быть

отвергнутым есть только у того, кто все-таки не отступит и будет готов в буквальном смысле заработать себе право на свою музыку современности, музыку своего настоящего. Только тот, кто, заранее зная, насколько изнурительным, нервирующим, удручающим, порой просто скучным может оказаться это занятие, все-таки будет готов осваивать музыку современности, как осваивают иностранный язык. Это, вероятно, потребует от него больших усилий, но может обернуться и новым, неведомым прежде, источником счастья — преодолевая далекость и чуждость настоящего, преодолеть, возможно, и собственную далекость и чуждость и хотя бы на шаг приблизиться к самому себе.

Мартин Вальзер
Законы человеческой термодинамики

Фантазия

С тех пор как мы есть разговор
и навык понимания друг друга.

Гёльдерлин

1

О людях легче судить по тому, что они недоговаривают, чем по тому, что они говорят. Это есть первое начало человеческой термодинамики. Данное положение справедливо, разумеется, при условии, что за тем, что человек говорит, можно легко угадать то, что он недоговаривает. Но если приучить себя между печатных строк и высказанных слов улавливать суть недосказанного, то даже самые пустые и банальные фразы станут невероятно захватывающими. Даже самые заурядные изречения политиков, если научиться угадывать в них недосказанное, наполнятся бездной смыслов. Как раз зауряднейшие фразы и обнаруживают подчас самую неожиданную подоплеку. Отсюда вытекает второе начало человеческой термодина-

© 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

мики: чем зауряднее высказывание, тем больше в нем того, что оно старается скрыть. И то, что оно старается скрыть, проступает в нем тем отчетливее, чем старательнее замалчивается. Возможно, лингвистам все это прекрасно известно и они давным-давно пользуются этим правилом на практике, не афишируя, однако, своего открытия, чтобы не спровоцировать нового витка еще более искусного замалчивания, к которому бы они оказались профессионально не подготовлены.

Применительно ко мне это означает ровно то же: что-то говоря, я одновременно что-то умалчиваю. И в том, что я умалчиваю, меня всамделишного гораздо больше, чем в том, что я говорю. Говорю я всегда то, что можно сказать, не боясь вызвать слишком негативной реакции. То, что я говорю, должно расположить ко мне окружающих. То, что я умалчиваю, мгновенно восстановило бы их против меня.

2

Большое преимущество недоговаривания состоит в том, что отпадает надобность в человеке, которому можно сказать больше, чем другим. Трудно представить себе человека, от которого тебе нечего было бы скрывать. С другой стороны, наивно надеяться, что в том, что я говорю, другие не уловят того, что я недоговариваю. Но это и не страшно. То, что в моих словах откроется другим как мной недоговоренное, утаенное, они будут считать своим открытием. И то, что им при этом откроется, будет в той же мере частью их, как и частью меня. Они никогда не смогут с уверенностью сказать, чего в их открытии больше — их самих или меня. Это как в музыке, или на полотнах Рембранта, или в узорах облаков на небе. В недосказанном, проступающем за сказанным, никогда нет той банальной очевидности сказанного; недосказанное как еще не разгаданная тайна всегда многоголосно и многоцветно. Мы были бы просто не в состоянии выдержать эти нескончаемые ток-шоу и этот непрекращающийся медийный натиск при всей его пустопорожности, если бы не научились за потоком скучнейших фраз открывать глубины человеческих чувств и богатство человеческих судеб.

Мы, открыватели недосказанного, делаем мир более сносным, чем он на самом деле есть.

3

Оказываясь среди людей, я часто вынужден от них скрывать, что хотел бы быть совсем не с ними, а в другом месте. Совсем

в другом месте. И каждое слово, которое я говорю здесь, скрывает то, чего я здесь сказать не могу, но хотел бы сказать в другом месте. Это самая привычная форма утаивания. И я чувствую, что все другие рядом со мной тоже хотели бы сейчас быть в другом месте. Мы вынуждены скрывать друг от друга, где бы нам больше всего хотелось сейчас быть, иначе нам бы пришлось потихоньку, не попрощавшись, разбежаться в разные стороны. Данное наблюдение подтверждает, что мы никогда не бываем там, где бы нам больше всего хотелось.

4

Каждый для себя точно знает, что ему сказать допустимо, а о чем следует умолчать. Иначе с нами просто невозможно было бы иметь дело. Соотношение того, что человек сказать может, и того, о чем он вынужден умалчивать, говорит о нем гораздо больше, чем так называемые публичные излияния. Не знаю отчего, но в любой публичной исповеди мне в первую очередь бросается в глаза то, что исповедующийся старается скрыть. По собственному опыту знаю: пускаясь в откровения, я совершенно искренен. Позднее для меня отчетливо проступает то, что в моих откровениях я недоговорил. И даже более того, сознательно скрыл. И так всякий раз.

5

Первый шок — когда обнаруживаешь, что самый близкий тебе человек так же много недоговаривает тебе, как и ты ему. Что с возрастанием близости недоговоренность только увеличивается. Отсюда все тупики и провалы в наших отношениях. И одновременно — смутное предчувствие, что без недосказанности эти отношения утратили бы свою интенсивность.

6

Все эти нормы приличия, формулы вежливости, хваленое чувство такта — не что иное, как маскировка невысказанного, перевод невысказанного на язык высказываний. Прямым текстом утаиваемое говорится разве что в разговоре с самим собой. Хотя опытный конспиратор и разговор с самим собой редко ведет начистоту. Поэтому третье начало человеческой термодинамики утверждает: от себя я утаиваю даже больше, чем от других. Но только уже другое.

7

Речь здесь вовсе не идет о какой-то универсальной теории умолчания. Мне, в отличие от модных научных светил, достаточно, что то, что я говорю, верно хотя бы в отношении меня. И говорю я это только от себя. Амбиций выработать некую догму у меня нет. Я во всеуслышание говорю то, что касается только меня, потому что хочу тем самым проверить, не чувствуют ли и другие то же, что чувствую я. И если мне иногда случается говорить о чем-то в обобщенном смысле, то вовсе не потому, что я полагаю, будто мне открылось нечто, справедливое и для других; к обобщениям я прибегаю лишь тогда, когда не решаюсь признаться: то, о чем я говорю, — мой личный опыт.

8

Подозреваю, что и другие недоговаривают мне про меня так же много, как и я им — про них. Может быть, я настолько преуспел в искусстве недоговаривания, что другие думают, будто я от них ничего не утаиваю, зато они от меня — очень многое. Приходить в восторг для меня — дело несложное и абсолютно привычное. Такая наигранная восторженность, когда умело сыграно, действует безотказно. Но стои́т за этим всегда одно и то же: наш самый сокровенный мотив, помысел, интерес мы окутываем самой непроницаемой, самой густой пеленой умолчания. И тут мы подошли к четвертому началу человеческой термодинамики: каждый человек превращается в поэта в силу невозможности сказать то, что хотел бы сказать.

9

Мы, великие конспираторы — рискну еще раз прибегнуть к множественному числу, — люди по большей части вспыльчивые. И оттого крайне категоричные. И, уж конечно, абсолютно непримиримые. Даже не отдавая себе отчета, мы каждую минуту опасаемся быть разоблаченными. А что, если окружающие вдруг догадаются, с чего это мы такие усердные, целеустремленные, энергичные, смелые, такие убежденные демократы, пламенные республиканцы, стойкие борцы за правое дело, такие непреклонные и непримиримые. Всю жизнь стараемся мы превратить нашу любимую маску в наше лицо. И бдительно, высокомерно, искусно прикрываем обнаруживающийся между лицом и маской зазор. В любом уточняющем вопросе мнится нам скрытое подозрение, а то и разоблачение.

10

Каждый из нас — кладезь недоговоренного. Трудно даже представить, сколько ты в себе таишь. И богатство это кажется тебе безмерным. Ты чувствуешь, что в недосказанном — огромная сила. Вот когда-нибудь, думаешь ты, у всех просто глаза на лоб полезут от удивления. Но ты чувствуешь, что в недосказанном и большая опасность. А что, если оно вдруг выйдет из-под контроля и вырвется наружу? Раньше времени. Вот прямо сейчас. Совсем некстати. И это будет конец. Конец тебе. Недосказанное выплеснется наружу в присутствии тех, от кого ты это утаивал. Чаще, однако, преследует тебя страх: а что, если всему недосказанному так никогда и не вырваться? Что ты так и будешь всю жизнь отмалчиваться? И участь эту разделишь с большинством человечества. Это же самое обычное дело: отмалчиваться всю жизнь.

А если все обстоит иначе? И другие скрывают от тебя еще больше, чем ты от них? Гораздо больше, чем ты даже можешь себе представить? А что, если именно ты и есть тот наивный простак, который воображает, будто столько всего от других скрывает, тогда как другие говорят ему все в открытую. Но если бы тебе довелось узнать, что другие про тебя тебе же недоговаривают, ты наверняка прямо на месте рухнул бы без чувств.

11

Я и себе вынужден многое недоговаривать. И чем дальше, тем больше. То, что мне в моих же собственных интересах непозволительно думать, подвергается самому строгому засекречиванию. Стоит мысли хоть вскользь коснуться переживаний, входящих в разряд невыносимых, ты сразу чувствуешь: то, что сейчас в тебе зарождается, должно быть немедленно заблокировано. Оно не должно обрести ясность. Стоит невыносимому замаячить на периферии сознания, как тут же сам собой срабатывает аварийный сигнал: “Задраить люки!”, говоря языком матросов. Или “Закрыть поры!”, говоря языком дерматологов. Это обезвреживание болезненного путем отсечения его от сознания именуется со времен Фрейда вытеснением. Он развенчивает это удивительное умение души защищать себя от невыносимого. Он и здесь меряет все мерками морали и нарекает нас невротиками, когда наши реакции не вписываются в рамки викторианско-бюргерского поведенческого кодекса. Поэтому пятое начало человеческой термодинамики гласит: забвение есть идеальная форма утаивания.

12

Необходимое уточнение: когда человек тебя особенно интересует, в том, что он говорит, еще явственнее проступает то, что он недоговаривает. Высшая степень заинтересованности одного человека другим называют любовью. Тот, кто любит, открывает в сказанном любимым или любимой гораздо больше других. Гораздо больше недосказанного. Наглядный тому пример — ревность. Ревнивец есть самый ревностный открыватель. Во всем он что-то угадывает. Во всем проявленном, высказанном, выраженном видит он скрытый смысл, тайную подоплеку, что-то недоговоренное, принимаемое им за намеренно утаенное. Он угадывает даже и то, что другому может быть еще неизвестно. Он угадывает в другом не только то, что есть, но и то, что еще только будет. Ревнивец — это пророк. Вообще говоря, ревность — суть нашего отношения к миру. Во всяком случае, ко всему тому в мире, в чем мы заинтересованы. Это сможет понять только тот, кто любит мир. Кто любит мир больше, чем он того заслуживает.

13

Шестое начало человеческой термодинамики гласит: то, что нами недоговаривается, разнит нас меньше, чем то, что мы говорим. Отсюда следует, что умалчиваем мы все одно и то же: не конкретно, а в смысле глубинных мотивов, главных тем, жизненных основ.

14

Разница между сказанным и недосказанным не есть разница между правдой и ложью. Недосказанное не есть противоположность сказанного. Недосказанное — это не то, что страшится света, огласки, улик, разоблачения. Или, по крайней мере, не только в страхе тут дело. Недосказанное — это, хочется верить, прежде всего нечто непокорное, безудержное, дерзновенное, томительно безотрадное, безысходное, ранимое, несбыточное, всего в мире бегущее, всего в мире жаждущее, ни под какой знаменатель не подводимое, ни в одно понятие не вмещающееся, страстью жить одержимое и оттого неизлечимой тоской изнывающее — иными словами, то самое главное и безмерное наше богатство. Поэтому шестое начало человеческой термодинамики можно сформулировать и так: недосказанное есть то безмерное богатство, которому всю жизнь ищешь словесную меру.

Но это и так каждый знает. Или?

Луц Зайлер

“...а под ногами лежат прошедшие дни...”

1

“...что *несмотря* на Лигу чемпионов, вы сегодня пришли к нам...” — таким или очень похожим зачином нередко открываются поэтические вечера: *несмотря* на футбольный матч, *несмотря* на дальнюю дорогу, *несмотря* на плохую погоду и т. п., после чего люди, сидящие в зале, не вкусив еще ни одной поэтической строчки, начинают и вправду задумываться, а зачем действительно они тут оказались и не теряют ли попусту свое время.

Подспудные сомнения в самоценности стихов одолевают, похоже, не только их любителей, но и знатоков-профессионалов. Даже, казалось бы, сочувственный псалом о невнимании и недооценке, которым сегодня, как правило, начинается любой разговор или любой текст о поэзии, лишний раз подтверждает, что никаких разумных оснований писать стихи, по всей видимости, нет. Зато достаточно разумных оснований этого не делать. “Ради гонораров писать не станешь, жить на них можно только впроголодь”, — говорит в своем стихотворении “Строй речи” Готфрид Бенн, и в этом плане с тех пор мало что изменилось.

Приходится признать, что стихи появляются на свет в силу некой необъяснимой, безусловной потребности. Рождение их не зависит ни от благоприятствующей ситуации в обществе, ни от повышенного интереса читающей публики, ни даже от желания декларировать свое поэтическое кредо. Исток стихотворения лежит гораздо глубже и остается, по сути, невидим для постороннего глаза. В теоретических размышлениях и выкладках, переполняющих многочисленные поэтики — не важно, написаны они учеными-литературоведами или же склонными к теоретизированию поэтами, — эти прапоэтологические “откуда” и “почему” непонятным образом не затрагиваются.

В своем выступлении на тему “Поэзия и жизнь” Гуго фон Гофмансталь говорил: “...а под ногами лежат прошедшие дни, теснясь как узники в прозрачных безднах. А рассуждать о современной поэзии можно на множество фальшивых ладов,

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004. All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin.

весьма, однако, угодных публике. И для вас, уважаемая аудитория, нет ничего привычнее подобных разговоров об искусстве. Огромное количество модных фраз и имен держите вы в своей памяти, и все они что-то вам говорят. Более того, даже имеют в ваших глазах большой смысл. И мне, выступая перед вами, следовало бы умолчать о том, что большинство этих имен ничего, ровным счетом ничего, мне не говорит, что большинство из того, что этими именами подписано, ни в малейшей степени меня не удовлетворяет. Мне следовало бы умолчать, что я всерьез считаю, что об искусстве едва ли нужно, едва ли возможно говорить, что ухватить в этих разговорах удается лишь самое незначительное и несущественное из-за бессловесной природы всего значительного и существенного...” На этом можно было бы поставить точку, но и Гофмансталь на этом точки не ставит. Речь, и даже довольно пространную, он все-таки произносит, решительно давая отпор тайным надеждам публики, что поэт в угоду ей парой остроумных, неожиданных, откровенных признаний наведет тем самым между ней и собой столь желанный мостик.

Начиная с эпохи модерна, именно такую гордую позу обычно принимает поэт по отношению к публике. За демонстративным отказом от любых толкований стоит невозможность для автора иными словами передать эту всепроникающую и всеохватную связь жизни и текста. Насколько безусловной представляется эта связь, настолько же непроницаемыми для читателя остаются ее внутренние хитросплетения, ее глубинный узор. И это недопонимание между читателем и автором непреодолимо и потому плодотворно. Каждый привносит в текст, исходя из контекста собственной жизни, новые смыслы, рождаются комментарии, создаются поэтики, пишутся критические статьи, любой читатель при желании сможет отыскать в тексте что-то свое, опираясь на свой опыт. Нередко и сам автор — то ли по лености, то ли из тщеславия или беспомощности — начинает повторять идеи, вычитанные из его текстов другими, если, припертый к стенке, он вынужден в очередной раз комментировать им же написанное. Но недопонимание, дистанция, разночтения остаются и тогда, когда автора хвалят. Когда же его критикуют, хоть критика и больно ранит, но не оставляет того чувства разочарования, как если тебя неправильно поняли. О понимании в этом случае говорить вообще не приходится. Ситуация малоприятная и малоутешительная для обеих сторон. Но с этим, если имеешь дело со стихами, приходится мириться — и той и другой стороне.

“...*несмотря* на Лигу чемпионов...” — пусть бойкая фраза нашего ведущего (см. выше) или жалостливый псалом о мар-

гинальности поэзии и злостном пренебрежении ею — всего лишь неловкий жест, не все ли равно. Сама растерянность показательна. И говорит она об общей растерянности перед безусловностью стихов, из-за которой пасует наше сознание. И если не помнить об этом, то между вами и стихотворением мгновенно разверзается какая-то зияющая пустота, и тут же начинаются отчаянные поиски подходов и мостиков, и под конец не остается ничего другого, как хвататься за избитый спасительный штамп — "*несмотря* на Лигу чемпионов". Порой дает о себе знать, хотя, возможно, и не так часто, еще и тайная неприязнь к этим неподатливым и заумным текстам. Не намеренно ли они (а тем самым и их авторы) водят за нос своих толкователей, чем же иначе объяснить все эти невнятности и недоговоренности? К какому выводу подталкивают нас подобные намеки, догадаться несложно.

Самые невероятные роли приписываются поэту с тех пор, как он утратил свое прежнее предназначение — бродячего певца, трубадура или придворного хрониста. Но это не должно его печалить... "невзирая на Лигу чемпионов". Меня в данном случае это задело, и это задело бы всякого, кто, как и я, до сих пор каждый вторник играет в футбол, чье детство на девяносто процентов состояло из футбола, кто и сегодня в любой день Кубка чемпионов, не задумываясь, скажет вам, на какой строчке в турнирной таблице стоит ФК "Кёльн", — и вдруг неожиданно для себя обнаруживает, что из-за какой-то надуманной, но упорно навязываемой ему альтернативы: "либо лирика, либо Лига чемпионов" — сам становится помехой такому удовольствию, как футбол. Мало того, что он неизвестно для чего пишет стихи, но еще ко всему прочему должен и подыгрывать совершенно чуждой ему команде брюзгливых и самодовольных ненавистников футбола, которые во вступительном слове нашего ведущего наверняка с удовлетворением отметили тонкий и лестный намек на свое духовное превосходство.

2

Когда я только начинал писать стихи, то подумывал составить нечто наподобие "Словаря диффузного мироощущения", который со временем планировалось превратить в своеобразный "Справочник по поэтике", исходя из таких "наиболее типичных случаев", как *отрешенность*, *усталость*, *тяжесть*, — очень близких друг другу и хорошо знакомых с детства состояний, в которых связь с миром ощущается тобой самым непосредственным образом. Многое в тех старых записях утратило за послед-

ние пятнадцать лет свою ценность, но отдельные наброски представляются и сегодня важными для писательского дела.

Отрешенность

Подчинить процесс рождения стихов состоянию полной отрешенности — всегда было моей мечтой. Отрешенность как способ отступить на второй план, превратиться в зрителя, воспринимать вещи без какой-либо определенной цели, не навязывая им заранее предписываемых смыслов. Поддаться кратковременному ощущению полной непричастности к окружающему, позволить вещам и словам зажить своей жизнью и самому освободиться от их участия в твоей. Пути к достижению этого идеального состояния могут быть разными, важную роль играют соотношение движения и неподвижности, можно, например, попытаться довести внутреннюю динамику стиха до такого немыслимого пика, что она приведет к разрыву всех связей, к полной остановке и, как следствие, — мощному выбросу энергии отрешенности.

Усталость

Поскольку на меня в школе часто накатывала такая непреодолимая усталость, что у меня буквально слипались глаза, меня в конце концов пришлось отвести к врачу. Тот поставил диагноз “болезненная сонливость” и велел принимать таблетки. Как-то утром, отправившись вместо уроков в лес, я там свалился с дерева. Замечтался, наверно, сидя на суку, может, даже немного вздремнул и очнулся уже в карете “скорой помощи”. Все мое детство прошло под знаком “дефицита внимания”, и расстройство это считалось у меня настолько серьезным, что не на шутку беспокоило взрослых. Целый ряд невероятных происшествий, казалось, подтверждал их опасения. Однажды, спрыгнув с крыши дедушкиного сарая, я заехал себе коленом в глаз. Четыре недели лежал потом после операции в глазной клинике. Мне на ум тогда часто приходила известная библейская мудрость, которая учит нас беречь что-то “как зеницу ока”. Мама очень любила ее повторять — и мне всякий раз становилось страшно за свои глаза. И тем не менее ключи от дома, мешок для физкультуры, коробочку для завтрака, кошелек — все эти “зеницы ока” моего детства я беспрестанно терял и обрел их заново только гораздо позднее — в своих стихах.

Соседом по палате в глазной клинике был у меня рабочий-строитель. Надоумило его однажды обратить взор к небу — или зов ему какой послышался, или окликнул кто, но сверху, с лесов, прямо в широко открытые глаза упала ему негашеная известь. Глаза его были буквально сожжены. Я часто потом думал о нем, особенно когда уже сам, выучившись на строителя, работал в разных строительных бригадах. Согласно технике безопасности, во время штукатурных работ нам всегда полагалось носить с собой флаконы для промывания глаз, такие ослепительно-белые пластмассовые бутылочки со специальными насадками, которые в экстренном случае надо было плотно прижать к глазу, чтобы тут же его промыть. Среди бывалых строителей штукатурные работы считались хорошей тренировкой для глаз. Уметь вовремя, прежде чем будет поздно, зажмурить глаза — очень полезный навык. Никто из нас не брал с собой этих флаконов — постыдной приметы новичков, они всегда лежали в шкафчиках в раздевалке. Спустя какое-то время наши глаза были хорошо натренированы, но учиться приходилось на собственной шкуре — то лихорадочно плещешь в лицо отстойной водой из чана, то трясущимися руками, обратя взор к небу, льешь на себя сверху из пивной бутылки. Каждый знает, как трудно вновь открыть поврежденный глаз. Защитный рефлекс не дает это сделать. Может быть, этим же объясняется и трудность писательской работы и то большое, связанное с ней, напряжение. Ощущение ранимости глаза осталось во мне, во всяком случае, навсегда.

Т*яжесть*

Есть тексты, тяготеющие к материальности, предметности, вещности — и, тем самым, придающие особое значение весу вещей. Вес — не только как физическое свойство, но и как форма языкового общения вещей — в плане взаимодействия их смысловых гравитационных полей. При работе над стихотворением важно уловить это взаимное, идущее от их смысловой нагруженности притяжение вещей и воспроизвести. в тексте эти незримо связующие их нити.

Постмодернизм с его пристрастием к легкости, быстроте, мерцанию и полету развивал прежде всего дематериализованную концепцию мира и делал на нее основную ставку. Все мы тогда находились под сильным влиянием так называемых теоретиков постмодернизма: Делёза, Лиотара, Фуко, Гваттари, Вирильо, Ролана Барта, Жана Бодрийяра. Мир в ту пору мыслился “неформальными поэтами” из района Пренц-

лауэр-Берг в Восточном Берлине исключительно в постмодернистских категориях — "ризом" и "диспозитивов", а Делёз и Гваттари считались непререкаемыми кумирами. Это был конец восьмидесятых, до нас, на Восток, волна докатилась, как всегда, с привычным опозданием. Что осталось от тех лет? Огромный резервуар метафор и подтверждение мысли Хорхе Луиса Борхеса, что всемирная история есть не что иное, как история метафор, а смена парадигм в науке — только их новое метафорическое переосмысление. Но ведь каждый когда-то с восторгом увлекался той или иной идеей, даже, бывало, влюблялся в некое особое толкование мира и отстаивал его с той преданностью и одержимостью, на какую способен, пожалуй, только единожды в жизни. Но потом что-то надламывается в этой вере и проступает относительность ее правоты, и ты вдруг начинаешь, пусть поневоле, но и с некоторым облегчением, поиск чего-то нового.

В эссе Йозефа Ханимана "О тяжести" высказывается мысль о приближении нового, "второго", этапа эпохи модерна, заново открывающего для себя столь долго и глубоко презираемую всеми тяжесть, а вместе с ней и медлительность, инертность, неподатливость и т. п. как свойства окружающих нас вещей и бытия в целом, и потому утверждающего "в бесконечном круговороте виртуальных информационных потоков островки безыскусной предметности и тем самым заново возвращающего человеку что-то наподобие незыблемой немой реальности".

Невозможно, разумеется, свести суть писательского дела только к таким "экзистенциальным" состояниям, как отрешенность и тяжесть. Все мы, по выражению Нотебоома, в той или иной степени есть "сплав вымысла и действительности". Но рассказать о тех внешних воздействиях, тех пережитых травмах, тех ингалируемых смесях, которые позднее в виде экстракта конденсируются в наши тексты, думается, возможно. Все это формировало наш особый морфологический состав, из которого позднее, путем перегонки, и вырабатывались стихи.

3

"У каждого только одна песнь"[1] — и ее сразу узнаешь по тону. Тон рождается инструментом, которым, в конечном счете,

1. Фраза американского писателя Пола Боулза, который был и композитором, сказанная им в одном из последних интервью в ноябре 1999 г. в Танжере. (*Прим. автора.*)

стали мы сами. За каждым стихотворением стоит своя история, некогда пережитая нами, стихотворение подхватывает ее тон, оно не пересказывает ее, а передает ее тон. “У каждого только одна песнь” — значит, прежде всего, что у каждого она есть. “Только одна песнь” — значит, прежде всего, что у каждого — своя песнь. На поиски ее могут уйти годы; бесконечные вариации на тему, перепевы чужих мелодий — вроде бы и неплохо на слух, но ведь не та самая, единственно твоя! Можно, наверно, сказать и так: стихотворение — это то, что, безусловно, пронизано жизнью автора, та его собственная песнь, его вера в некий “абсолютный ритм”, его собственный ритм. Вера в некий абсолютный звук, который есть звук его самого. Этой загадочной гипертрофией слуха, которую так категорически отстаивает в своих коротких программных эссе Эзра Паунд, и объясняется появление стихов.

Писать стихи — трудный способ существовать, и в то же время единственно возможный. Особенность в том, что точность стиха заключается в его неповторимости. Стихи с предельной точностью работают над тем, что в словах невыразимо. Немое, неповторимое, невыразимое — его уникальность и одновременно универсальность, в неразрывной связи двух этих начал и состоит главная ценность стиха.

Стихотворение делает шаг в сторону ненареченного и, вероятно, по сути своей ненарекаемого, не ведая конечной цели своего движения. Может быть, поэтому, когда возникает вопрос о смысле стихотворения, тут же начинаются поиски его истоков, некой фиксируемой отправной точки, которая могла бы указать путь и к его пониманию. Эпоха модерна предложила в качестве разгадки свое особое представление о теле, о его вовлеченности во все сферы человеческой жизнедеятельности, о его связи с языком и со всем ненарекаемо сущностным. Значит ли это, что все сказанное и написанное диктует нам наша физиология, что, воспроизводя себя в тексте, мы расшифровываем записи, сделанные в нас жизнью? Работая над языком, мы превращаем в текст самих себя.

Дилан Томас, отвечая на вопрос о своей поэтике, писал: “Никакой особой поэтики у меня нет. Меня занимают вещи, о которых трудно писать и которые трудно понять”. Филип Ларкин в радиоинтервью 1968 года рассказывал о впечатлении, произведенным на него стихами Томаса Гарди: “Когда я впервые открыл их для себя, то с облегчением обнаружил, что нет необходимости возвышаться до какой-то абстрактной поэтической идеи, далекой от твоей собственной жизни... можно просто погрузиться в свою жизнь и писать оттуда...” И позднее, в интервью журналу “Парис ревью”: “Я никогда не задумывался над тем, что такое по-

эзия. Мне стихи приносили физическое облегчение и были моей внутренней потребностью в зависимости от тех или иных обстоятельств...” Поэтому и от теории поэзии нельзя ожидать, что она найдет слова тому, что оттого и ценно, что в словах невыразимо. Вот и собираешь по крупицам, что — в зависимости от обстоятельств — оказывается под рукой, “пытаясь ухватить что-то вечно от тебя ускользающее”, как говорит в стихотворении “Круги” Р. С. Томас. “Настоящий лес состоит из деревьев, которых я не вижу, — записывает Хосе Ортега-и-Гассет после своей прогулки по лесу. — Лес всегда чуть дальше того места, где мы сейчас оказались. Он только что оттуда ушел, и нам остается лишь его свежий след... Лес, который мы видим, — это лишь подступ к его глубине, ко всему в нем сокрытому...”

Ханс Магнус Энценсбергер

Что такое стихи?

Наброски словарной статьи

СТИХИ – упорно избегаемая публикой разновидность текстов с характерным расположением строк в столбик по левому краю и оставляющих много пустого места по правой стороне страницы.

Повсеместной неприязни к **С.**-ам существуют различные объяснения. Ошибочно было бы, наверное, возлагать всю вину на школу, где детям навязывают **С.**-и, которых сами они не выбирали, но о которых вынуждены писать пространные сочинения. Это не может не вызывать отторжения, не ослабевающего во многих случаях и спустя десятилетия.

Широко распространено также мнение, будто **С.**-и трудны для восприятия. В бытовании этого мифа до некоторой степени повинны и сами их создатели. Хотя, говоря по правде, тексты этого рода в большинстве своем гораздо доступнее для понимания, нежели партийные программы, перечни

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008. All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin.

договорных обязательств, контракты по найму жилплощади или инструкции по эксплуатации бытовой техники.

Заблуждаются, кстати, и те, кто утверждает, что от природы глухи к С.-ам. Люди, которые бы не знали наизусть ни одного подобного произведения, встречаются крайне редко. Ко всем известным образцам С.-ов можно отнести "Отче наш", "Баю-баюшки-баю", государственный гимн, "I can't get no satisfaction"[1], всевозможные детские считалки и различные — в зависимости от вашего года рождения — шлягеры из популярных кинофильмов или радио- и телепередач.

Стоит упомянуть и некоторые другие особенности данной разновидности текстов. С одной стороны, нельзя найти в мире решительно ничего такого, что бы не воспели или не отразили в своих творениях авторы С.-ов, то есть поэты. В этом смысле С.-и, в отличие от большинства прозаических произведений, можно считать всеядными. С другой стороны, С.-и в целом отличает краткость. С.-и длиной в роман являются скорее исключением, и это значительно сокращает затраты времени, необходимого для их прочтения.

Период полураспада у разных С.-ов весьма различен. Большинство их увядает мгновенно, как букет лесных фиалок, хотя известны случаи, когда отдельные образцы С.-ов пережили несколько тысячелетий.

Обращают на себя внимание высокие темпы производства С.-ов. Этой продукцией буквально завалены все редакции и издательства. С.-и, насколько нам известно, являются единственным средством массовой коммуникации, в котором число производителей превосходит число потребителей.

Наконец, следует отметить и то удивительное обстоятельство, что непреложным законам рынка С.-и оказываются неподвластны. В отличие от других, так называемых продуктов культуры, рыночная стоимость С.-ов практически равняется нулю. Столь редкостный иммунитет повергает многих поэтов в отчаяние, другим же, напротив, представляется исключительной привилегией.

С экономической точки зрения существование С.-ов необъяснимо. В попытках полностью их искоренить — по крайней мере в печатном виде — недостатка не было. Крупнейшие издательские концерны и телеканалы недвусмысленно дают понять, что присутствие С.-ов в их программах нежелательно. А отдельные правительства пошли и того дальше, попытавшись пресечь распространение С.-ов насильственным об-

1. Легендарный хит группы "Роллинг Стоунз".

разом, усматривая, вероятно, в подобной форме выражения мысли серьезную угрозу для общества, — угрозу, которая при более трезвом рассмотрении оказывается явно преувеличенной.

Но в общем и целом данной разновидности текстов удалось продемонстрировать поразительную живучесть. Ученые-этнологи в результате долгих и кропотливых исследований пришли к выводу, что такого социума, которому были бы неведомы **С.**-и, никогда в истории человечества не существовало. И уже хотя бы по этой причине все опасения, будто **С.**-ам грозит скорое и неизбежное вымирание, не имеют под собой никаких оснований.

Тот самый Вудхауз?

Стихи

Переводы с английского Елены Калявиной,
Татьяны Зюликовой

Вступление Елены Калявиной

— Тот самый? — спросит читатель. — Вудхауз, который "Дживс и Вустер", Псмит и мистер Муллинер? Ах, он еще и поэт?

Да-да, Пелем Гренвил Вудхауз еще и поэт, хотя в этом качестве русскому читателю он совсем неизвестен. На этом поприще Вудхауз верен себе. Он седлает своего любимого иронического конька и бойко скачет, размахивая пародийной лирой, рифмуя легко и, что называется, на злобу дня. Стихов у него огромное количество, десятки напечатаны в сатирическом журнале "Панч", кое-что перепало и другим изданиям. Веселому шутнику, например, ничего не стоит дописать кэрролловскую историю про Плотника, Моржа и устриц, снабдив ее неожиданной пикантной развязкой вполне в духе самого Кэрролла. Или сочинить собственную готическую историю, выдумав весьма правдоподобный Лондонский Потусторонний Трамвай. Он рассказывает о любви и дружбе, не уступающей дружбе легендарных Дамона и Пифиаса, смешав возвышенную лексику с кондовым канцеляритом, он помогает бедному Пегасу составить жалобу Господину

© Елена Калявина. Перевод, вступление, 2015
© Татьяна Зюликова. Перевод, 2015

Редактору на заездивших его графоманов, он пишет о моде, о погоде, о литературе, о свежих криминальных новостях, о науке, о тенденциях современного ему общества — и все это в рифму, затейливо и остроумно. Вот таков он, поэт Пелэм Гренвил Вудхауз. Тот самый.

Пелем Гренвил Вудхауз

Потусторонний Трамвай

Бродят призраки замков и башен пустынных —
Тени сквайров и чопорных дам,
Но за эти подделки в нарядах простынных
Я сегодня и пенни не дам.
Знаю, в Лондоне есть дух особого толка —
Не на древе созрел родовом —
Не боится ни гнили, ни грязи нисколько
Тот, Кто Ездит в Трамвае Ночном.

Этот призрак невидим для глаза людского,
Он крадется, крадется, шурша,
Слышно, как он подходит все ближе, два слова
Произносит — и в пятки душа!
Что так странно хрустит — не крошатся ли кости?
Будто снится в кошмарном сне:
То, невидимый, клацнет зубами компостер,
То цепочка звенит на ремне.

Вот сгущается сумрак, и ночь роковая
Наступает при свете рожков,
И отчетливо слышен на крыше трамвая
Жуткий шорох чьих-то шажков.
Тот, Кто Ездит в Трамвае, заходит незримо
К пассажирам на империал,
Но не трогает их — просто шаркает мимо
(Мне приятель один рассказал).

Так внемлите Легенде Ночного Трамвая:
Если только в полуночный час
Вас к нему на площадку дорожка кривая
Заведет — призрак выследит вас!
Он шепнет: “Вашш билет...” — прикоснется рукою
Ледяной — и у вас в тот же миг
Встанут волосы дыбом (бывает такое,
Что шевелится даже парик!).

Не спешите на станции прочь из вагона,
Не летите домой во весь дух —
Лучше просто кондуктору дайте полкроны
И спросите: “Что это за Дух?”
И кондуктор, дрожа, объяснит, как все было,
И мораль изречет неспроста:
“Вишь-ты, тут бедолагу в лепешку сдавило
Очумелой толпой,
Когда — сам не свой —
Вусмерть бился народ за места”.

Дамон и Пифиас

Романтическая история

От самого начала
Земного бытия
Любезней не бывало
Друзей, чем Джонс и я.
От Сотворенья Мира,
С адамовых времен
Никто верней не знал друзей,
Чем были я и он.

С младых ногтей встречали
Бок о бок снег и зной,
Веселье и печали
Делил мой друг со мной.
И, связаны навечно,
Как нитка и игла,
Дружили мы беспечно,
Но вдруг — любовь пришла.

Мисс Джули Уайт подробно
Я описать не прочь:
Изящна, благородна,
Манеры, герб и проч.,
Головка белокура,
А кожа — что атлас,
Округлая фигура
И синь бездонных глаз.

Любимой Джули ради,
Пыхтел я и вздыхал,
Слал сливки в шоколаде,

Я клялся, речь держал,
Дошло до прений даже,
Но был мне Голос вдруг:
“А что на это скажет
Твой самый близкий друг?”

И в тот же день, к обеду
Сказал я Джонсу так:
Коль встречных исков нету,
С мисс Уайт вступлю я в брак.
Но, став белее мела,
Печально молвил он:
“Дружище, плохо дело —
Я сам в нее влюблен”.

И, волю дав рыданиям,
Я пал ему на грудь:
“Конец всем притязаниям,
Слова мои забудь,
И быть мисс Уайт твоею!”
Но, плача, Джонс изрек:
“Умру, но не посмею
Стать другу поперек.

Иди к своей невесте”.
“Нет, я так не привык:
Ступайте к счастью вместе,
Женись на ней, старик!”
А Джонс: “Нет-нет, ну что ты!”
Мы спорили весь день,
Я не отдал ни йоты,
Он тоже был — кремень.

Год про́вели мы, споря
И мучаясь всерьез,
Но осенило вскоре,
Как прояснить вопрос:
“Быть может, Джонс, уместно
(я знаю, это бред!)
Спросить, а что невеста?
Согласна или нет?

Возможно предпочтение —
Мы знать его должны,
Пора заслушать мнение
И третьей стороны”.

Письмом в добротном стиле
(подробности — не грех)
Мисс Уайт мы изложили
Причину трений всех.

Под утро лишь заснули,
Тут письмецо, как раз,
А в нем: “Увы, мисс Джули
Обоим шлет отказ”.
Средь прочих, веский довод:
“Мисс Джули, — он гласит, —
Полгода как вступила в брак
И стала миссис Смит”.

Перевод Елены Калявиной

Семейное счастье

Б*аллада*

(В городе Портленд, что в штате Орегон, наделала шуму история двух супружеских пар, арестованных по обвинению в разбое. Есть сведения, что дамы не только присутствовали при совершении преступлений, но и помогали мужьям обыскивать жертв.)

Ах, Эмерсон Кей Уошингтон сражен был наповал,
Когда он Сэди Кью ван Потт впервые увидал.
Сначала Уошингтон робел, но чувства рвались вон,
И вот он сердце ей открыл, коленопреклонен:

“О Сэди Кью! Тебя люблю любовью неземной,
И все поклонники твои — ничто передо мной.
Я мучаюсь бессонницей, когда округа спит,
И, что гораздо хуже, я утратил аппетит.

Не лезет в горло мне омлет, противен стал бекон,
И даже сладкое претит тому, кто так влюблен.
Не соблазнят меня бобы, бифштексы и рагу.
Теперь ты видишь: без тебя я больше не могу!

Так без стыда скажи мне “да” и стань навек моей,
Сиянием своей любви тоску мою развей!
Но если вдруг, о милый друг, ты хочешь отказать,
Позволь наш будущий союз тебе живописать.

Я знаю, многие мужья своих не ценят жен,
И доступ к денежным делам для женщин запрещен.
Разряженная кукла мне в хозяйстве не нужна,
Но я хочу, чтоб мне была помощницей жена.

Мой ангелочек, если ты решишь мне стать женой,
То все заботы и труды разделишь ты со мной.
Отбоя от клиентов нет — какой тут разговор,
Ну а профессия моя — простой и честный вор.

В далеком Орегоне я веду свои дела,
И слава обо мне давно весь Портленд обошла.
Скажу без всякой похвальбы, на целый Орегон
Гремит кликуха Билл Кастет! Так вот, я — это он.

Вот мое сердце и рука, и если скажешь “да”,
То станем вылазки вдвоем мы совершать всегда!
Ты будешь под луной гулять с избранником своим,
Беспечных путников искать, карманы... чистить им”.

Едва он кончил эту речь, сказала Сэди: “Ха!
Давно искала я себе такого жениха!
Беспечных путников карман мы скоро облегчим.
Скорее пастора зови, ведь медлить нет причин”.

Священник не заставил ждать, откликнувшись на зов,
И Сэди с Эмерсоном обвенчал без лишних слов.
Рад сообщить, что этот брак свободен от забот,
И в Орегоне мало кто так счастливо живет.

Ведь после ужина, едва померкнет горизонт,
Дубинки парочка возьмет, оставив трость и зонт,
И спросит Эмерсон: “Дружок, готов твой пистолет?
Патроны при тебе?” — “А то!” — она ему в ответ.

Они крадутся в темноте, скользят в ночной тиши,
И, если поздний пешеход один домой спешит,
Дубинка Эмерсона Кей его сбивает с ног,
А пальцы ловкой Сэди Кью берут с него оброк.

Не зная горя, так живут супруги день за днем,
И пусть история проста, мораль мы в ней найдем:
Не может ни один союз счастливым быть вполне,
Коль мужнина профессия не по сердцу жене.

М*ногие знания...*

(Один американский ученый пришел к выводу, что от избытка образования и умственной деятельности женщины теряют красоту.)

О Филлис! Я не знал иной услады,
Как воспевать красу твою и стать,
И пусть порой стихи мои нескладны,
Но искренности мне не занимать.
Жаль — твоего лица поблекнут краски,
Останется воспоминанье лишь,
Ведь, ходят слухи, учишь ты испанский
И параллельно греческий зубришь.

Твой ясный взгляд заволокла забота,
Мой робкий стих тебе уже не мил:
Перед тобою томик "Дон Кихота"
Или отец трагедии Эсхил.
По строкам водишь пальчиком серьезно
И разбираешь Фукидида слог.
Опомнись, милая, пока не поздно!
Невзрачность — непростительный порок.

Отринь же кровопийцу просвещенье!
Запомни эту пламенную речь.
Высокое твое предназначенье —
Для родины красу свою сберечь.
Ты молодости не сгуби напрасно
Средь фолиантов скучных и сухих,
Другим оставь познанье, будь прекрасна!
А мудрости мне хватит на двоих.

Перевод Татьяны Зюликовой

Сергей Гандлевский
Экскурсия в Африку

Вдоль по Африке гуляют...

Корней Чуковский

Наконец-то велели пристегнуть ремни и поднять шторки, и самолет зашел на посадку, и внизу показались горы в закатном освещении — хребты и гребни, отбрасывающие исполинские тени. Быстро темнело.

Всегда хотелось путешествовать. И здесь мне не в чем себя упрекнуть: пока границы были заперты, я немало поездил по 1/6 суши, а когда сделались доступны и оставшиеся 5/6-х, своего не упускал. Разумеется, географическая моя страсть, как и прочие, с годами пошла на убыль, но в память о былом энтузиазме я все еще легок на подъем. Теперь, значит, Марокко.

После знакомого "букета" холодной московской осени и шести часов дистиллированного воздуха в салоне самолета, в Агадире, сразу по выходе из аэропорта, резко пахнуло солью, йодом и какой-то теплой прелью — океаном, говоря попросту. Я вспомнил, что по ту сторону Атлантики, в Гаване, похожий запах.

© Сергей Гандлевский, 2015

Красавец сотрудник турфирмы улыбнулся, потупился и сказал на хорошем русском, что запомнить, как его зовут, будет нетрудно, поскольку он тезка — и произнес имя известного международного головореза.

Тезка этот напускной своей скромностью давал знать, что перед нами — профи, который уверен, что нам, понятное дело, неймется спросить насчет многоженства и запрета на спиртное. Но группа была не из простых, и вопросы — неожиданными. Фотограф наш сходу поинтересовался, разрешается ли снимать в мечети во время молитвы, а если нет, то возможна ли съемка в остальное время. И вожатый сказал, что, разумеется, попасть внутрь можно в любое время, поскольку мечеть — дом Бога. Но о посещении надо загодя договориться с имамом. "И хорошо ли, — ответил он вопросом на вопрос, — фотографировать молящихся?" Я про себя даже восхищенно присвистнул! То есть в принципе можно. Но, по существу, нельзя.

Сразу по приезде в отель мы потянулись на ужин, и я пе-

репробовал все соленья, пока не напал на здешнюю пунцовую аджику — харису. Наевшись до одышки, как беспризорники или обитатели осажденной крепости (загадка всякого шведского стола и дармовщины в принципе), мы пошли в темноте на мерный шум Атлантики, разулись и бродили по щиколотку по широкому мелководью прибоя, который, усыпив бдительность новичков, напоследок обдал волной выше колена.

А между шеренгой отелей и пляжем по озаренному высокими фонарями променаду неспешно прогуливались приезжие и местные; бегали, несмотря на поздний час, малые дети; подчеркнуто невозмутимо бились в конвульсиях брейк-дансеры; а через чернильную лагуну в зыбких огнях сияла с темной горы гигантская электрическая надпись —

الله الوطن الملك[1]

Наутро мы разбились на две группы и разъехались в разные стороны, и я украдкой позавидовал тем, кому выпало ехать в Сахару, эту африканскую Сибирь. А наша компания двинулась вдоль по атлантическому побережью на север в сторону Гибралтара.

Поскольку это мой первый опыт организованного туризма, поделюсь свежими впечатлениями. Ничего общего с романтической мечтой Пушкина "по прихоти своей скитаться здесь и там..." это, конечно же, не имеет — ты живешь по графику, который тебя более или менее устраивает. Плюсы такого положения вещей очевидны: "кухней" похода заняты профессионалы. Минусы тоже на поверхности: ты не вполне принадлежишь себе. Тобой манипулируют по большей части тебе же во благо и исходя из здравого смысла и опыта: наиболее содержательные маршруты, самые выигрышные точки обзора того-сего, главные достопримечательности и прочее. Но неизбежная при всяком массовом начинании оглядка на общий спрос сказывается и на программе, в которой сквозит чья-то уверенность (увы, далеко не безосновательная), что турист — существо типовое. Я вроде ломлюсь в открытые двери: если перепоручаешь хлопоты своего путешествия посторонним людям, будь готов и к несовпадениям вкуса. Кто бы спорил, но отдельные выхлопы этой индустрии могут и заикой оставить: вдруг за ужином на усталых сотрапезников шведского стола ни с того ни с сего обрушивается фольклорный ансамбль со своими истошными песнями и плясками. Какого, спрашивается, хрена?! Попса — она и в Африке попса! Хотя Африка здесь приплетена ради красного словца. Как-то в Михайловском масляный от наглости малый в армяке и онучах вторгся в экскурсию, сообщив, что он — какое-то внучатое исчадие крепостного гарема здешнего барина-сочинителя. (Кстати, африканца отчасти.)

Насекомое прилежание, с которым массовая культура

1. Аллах. Отечество. Король (*араб.*).

умудряется сделать из всего на свете аттракцион, заслуживает одновременно и ненависти, и восхищения!

Есть, правда, уровень, быть может гарантирующий от панибратства. Но это и стоит принципиально иных денег. В Марракеше, предварительно спросив позволения, мы из любопытства на четверть часа зашли в отель “Mamounia”, числящий в былых своих постояльцах Черчилля, де Голля, Шона Коннери, Катрин Денёв и т. п. Руку даю на отсечение: куда-куда, а в “Mamounia” ансамбль марокканкой песни и пляски нежданно-негаданно не вломится! Под этими сводами — полумрак и журчанье музыки, но никак не громче лепета андалусского фонтана... Правильная штука роскошь!

Значит, мы ехали по высокому океанскому берегу на север, пересекая спускающиеся к Атлантике отроги то Антиатласа, то Среднего, то Высокого Атласа — в этой географии я вскоре успел запутаться. Но меня радовало, что с отрочества знакомое и любимое, приподнятое и торжественное настроение, охватывающее душу всякий раз при виде гор, не притупилось за сорок с лишним лет — когда моим глазам в селе Архыз впервые предстало это диво. Особой и праздничной эмоции — близости гор — посвящены несколько абзацев в “Казаках” Толстого. Сперва герой, молодой вертопрах, думает, что красота гор — такие же высокие слова, вроде слов о любви или Бахе, которые говорятся для приличия. А потом он горы внезапно увидел и испытал мгновенный испуг от их неправдоподобной красоты. И жизнь героя пошла своим чередом, но присутствие гор придавало всему дополнительный смысл. Замечательно!

По равнине можно ехать и день, и два, будто впрок насыщая зрение пространством. Здесь и вздремнуть простительно — но горы совестно проспать. Я недоумевал в молодости, когда ассы географии или гляциологии забивались поглубже в кузов ГАЗ-66 на тюки с экспедиционной рухлядью и дрыхли себе, когда каждый спуск или подъем дороги распахивал виды на расщелины, горные цепи, бездонные ямы воздуха и снежные главы, от которых внутренности завязывались узлом.

И вся эта роскошь сейчас мерно расправлялась то справа, то слева по ходу нашего “вэна”, а я еще тормошил себя то и дело: “Эй, не вздумай привыкнуть к тому, что вокруг — Африка! Расселся тут, как... в Бирюлево-Товарной!”.

Почва этих холмов плодородная и очень красивая, ржаво-рыжая, но возделывать ее — труд, конечно, каторжный. Обработанные участки обнесены изгородью из выкорчеванных булыжников: своеобразные памятники борьбе за выживание. Здесь выращивают аргановые деревья, из плодов которых вручную и в несколько древних приемов добывается масло — для кулинарных и косметических надобностей. Эти раскидистые кроны, похожие на гипертрофированные оливы, сплошь в длинных колючках,

что не мешает косматым козам, по преимуществу черным, прогуливаться вверх-вниз по узловатым ветвям, набивая неприхотливую утробу. И я вспомнил, что видел уже коз-верхолазов мильон раз в детстве — на фотографиях в книге путешественников чехов Зикмунда и Ганзелки, и попросил шофера Фарида остановиться на минуту, чтобы щелкнуть эту давнишнюю невидаль самому... И тотчас рядом как из-под земли выросли пастухи, не менее корявые, чем вековые Argania spinosa, и взыскали со старого приезжего козла налог на экзотику — и пищевая цепь благополучно замкнулась.

И нечто подобное повторялось потом с завидным постоянством. Скажем, заприметил я боковым зрением в тупичке старого Феса махонького дедушку в чалме и ветхом халате рядом с ветхим осликом и тайком заснял его. А звездочет возьми да и просемени ко мне деловито за платой: он там, оказывается, на вахте — ряженый. Ну и кто из нас охотник, а кто — добыча? Вот это-то ощущение подвоха с непривычки несколько нервировало: иногда закрадывалось подозрение, что я — участник спектакля, но не поставлен об этом в известность.

Подцепив вирус мнительности, я, вероятно, лишил себя полноты удовольствия от ночного столпотворения на площади Джемаа-эль-Фна в Марракеше. Эта огромная площадь в центре огромного же глинобитного средневекового города в ночные часы традиционно отдается под балаган и в прямом, и в переносном смысле: заклинатели змей, гадалки, знахари, пляски трансвеститов; тут же обжираловка — чаны с диковинным варевом; какофония из музыки, пения и всякого рода завываний, и, понятное дело, у недоверчивого новичка может создаться впечатление, что эти возбужденные толпы норовят именно ему всучить что-либо абсолютно лишнее. Скажем, точную дату его смерти с плошкой похлебки из бараньих мудей в придачу. Для скованного человека, вроде меня, эти встречи глазами в толпе с последующим хватанием за руки и принуждением к чему-то непонятному — нешуточное испытание, поэтому я заранее напялил одну из самых отталкивающих своих физиономий — и, скорей всего, сам же и прогадал, отвадив от себя заодно с шарлатанами Джемаа-эль-Фна добрую половину праздника.

Вряд ли когда еще занесет в эти края, но мой совет: набивайте карманы мелочью и позволяйте водить себя за нос, пока не наскучит! Если разобраться, все по-честному: вы ведь не жить сюда приехали, а пялиться; перед вами, зеваками, и ломают за гроши какую-то свою комедию.

Но одну безусловную удачу той ночи сберегу и внукам расскажу: я видел дервишей! Всякий раз, перечитывая "Путешествие в Арзрум", я с веселым умилением предвкушаю это место: *Увидев меня во фраке, он* (пленный паша. — *С. Г.*) *спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: "Благо-*

словен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются". <...> Выходя из <...> палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.

Так точно: четыре огородных пугала расположились прямо на мостовой с краю безумствующей площади. Желая сделать мне приятное, наш гид Анисс дал им монетку, и они принялись кликушествовать наперебой. Хватило их, как музыкального автомата, секунд на сорок.

Вообще, "книжный" опыт, восполняя отсутствие личных местных воспоминаний, служит добрую службу в путешествии. Объясню, о чем я.

Я, вероятно, равнодушно скользнул бы глазами по забулдыге-европейцу средних лет, с достоинством принимавшему чаевые в устричном ресторане в Уалидии, если бы не вспомнил, что именно в Марокко скончал свои дни совсем пропащий лорд Себастьян из любимой в молодости книжки Ивлина Во "Возвращение в Брайдсхед". А голливудский ретрошарм передается Касабланке за счет знаменитого одноименного фильма. Иначе бы, вполне вероятно, — ни уму ни сердцу. А то я вдруг сам в Рабате почувствовал себя не настоящим и объемным, а вымышленным и заключенным в плоскость киноэкрана. Дело было так. Каждый раз мы обедали в новом месте, где организаторами тура уже был заказан столик и меню. Еда была вкусной, виды во время трапез — прекрасными. В Рабате нам, видимо, решили дать представление о риаде — старинном доме традиционной планировки, но переделанном под маленький отель с сохранением национального колорита: галереи в два-три этажа, мозаики, внутренний двор с фонтаном и т. п. Снаружи такое строение может смотреться совершенно обыденно, но изнутри — впечатлять богатством.

Кроме нас в зале сидела оживленная, но почтенная компания. Я отобедал и украдкой поглядывал, как седоголовый красавец официант развлекал важных посетителей, метко разливая чай по стаканчикам из чайника, молодецки воздетого на высоту чуть согнутой в локте руки. Не досмотрев аттракциона, я вышел покурить на улицу. В створе узкого проулка маячил двухметрового роста атлет в черном костюме и с рацией. Я развернулся на 180° и поежился — с противоположной стороны проулок перегораживала зеркальная копия телохранителя, от которого я только что отвернулся. Бертолуччи? Антониони? Откуда мне знаком этот морок? Позже выяснилось, что обедавшая одновременно с нами компания была школьными учителями короля или что-то такое.

Но если не иметь в виду туристическую сверхзадачу об-

жорства экзотикой, можно обойтись и вовсе без нее. Вечером в древнем Фесе после изнурительного экскурсионного дня мои спутницы собрались наведаться в огромный торговый мол в окрестностях гостиницы. От нечего делать я увязался за ними. Как и следовало ожидать, уже через четверть часа своим скучающим видом я стал действовать дамам на нервы, и они усадили меня с кофе, а сами упорхнули, пообещав забрать из этой "продленки" через полчаса. И за эти полчаса, что я просидел в кафе, предоставленный себе, и смотрел по сторонам, я, благодаря пресловутой глобализации, отдохнул от роли иностранца, потому что понимал, *что* происходит вокруг меня. Вот молодожены обзаводятся домашней утварью. Вот муж за сорок с пузом навыкате мудрствует на мелководье, а жена почтительно внемлет — во всяком случае, делает вид. А вот пятилетний шантажист готов побыть еще четверть часа пай-мальчиком за порцию мороженого и т. п.

Статус гастролера с неизбежностью вводит в заблуждение. Индустрия туризма вовлекает в свою сферу огромное число людей, напрямую не занятых в обслуживании, но живущих за счет оправдания туристических представлений и ожиданий — косящих под экзотику. Очень понятно: если у одних появилась возможность платить за "воздух", другим не может не прийти в голову сделать своей профессией воссоздание и поддержание экзотической атмосферы. Поэтому, вполне вероятно, турист видит не столько страну, сколько более или менее слаженную работу туристической отрасли. И выбраться из-под этого стеклянного колпака непросто, хотя бы потому, что твоя инородность видна за версту.

Вот к примеру. Когда подошло время покупать подарки в Москву, я все не мог втолковать нашему постоянному гиду Аниссу, человеку знающему, благовоспитанному и разумному, что мне категорически не надо пышной джеллабы[1] из сувенирного магазина: она мне не по вкусу и не по карману, пусть покажет мне обычную лавку, где одеваются местные. Наконец, он ответил мне, как малому дитяти, что дело вовсе не в торговой точке — само появление туриста тотчас и вполне определенным образом отражается на стоимости. Только и всего. (Можно было и своим умом дойти. Когда я как-то вышел у нас в Тучкове посреди строительного рынка из чужого "ягуара", цены на шурупы, за которыми я приехал, тотчас взмыли.)

Туризм — легкая пожива для высокомерия, и высокомерие будет неправо. В культуре мы сплошь и рядом довольствуемся сведениями из вторых рук — взять хоть тот же перевод, особенно поэтический, который одновременно дает

1. Джеллаба — традиционная берберская одежда, представляющая собой длинный, с остроконечным капюшоном свободный халат с широкими рукавами.

представление и уводит в сторону. Так и здесь.

С поправкой на огромный коэффициент неосведомленности, решусь все-таки сказать, что Марокко в общественно климатическом, что ли, смысле показалась мне вполне симпатичной страной. Уж у нас-то, с нашим советским прошлым, должно быть изощренное чутье на хронический страх, неволю, общее несчастье, даже если их старательно скрывают. Я помянул физическое сходство запахов на атлантическом побережье Марокко и на Кубе. В социальном смысле пахнет совершенно по-другому.

Один лишь раз телевизионная картинка и звукоряд в придорожном кафе показались мне до тошноты знакомыми — рваный монтаж: станок, печатающий доллары, магендовид, Уолл-стрит и его воротилы, какие-то зловещие люди в пейсах и черных шляпах и т. п.

— И много у вас такого? — спросил я опасливо Анисса.

— Это не у нас, — сказал он. — Это "Аль-Джазира".

Что еще? Да все что угодно. Как, например, с полчаса стояли высоко над Фесом в ожидании краткого величественного многоголосья с сорока сороков минаретов, призывающих на вечернюю молитву. Но так ничего и не расслышали, кроме тихого шума, источаемого большим городом далеко внизу. Видимо, мы прислушивались к Фесу с подветренной стороны.

А в Эссуейре я, хоть убей, не мог отделаться от впечатления, что это не городишко, а стадо русских печек — такие эти домики все беленькие с синим, крепенькие и косенькие — кто во что горазд.

Вечером там же пошли через пляж к океану. Но ужасно мело прямо в лицо, так что не шли, а брели и метров через двести оставили эти попытки. Буквально на глазах поземка наметала косые гигантские сугробы песка, менялись очертания барханов, возникали новые гребни и впадины, все курилось. И стало понятно, как это бывает.

И все-таки: что остается от этих спазматических странствий? Почти что ни-че-го! Уже через год не отличу харисы от хариры[1], груду непроизносимых имен собственных забуду и подавно. Гид был прекрасный, да ученик из меня неважнецкий, и целый сонм цифр и фактов, влетев в одно ухо, как говорится, вылетел через другое. Зачем-то помню, что основатель Мекнеса Мулай Исмаил собственноручно зарезал 30 000 человек. Ай, молодца! Буду помнить деревья: араукарии, африканскую липу, целую рощу пробковых деревьев со снятой вкольцевую корой, исполинские кедры в окрестностях Ифрана. В нечто неразличимо-открыточное сольются великие мечети, но запомню один и тот же многократно повторяющийся навязчивый вид: голая сухая гора и на склоне — глинобит-

1. Похлебка, классическое блюдо национальной кухни.

ная красноватая лачуга под плоской кровлей и загоном для коз. И телеграфные столбы, идущие себе вкривь и вкось мимо за ближайший хребет. Потому что кто-то — отсюда родом, это снится ему всю жизнь, и у него учащается сердцебиение при возвращении в эту дыру из дальних краев, я и сам такой. Ну и, конечно же, как при всяком выпадении из уз обихода и быта, вблизи какой-нибудь стихии дает о себе знать самочувствие иголки в стогу. За свои же, как говорится, деньги. Совсем не бесполезное, надо думать.

Да, вот еще стойкая подробность ландшафта, немного трогательная, хотя и предосудительная с экологической точки зрения. Многие холмы, горы и лощины, которые за неделю мы объездили, поросли всякими кактусами и прочими колючими сорняками. И почти на каждой такой колючке, если рядом живут люди, трепещет на сильном ветру что-то синенькое: это унесенные ветром целлофановые пакеты, почему-то именно такого цвета.

Вообще очень ветрено. За день до отлета мы остановились на большой и хорошо оснащенной бензозаправке. Я взял в баре кофе, поставил стеклянные чашки на поднос и вышел наружу. Донести кофе до стола не удалось, и я решил, что чашки опрокинуло взмывшими на воздух бумажными салфетками, и повторил заказ. Нет, салфетки оказались ни при чем — та же история. Ну и ладно — хорошего понемножку. Было славно, спасибо!

Среди книг

с Верой Калмыковой

“Всё, что есть у меня, — мой язык”

Николай Мельников *О Набокове и прочем: Статьи, рецензии, публикации* / Николай Мельников. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 424 с.

Если бы я была читателем... То есть если бы я имела возможность читать свободно. Например, я хороший, уважающий себя врач, или продвинутый педагог, или инженер, осваивающий передовые технологии. И я, как любой рядовой Эйнштейн или там Боткин, точно знаю, что профессиональное вдохновение можно черпать из смежных, так сказать, областей человеческого знания. И вдобавок я люблю Набокова. Вот тогда я беру книгу Николая Мельникова “О Набокове и прочем”, кладу ее слева, а справа — собрание сочинений американо-русского классика и читаю. Каждый вечер после работы, и еще в выходные. И в отпуск с собой беру. Медленно, со вкусом, перелистываю знакомые страницы и возвращаюсь к тому-другому пассажу в статьях литературоведа.

Но я филолог, читатель профессиональный, и задача моя — написать рецензию на книгу статей, как понятно, о Набокове и прочем, точнее, прочих, иными словами, осуществить критику литературоведения, отразить отраженное. Что делать в данном случае не так легко, ибо книга уже получила вполне заслуженную комплиментарную прессу, а еще до всяких рецензий снабжена гиперкомплиментарным предисловием Виссариона Ерофеева, также вполне заслуженным. Что мне в этой ситуации делать? Пятна на солнце искать? А если я не хочу?!

Не хочу и не буду. Лучше забуду про свой профессионализм и поделюсь с читателем — доктором, технарем, педагогом — нескрываемым восторгом по поводу прочитанного. Во-первых, потому, что литературоведение это — увлекательно, вероятно, в лучших традициях советской, как ни крути, школы, допостмодернистской, конечно же, ибо последнюю читать “ради удовольствия”... не знаю, не у всех получается. Но и потому еще, что Мельников сделал, и делает, и в дальнейшем, видимо, продолжит, для Набокова то, что даст Бог каждому писателю: он его *понял*. Он сумел сделать так, чтобы этот, по сути дела, эстетствующий сундук с семьюдесятью

семью замками, литературная личность в футляре, загадочный сокрыватель собственной человеческой сущности, открылся для читателя в самых потаенных своих проявлениях. Возможно, перед нами начинает показываться верхушка айсберга под названием "Истинная жизнь Владимира Набокова"; не скажу, будто никто не пытался. Но твердо знаю: до такой степени приближения не дошел никто.

В самом деле, поговорим — с места, как говорится, в карьер — об "Аде". Вот что писал Виссарион Ерофеев: "'Ада' — один из самых антиэротичных, если вообще не фригидных, романов Владимира Набокова: темпераментные соития гиперсексуальных Вана и Ады описываются им с холодным мастерством ученого-энтомолога, наблюдающего за совокуплением двух редкостных особей. Любви — в ее возвышенном понимании как бескорыстной самоотдачи и душевного родства — в 'Аде' нет и в помине. Да и какая может быть душа у плоских картонных марионеток, дергающихся по указке всесильного кукловода, то и дело напоминающего читателю об условности, нереальности происходящего?

Автор 'Ады' забыл или сознательно пренебрег основным правилом искусства: холодно отстраняясь от своих персонажей, всячески подчеркивая вымышленный статус описываемых событий, писатель не должен чрезмерно увлекаться. Полноценная игра требует серьезного, доверительного к себе отношения. Магия любой игры ведь в том и заключается, что мы бескорыстно, самозабвенно погружаемся в нее, прекрасно понимая: мы ИГРАЕМ. И только при этом условии мы получаем ни с чем не сравнимое наслаждение от волшебного самообмана игры. Этому же правилу должен следовать и писатель. Он обязан искренне верить в то, что послушные ему марионетки — живые люди, наделенные плотью и кровью, что все, о чем он рассказывает читателю, происходило на самом деле. Более того, он должен заразить этой верой и читателя. Без этого нет и не может быть литературы. Иначе выходит бездушный отлакированный уродец, рассудочная схема, а не трепетное, вечно живое чудо творческой фантазии и человеческого духа. Набоков же <...>, уподобляясь старшему братцу Николеньки Иртеньева (вспомним соответствующие главы из 'Детства'), ведет себя как 'взрослый', у которого 'слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне насладиться игрою', который не верит в нее и поэтому развязно дурачится, скрывая скуку и внутреннюю опустошенность". (Похороны Цезаря. Одноактное хулиганство с прологом и эпилогом // Волшебная гора, 1997, № 6, с. 407—408.)

А теперь послушаем-ка Николая Мельникова. "'Ада' — это своего рода эпохальное произведение: одна из "первых ласточек" постмодернизма, с его стремлением к жанрово-стилевому эклектизму и установкой на ироничную игру с топосами предшествующих литературных направлений. <...> 'Ада' действительно напо-

минает многослойный постмодернистский пирог, если хотите – волшебный сундучок (sic!) фокусника с двойным дном, где под упаковкой скандально-эротического сюжета можно обнаружить не только виртуозное владение литературной техникой, но и философские медитации о природе времени (в духе Анри Бергсона), и энциклопедизм, который по плечу лишь идеальному, в жизни едва ли существующему знатоку литературы, живописи, философии, истории, ботаники, энтомологии и проч. 'Ада' – это уникальный роман-протей, не вписывающийся в традиционные жанрово-тематические классификации, – грандиозный роман-музей, в котором каталогизированы, прокомментированы и пародийно обыграны образцы едва ли не всех литературных направлений, жанров и поджанров. <...> 'Ада' – роман, обремененный чудовищно тяжелым грузом 'литературной памяти': все его герои имеют не по одному литературному и окололитературному прототипу".

Ощущение, будто сказано о разных произведениях, не так ли?

Собственно, мы присутствуем при рецидиве старого, чуть ли не Зинаидой Гиппиус начатого, спора о методе Владимира Набокова и о ценности его творчества для читателей. И только от нашего характера и душевного склада зависит, какую позицию мы займем: как и любой экзистенциальный выбор, она не может вдруг да и оказаться доказуемой. Чего мы хотим от писателя? Если исповедальности, исследования тончайших душевных движений, предельной открытости, погруженности в психологию личности, изучения потаенных глубинных причин и мотивов поступков, словом, литературы как метода или способа познания нас самих – то за всем этим не к Набокову. Есть тьма уважаемых искусников, он не из их числа. Если же нас привлекает эстетизм, максимально стремящийся преодолеть влияние жизни, игра в бисер в виде настолько чистом, насколько возможно (а до конца невозможно, ибо мы все, и проникновенные психологи, и поверхностные эстеты, думаем и говорим *на языке*), уход в область, где ничто обыденное не имеет значения, – тогда мы явились по адресу: щелкает замок, книга открывается, мы уже внутри. От чего мы хотим двигаться: от природы человека – или от культуры, самим человеком ведь и созданной? И кто, собственно, сказал, что наша *истинная* жизнь заключается в бесконечном поиске человеческих, слишком человеческих решений? Не оттого ли мы так часто несчастны, что в своей жажде исповеди, как Мармеладов (держим в уме, что Набоков Достоевского ненавидел всеми фибрами души), слишком замкнуты на себе?..

Лишена эго-направленности проза Набокова, проза Валерии Нарбиковой, проза (да и поэзия) Виктора Сосноры. Что же, плохи они?.. Разве?

Набоков занят жизнью того, чем, наверное, и *по-человечески* дорожил более всего, – *слова и словесности.* Литература в целом и ее прекрасные слагаемые, жанр, метафора, грани эпитета et cetera, на его вкус, –

самостоятельные создания со своим внутренним наполнением и смыслом; сочетание слов для него сюжет, столкновение запятой и союза – повод для рефлексии. Ничего с этим не поделаешь.

И при этом надо обязательно помнить: Набоков – автор одного из самых пронзительных, откровенных и, о да, тысячу раз да, исповедальных стихотворений в русской лирике. Напомню несколько катренов:

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни
затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
<...>

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не
сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя,
искалечить,
не касаться любимейших
книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, – мой
язык.

И Мельников, причем очень тактично, если не сказать *ласково*, прослеживает динамику набоковской литературной личности, реконструирует ее путешествие по глубинам выходящих из *языкового несбывшегося* образов и ее отчаянное противостояние иному литературному лагерю, безусловно, достойному. Хотя мало кто, увы, сегодня читает Георгия Адамовича или даже Георгия Иванова, тех самых "Жоржиков" или "Жоржей", которые "до последней капли чернил" воевали с Набоковым. Хотя, конечно, "Распад атома" – книга такая же эстетская, как, например, "Египетская марка" Мандельштама. Мельников не боится вывернуть набоковский эстетизм наизнанку и заглянуть туда, где швы, и там обнаруживает тончайшую автопародию – в фигуре Германа Карловича, героя "Отчаяния". Незаметную, если не знать всего корпуса набоковских произведений. И одновременно решает задачу иную: "найти те нити, которые связывают его творения с 'живой жизнью', выявить жизненные прообразы персонажей, определить реальные события, положенные в основу сюжета. <...> Нет, не из одной исследовательской дотошности... но для того, чтобы лучше понять, как, по каким законам, создавался 'выдуманный' мир литературного произведения, что повлияло на замысел писателя, во имя чего преображалась пресловутая 'грубая реальность' его всесильным творческим воображением".

Но я, кажется, увлеклась и веду себя недобросовестно. О мельниковском Набокове можно говорить очень долго, и удовольствие будет "длиться, длиться и длиться"; не стоит меж тем упускать, что книга состоит из двух частей, а часть вторая тоже разбита на два отдела. Первый посвящен "набоковедам и набокоедам", второй – творчеству зарубежных писателей. Исследователей Набокова Мельников не жалеет: "На Западе... дело поставлено на широкую ногу. Как предмет

литературоведческого изучения и теоретической рефлексии, казалось бы, неисчерпаемое и необъятное творчество Набокова все больше становится похожим на намертво вытоптанный выгон для крупного рогатого скота, где не встретишь уже и живой былинки". В России "'набокоеды' и 'набоковианцы' успешно догоняют и перегоняют своих западных коллег по выпуску литературоведческих штудий на душу населения. Однако, вопреки законам гегелевской диалектики, количество пока не переходит в качество, и по своему уровню многие набоковедческие опусы российского производства находятся, как сказал бы Владислав Ходасевич, 'ниже' нуля'. Большинство из них либо откровенно вторичны... либо совершенно нечитабельны, поскольку призваны выполнить одну задачу: загнать многогранную и противоречивую творческую индивидуальность писателя в прокрустово ложе той или иной теоретико-литературной концепции".

Господа, но ведь это проблема. Касающаяся, разумеется, не одного набоковедения. Если большинство из того, что мы создаем как профессионалы, вторично или нечитаемо, то ведь мы рискуем, и серьезно. На наш век, возможно, и хватит доверчивых издателей, готовых вкладывать средства в наши опусы, и старой закалки любителей "книг о книгах", готовых предоставлять им место в своих домах; а дальше? Что будет с нашей областью? Или нам... все равно?

Цитировать изящные пассажи Мельникова, выступающего в роли критика литературоведов, — профанация; если свои собственные исследования он строит, отражая метод Набокова, детективно-увлекательно, то каковы его инвективы, в каждой из которых кроется свой сюжет!.. Скажу лишь несколько слов о втором отделе. Героями очерков и статей Мельникова стали Ивлин Во, Вирджиния Вулф, Энтони Бёрджес, Джон Апдайк и другие английские, англоязычные — и не только — писатели. Некоторые работы написаны в жанре прогулок: "Прогулки с Мартином Эмисом", "Прогулки с динозавром французской словесности" (имеется в виду Ален Роб-Грийе). Во всех сочинениях замечательна не блистательная критико-литературоведческая (здесь обе линии сходятся, поскольку ряд работ написаны как рецензии) методология, а то, что Мельников оценивает сочинения зарубежных писателей ровно настолько, насколько их стоит — или не стоит — читать, без даже намека на частенько встречающееся и поныне *преклонение перед иностранным*. На неудачные произведения автор смотрит без натужного пиетета, несколько свысока, как, собственно, они того и заслуживают; но ведь главное и в литературоведении, и в критике — сохранять и культивировать высокое достоинство читателя, не желающего питаться продуктами, в духовную пищу не пригодными.

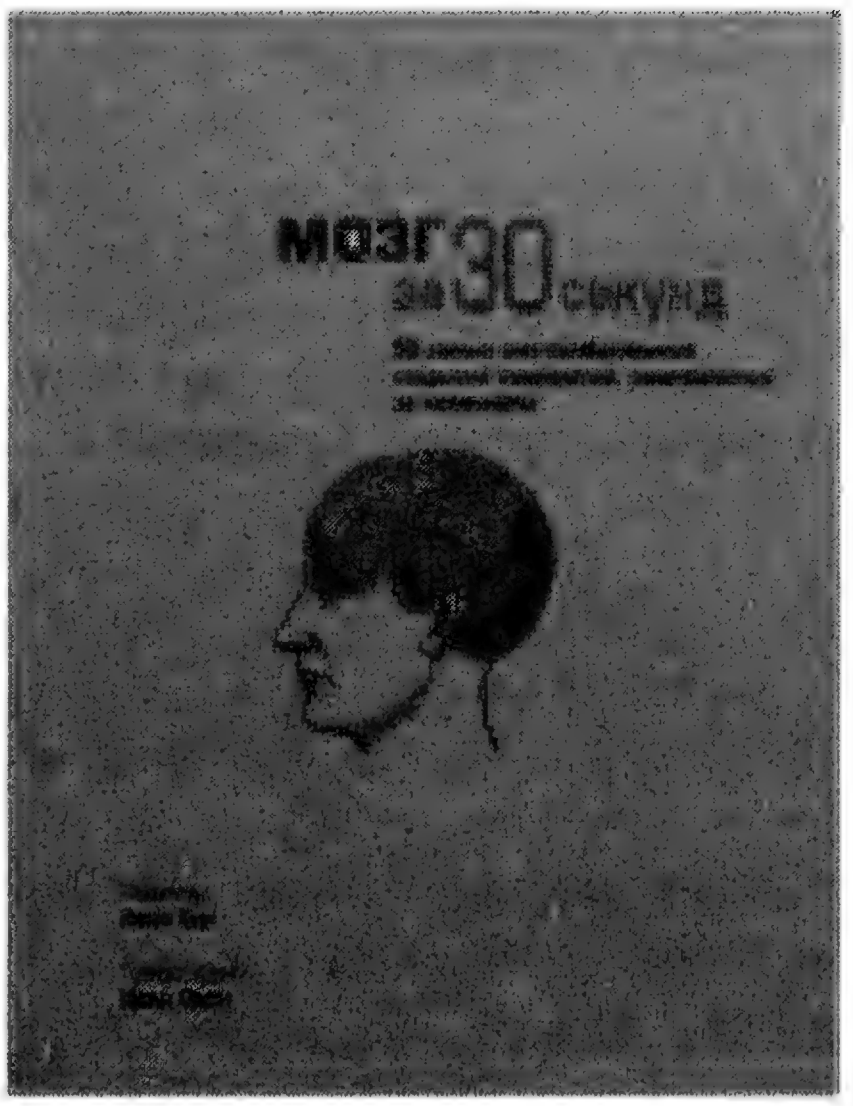
Потому что иначе, господа, зачем это все?

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

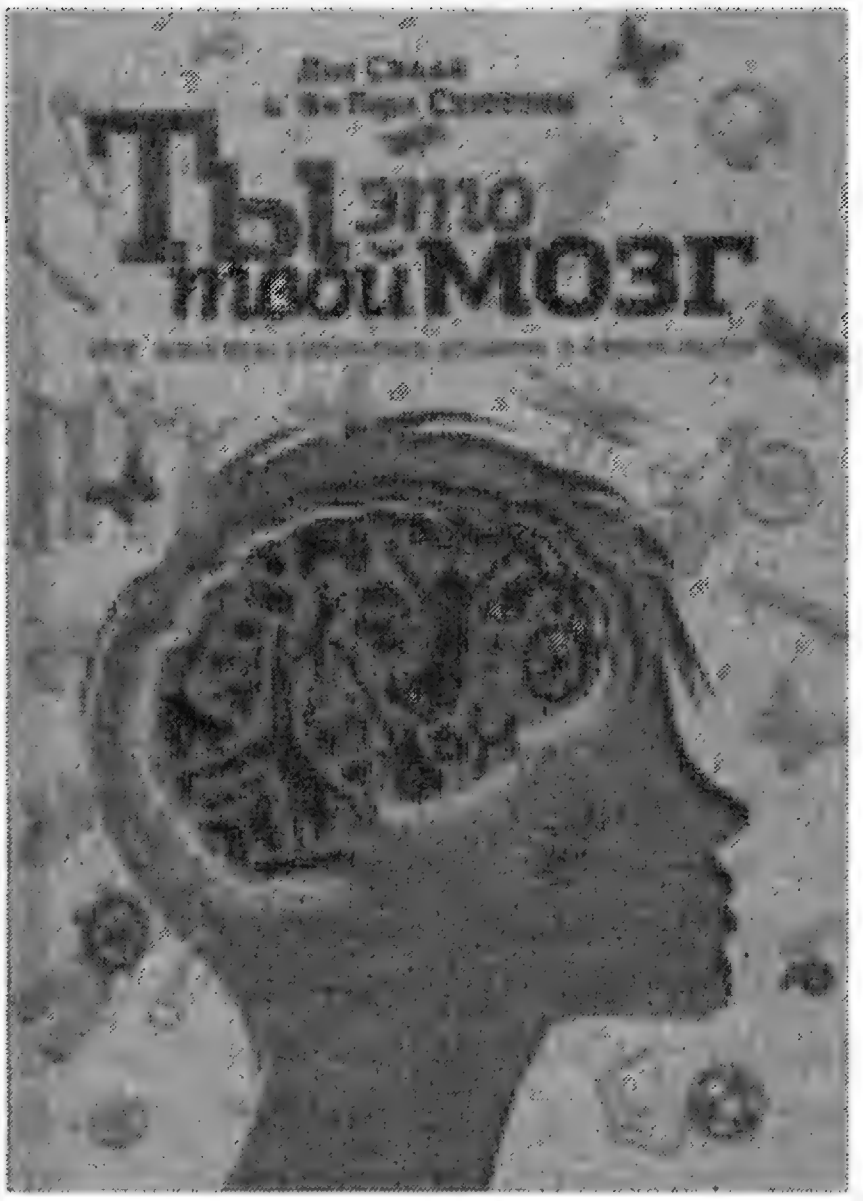
Как говорил в фильме “Формула любви” персонаж Леонида Броневого, доктор: “Голова — предмет тёмный и исследованию не подлежит”. Поставив под сомнение данную “формулу”, сразу три издательства выпустили за последний год несколько переводных книг, посвященных исследованию этого самого “темного предмета”, а точнее, его содержимого — мозга.

Московский “РИПОЛ классик” выпустил нечто вроде краткого энциклопедического дайджеста: *Мозг за 30 секунд* (пер. с англ. **Ю. Капустюк**; под ред. **Анил Сет**. — М., 2015. — 160 с.). У этого небольшого по объему, но богато иллюстрированного издания, снабженного подзаголовком “50 самых сногсшибательных открытий неврологии, рассказанных за полминуты”, целых восемь авторов — нейробиологов из университетов Суссекса, Кембриджа и Лондона. Книга разбита на семь глав: “Строение мозга”, “Теории о мозге”, “Картирование мозга”, “Сознание”, “Восприятие и действие”, “Познания и эмоции” и “Изменения в мозге”. Каждая из глав включает в себя несколько разделов, посвященных отдельным открытиям, — причем каждому из них посвящен строго один книжный разворот. Авторы советуют: “Читайте эту книгу так, как вам нравится. Переходите от главы к главе или открывайте ее на любой странице”. И действительно, структуру книги можно уподобить структуре исследуемого объекта — мозга, где между множеством отдельных фрагментов (нейронов) в процессе чтения можно устанавливать многочисленные разветвленные связи (для совокупности которых у нейробиологов имеется особый термин — “коннектом”). А прекрасная полиграфия и нестандартный формат приближает это издание по жанру к качественному художественному альбому.



Вот еще одна книга, в которой предельно сложная информация излагается предельно

просто: *Ты это твой мозг: Все, что ты хочешь узнать о своем мозге* голландцев **Дика Свааба** и **Яна Паула Схюттена** (пер. с нидерл. **Д. В. Сильверстова**. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 280 с.). Достигнуто

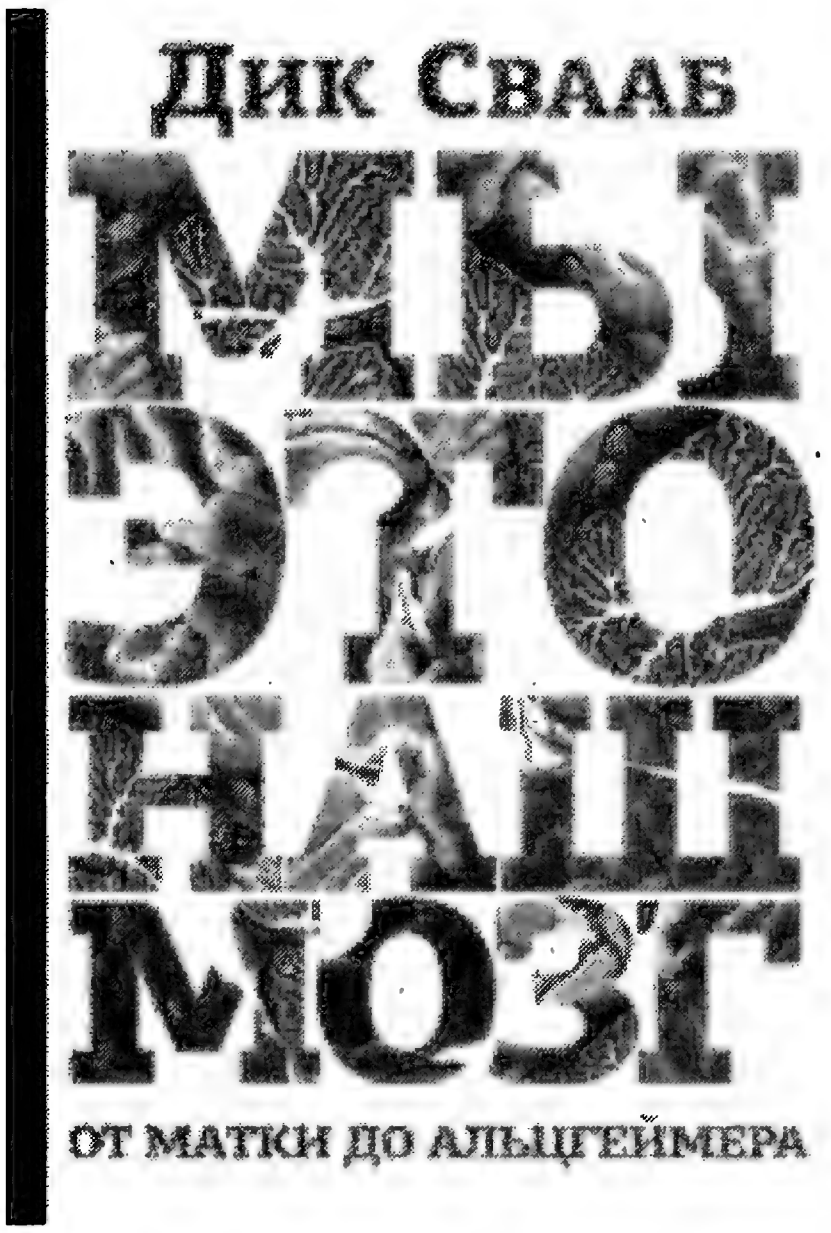


это благодаря успешному соавторству: собственно нейробиологом является первый из авторов, а второй — популяризатор науки, пишущий для детей и подростков. Нетривиален жанр книги: здесь имитируется сетевая переписка двух подростков (брата и сестры) с ученым, который на доступном языке пытается ответить на интересующие их вопросы: “Наш мозг”, “Наша память”, “Мозг подростка”, “Мозг младенца”, “Религиозный мозг”, “Зависимый мозг”, “Супермозг”... Главный тезис, который авторы подробно иллюстрируют конкретными примерами, — практически все особенности нашего поведения, нашего характера и вообще нашей личности имеют вполне определенную материальную основу, то есть обусловлены они генетической программой, а реализуются при помощи биологических и химических процессов. Так, например, нетрадиционная сексуальная ориентация не является отклонением от нормы или болезнью — и данной теме посвящены целых две главы: не только “Парни и девушки”, но и “Девушки и девушки (и парни и парни)”. Это, конечно, не значит, что у человека нет свободы выбора, но реальная свобода возможна только в рамках изначально (еще до появления на свет) заданной программы; и крайне важную роль, кроме того, играет функционирование в организме нескольких базовых гормонов.

Впрочем, нейробиологи в последнее время приходят к выводу, что со свободой выбора (и вообще со свободой воли) многое далеко не до конца ясно. Интересующимся данной проблемой наверняка знакомы работы (или хотя бы популярные лекции) российского ученого Татьяны Черниговской, акцентирующей внимание на необходимости различения понятий “сознание” и “мозг”. Тонкие нейробиологические эксперименты, в которых измерялась специфика реакции человека на разного рода раздражители, показали, что, перед тем как мы делаем какой-либо сознательный выбор, этот выбор уже (на неуловимо малый отрезок времени раньше) происходит на некоем ином уровне, уровне взаимодействия нейронов при помощи химических нейромедиаторов. Упрощая, можно сказать, что сначала решение при-

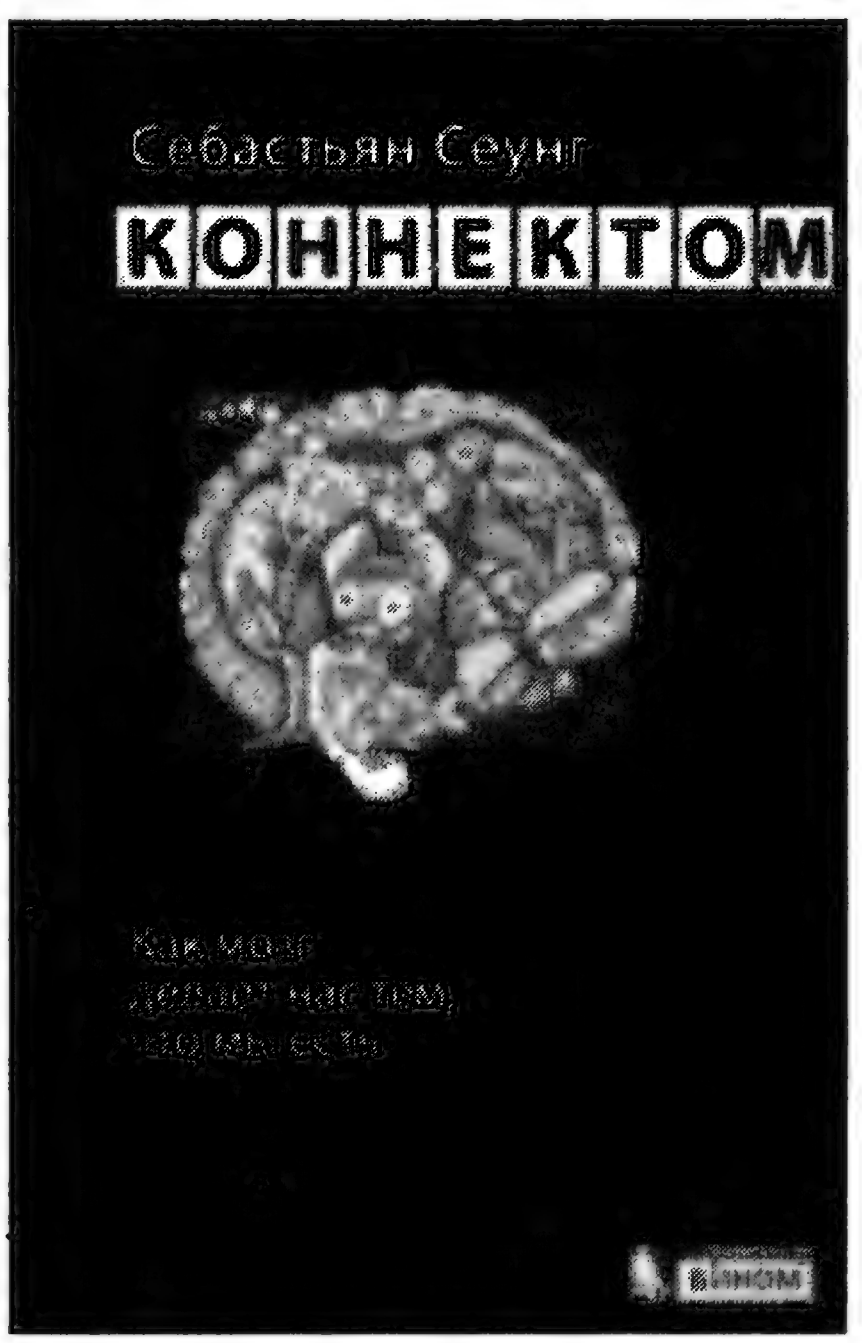
нимает наш мозг (без участия сознания), и только затем мы данное решение "осознаем" как свое — то есть как продукт деятельности именно нашей личности. И в данном раскладе "мозг" оказывается как бы главнее "сознания": он не только принимает решения, но и создает у человека иллюзию, что решения тот принимает сам.

"Свободная воля — приятная иллюзия" — именно так оза-



главлена одна из глав другой книги **Дика Свааба**, написанной уже для взрослого читателя: *Мы – это наш мозг: От матки до Альцгеймера* (пер. с нидерл. **Д. В. Сильвестрова**. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. — 544 с.). А один из разделов этой главы носит показательное название "Мозг как бессознательный гигантский компьютер". В Нидерландах книга стала научным бестселлером — с 2010 года было продано более трехсот тысяч экземпляров. И она действительно того стоит — и по уровню изложения и по необычайно широкому тематическому охвату: здесь и наблюдения за спецификой формирования мозга у плода во время беременности, и психические аномалии (агрессия, аутизм, шизофрения...), и связь мозга с такими разными сферами человеческой культуры, как мораль, религия и спорт.

И, наконец, еще одна книга вышла в издательстве "БИНОМ. Лаборатория знаний"; написал ее профессор компьютерной нейробиологии Массачусетского технологического института **Себастьян Сеунг**, а называется она *Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть* (пер. с англ. **А. Капанадзе**. — М., 2015. — 440 с. — Серия Universum). Все вошедшие в этот



обзор книги — научно-популярные, но у Сеунга "градус научно-

сти" (не содержательно, а стилистически прежде всего) несколько выше, чем у других. Предметом исследования является здесь уже упоминавшийся выше "коннектом", понимаемый как сложный динамический комплекс всех связей между нейронами мозга (вводятся новые термины: коннекционизм и коннектомика — как отдельная научная дисциплина по изучению "коннектома"). И несмотря на академическую стилистику, читать эту книгу невероятно увлекательно: чего стоит хотя бы завершающая часть, "По ту сторону человеческой природы", в которой обсуждаются перспективы посмертного сохранения мозга для его возможного (в далеком будущем) "перезапуска": две ее главы называются "Морозить или мариновать?" и "Сохранить как..." (по аналогии с компьютерной опцией сохранения файлов).

Все авторы приходят к выводу, что для поддержания мозга в хорошей форме лучше всего нагружать его интеллектуальной активностью; и чтение книг, предметом которых является своего рода "метасамопознание", можно считать одним из самых подходящих для этого инструментов.

Мюриэл Спарк
Muriel Spark
[1918–2006]. Английская писательница и литературовед. Кавалер ордена Британской империи [1993].

Автор романов *Memento mori* [1959; рус. перев. 1999], *Девушки со скромными средствами* [*The Girls of Slender Means*, 1963; рус. перев. 2004], *Теплица на берегу Ист-Ривер* [*The Hothouse by the East River*, 1973], *Территориальные права* [*Territorial Rights*, 1979], *Далекое эхо Кенсингтона* [*A Far Cry from Kensington*, 1988], *Реальность и мечты* [*Reality and Dreams*, 1996] и др., монографий *Джон Мейсфильд* [*John Masefield*, 1953]; *Эмили Бронте, ее жизнь и творчество* [*Emily Bronte, Her Life and Work*, 1953], *Мэри Шелли, биография* [*Mary Shelley, A Biography*, 1987; рус. перев. 1991], повестей *Птичка-Уходи* [*Go-Away Bird*, 1958; рус. перев. 1994], *На публику* [*Voices at Play*, 1961; рус. перев. 1971], сборников *Избранные рассказы* [*Collected Stories*, 1968], *Рассказы Мюриэл Спарк* [*The Stories of Muriel Spark*, 1987], поэтического сборника *Избранные стихотворения* [*Collected Poems*, 1967], пьесы *Доктора философии* [*Doctors of Philosophy*, 1963] и др. В *ИЛ* публиковались ее романы *Мисс Джин Броди в расцвете лет* [1980, № 7], *Пир* [2005, № 12], *Не беспокоить* [2008, № 9], автобиографические заметки *Curriculum vitae* [2007, № 4].
Перевод романа выполнен по изданию *Утешители* [*The Comforters*. Penguin Classics, 1964].

Лео Липский
Leo Lipski
[1917–1997]. Польский писатель. По окончании Второй мировой войны жил в Израиле. Лауреат премии издававшегося в Париже журнала польской эмиграции *Культура* [1955].

Автор романа *Неспокойные* [*Niespokojni*, 1952], сборников рассказов *День и ночь* [*Dzień i noc*, 1957], *Смерть и девушка* [*Śmierć i dziewczyna*, 1991], *Париж из золота* [*Paryż ze złota*, 2002]. На русском языке опубликованы рассказы *Ваади*, *Косуленок* [2013], *Смерть и девушка* [2014].
Микророман *Пётрусь (Апокриф)* [*Piotruś (Apokryf)*] публикуется по изданию [*Biblioteka "Kultury", t.* LV. Paryż: Instytut Literacki, 1960].

Владимир Борисович Окунь
[р. 1955]. Переводчик с английского и польского языков. Лауреат конкурса на лучший перевод поэзии прерафаэлитов, Ч. Милоша [2011], Т. Ружевича [2013].

Переведенные им стихотворения включены в сборники *Поэтический мир прерафаэлитов* [А.Теннисон, Д. Г. Россетти, К. Россетти, У. Моррис, А. Ч. Суинберн, Э. Даусон], *Милош по-русски.* В его переводах опубликованы рассказы польских писателей Л. Липского, А. Стасюка, А. Титкова, проза Е. Стемповского, Ю. Виттлина. В *ИЛ* напечатаны его переводы стихов У. Морриса [2013, № 5], Т. Ружевича [2014, № 6], Р. Брука [2014, № 8], А. Пивковской и Г. Вятковского [2015, № 6].

Ингмар Хэйтце
Ingmar Heytze
[р. 1970]. Нидерландский поэт. Обладатель престижного приза имени писателя Корнелиуса К. С. Кроуна [2008].

Автор сборников стихов *И только мой кот аплодирует мне* [*Alleen mijn kat applaudisseer*, 1989], *Том, кто всего боится* [*De allesvreze*r, 1997], *Пошатываясь, встаю* [*Sta op en wankel*, 1999], *Невесте* [*Aan de bruid*, 2000], *Стихи об Утрехте* [*Utrechtse gedichten*, 2001], *Речь шла о розах* [*Het ging over rozen*, 2002], *Ницше пишет последнее стихотворение* [*Nietzsche schrijft een laatste vers*, 2004], *Двойная бухгалтерия* [*Schaduwboekhouding*, 2005], *Самое лучшее и все остальное* [*Het beste en de rest*, 2006], *Где-то в мире...* [*Elders in de wereld*, 2008], *Утрехт для начинающих* [*Utrecht voor beginners*, 2009], *Утрехт для продвинутых* [*Utrecht voor gevorderden*, 2011], *Дыхание под луной* [*Ademhalen onder de maan*, 2012], *Человек, покончивший с существованием* [*De man die ophield te bestaan*, 2015].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Всего хорошего* [*Alle goeds*. Amsterdam: Podium, 2001].

Елена Данченко
[наст. имя Елена Михайловна Плетнева]
Поэт, журналист, переводчик, член Союза писателей Москвы. Живет в Нидерландах. Лауреат нескольких конкурсов, в том числе за цикл стихов *Где бы ты ни был* на Одесском конкурсе имени Дюка Ришелье [2014].

Автор сборников стихов *Стихи* [1995], *Этот случай называется судьба* [1998], *Жаркий ливень* [2002], *Где бы ты ни был* [2002 и 2013], *Неизбранное* [2015].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Наталия Геннадиевна Васильева
Переводчик с венгерского и немецкого языков. Лауреат премии *Иностранка* [2009].

В ее переводе с венгерского публиковались новеллы М. Бабича, Й. Е. Тершанского, с немецкого — новеллы Э. Кестнера, А. Мушга, *Сказка о Рейне и мельнике Бегколёсе* К. Брентано и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. Леттау, Х. Блуменберга, К. И. Тиса [1994, № 9], Г. Фрайтага [2002, № 7], Л. Квилт [2013, № 4], эссе Г. Гессе [2004, № 10], пьесы *Долой Гёте! Объяснение в любви* [2009, № 8] и стихов Х. М. Энценсбергера [2010, № 9], фрагментов книги В. Фульда *Энциклопедия фальсификаций* [2013, № 4], обзорные статьи, представляющие мюнхенский литературный журнал *Акценты* и австрийский журнал *Манускрипты* и др.

Ханс Магнус Энценсбергер
Hans Magnus Enzensberger
[р. 1929]. Немецкий поэт, эссеист, переводчик. Лауреат немецких и международных пре-

Автор многих сборников стихов, книг эссе, пьес, романа *Короткое лето анархии* [*Kurze Sommer der Anarchie*, 1972], поэмы *Гибель "Титаника". Комедия* [*Der Untergang der Titanic. Eine Komödie*, 1978], а также книг *Хаммерштайн, или Своеволие. Немецкая история* [*Hammerstein oder der Eigensinn. Eine deutsche Geschichte*, 2008], *Смута* [*Tumult*, 2014] и др.
В *ИЛ* печатались его стихи [1960, № 10; 2003,

мий, в том числе премии Бюхнера [1963], датской премии Зоннинга за вклад в европейскую цивилизацию [2010].

№ 9; 2004, № 11; 2010, № 4], эссе [1994, № 9; 1995, № 6; 1997, № 9; 2010, № 9], пьесы *Племянник Вальтера* [1998, № 7], *Долой Гёте! Объяснение в любви* [2009, № 8], интервью [2010, № 9].
Публикуемые главы взяты из книги *Наш ласковый монстр Брюссель, или Установление опеки над Европой* [*Sanftes Monster Brüssel oder Die Entmündigung Europas*. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011], эссе *Что такое стихи?* печатается по изданию *О литературе* [*Über Literatur*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2009].

Петер Слотердайк
Peter Sloterdijk
[р. 1947]. Немецкий философ, культуролог, эссеист. Лауреат национальных и международных премий, в том числе премии Людвига Бёрне [2013].

Автор многих книг, среди них *Критика цинического разума* [*Kritik der zynischen Vernunft*, 1983; рус. перев. 2001], *Сферы* [*Sphären I*, 1998, *Sphären II*, 1999. *Sphären III*, 2004; рус. перев. 2005–2010], *Гнев и время. Политико-психологический опус* [*Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch*, 2006], *Эстетический императив* [*Der ästhetische Imperativ*, 2007], *Измени жизнь твою* [*Du mußt dein Leben ändern*, 2009], *Жуткие дети Нового времени* [*Die schreckliche Kinder der Neuzeit*, 2014].
Эссе *Сколь безмерна безмерность Земли?* [*Wie groß ist "groß"?*] печатается по изданию *У космического корабля "Земля" нет аварийного выхода* [*Das Raumschiff Erde hat keinen Notausgang*. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011].

Маркус Мец
Markus Metz
[р. 1958]
и
Георг Зеслен
Georg Seeßlen
[р. 1948]. Немецкие публицисты.

Авторы книг *Капитализм как спектакль* [*Kapitalismus als Spektakel*, 2012], *Искусство пожирает деньги – деньги пожирают искусство. Памфлет* [*Geld frisst Kunst – Kunst frisst Geld. Ein Pamphlet*, 2014] и др.
Публикуемая глава взята из книги *Машины оболванивания. Массовое производство идиотизма* [*Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität*. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011].

Ханс-Ульрих Трайхель
Hans-Ulrich Treichel
[р. 1952]. Немецкий писатель, эссеист. Лауреат многих литературных премий, в частности премии Германа Гессе [2005].

Автор сборников стихов, эссе, романов *Блудный сын* [*Der Verlorene*, 1998; рус. перев. 2005], *Тристанаккорд* [*Tristanakkord*, 2000; рус. перев. 2002] и др.
В *ИЛ* публиковался его рассказ *О половой жизни туземцев* [2004, № 11].
Эссе *Бездетность* и *Далекое настоящее музыки* [*Kinderlosigkeit* и *Die ferne Gegenwart der Musik*] взяты из книги *Скала, на которой я повис* [*Der Felsen, an dem ich hänge*. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2005].

Мартин Вальзер
Martin Walser
[р. 1927]. Немецкий писатель и драматург. Лауреат премии Георга

Автор книг *Браки в Филиппсбурге* [*Ehen in Phillipsburg*, 1957; рус. перев. 2004], *Первый тайм* [*Halbzeit*, 1960], *Биография любви* [*Der Lebenslauf der Liebe*, 2001; рус. перев. 2007]. В *ИЛ* публиковалась его пьеса *Дуб и кролик* [1974, № 2] и др.

Бюхнера [1981], премии мира немецких книготорговцев [1998], *Алеманнской литературной премии* [2002] и др.

Публикуемое эссе печатается по изданию *Управление пустоты* [*Die Verwaltung des Nichts.* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2004].

Луц Зайлер
Lutz Seiler
[р. 1963]. Немецкий писатель, поэт. Лауреат нескольких литературных премий, в частности премии Ингеборг Бахман [2007], *Немецкой литературной премии* [2014].

Автор сборников стихов, в том числе *Сорок километров ночи* [*Vierzig Kilometer Nacht*, 2003], и сборников рассказов *Турксиб* [*Turksib*, 2008], *Весы времени* [*Die Zeitwaage*, 2009], романа *Крузо* [*Kruso*, 2014]. В *ИЛ* публиковались его стихи [2004 № 11].
Публикуемое эссе печатается по изданию *По воскресеньям я думал о Боге* [*Sonntags dachte ich an Gott.* Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004].

Пелем Гренвил Вудхауз
Pelham Grenville Wodehouse
[1881–1975]. Англо-американский писатель-юморист.

Автор многочисленных романов, рассказов, мюзиклов и пьес, создатель циклов о Дживсе и Вустере, лорде Эмсворте, журналисте Псмите и других. Его произведения многократно выходили в русских переводах, в частности, многотомное собрание его сочинений, осуществленное издательством *Остожье* [1995–2008].
В *ИЛ* опубликован *Литературный гид: Дело Вудхауза*, куда вошли его рассказы [2012, № 12].

Сергей Маркович Гандлевский
[р. 1952]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий *Малый Букер* [1996], *Московский счет* [2009], национальной премии *Поэт* [2010] и др.

Автор книг стихов, эссе, прозы среди которых – книга стихов *Праздник* [1995], повесть *Трепанация черепа* [1996], избранное *Порядок слов* [2000], роман <*НРЗБ*> [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002], *Опыты в стихах* [2008] и др. Неоднократно публиковался в ИЛ.

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства *Русский импульс*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2011].

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008], принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Постоянно печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, в одесском альманахе *Дерибасовская–Ришельевская* и др. Постоянный ведущий рубрики *ИЛ Среди книг.*

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозрева-

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

тель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

Переводчики

Владимир Андреевич Скороденко
[р. 1937]. Критик, литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с английского.

Автор многих статей к изданиям на русском языке произведений британских, ирландских, американских, австралийских писателей. Составитель ряда антологий английской поэзии и английской новеллы. Переводил М. Спарк, А. Брукнер, С. Моэма, М. Р. Джеймса, Э. С. Гарднера, Р. Стаута и др. В *ИЛ* опубликованы его переводы романа К. Исигуро *Остаток дня* [1996, № 11], глав из книги *Джеймс, каким мы его знали* [2005, № 10], рассказ Ю. Маккейба *Сирота* [2009, № 12], а также напечатана рецензия на книгу *Лучших строк поводырь, проводник просвещения, лучший читатель!* [2007, № 10] и др.

Елена Юрьевна Калявина
Музыкант, филолог, переводчик с английского и польского языков. Победитель конкурса на лучший перевод стихов Т. Ружевича [2013]. Рассказы *Четыре затрещины* Ф. С. Фицджеральда и *Танец блаженных теней* Э. Манро в ее переводе дважды [2012 и 2013] входили в шорт-лист премии Норы Галь.

В ее переводах опубликованы романы Р. Кляйн, Э. Страут, Э. Уортон, К. Мак и Д. Кауфман, рассказы Ф. С. Фицджеральда, Э. Манро, впервые на русском языке опубликована поэма Дж. Керуака *Море* из романа *Биг Сур*, переводит стихи У. Блейка, Р. Л. Стивенсона, Э. Дикинсон, С. Тисдейл, П. Г. Вудхауза, Ф. С. Фицджеральда и др. с английского языка, Б. Лесьмяна, В. Шимборской, Т. Ружевича — с польского. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны стихи Т. Ружевича [совместно с А. Ситницким; 2014, № 6], Ф. С. Фицджеральда [2014, № 6], Р. Брука [2014, № 8] и эссе Г. Миллера [2015, № 5].

Татьяна Андреевна Зюликова
Переводчик с английского и немецкого языков. Участник школы перевода Владимира Баканова.

В ее переводе опубликованы романы *Мир, полный чудес* Б. Селзника [2014], *Мое простое счастье* Л. Дейв [2015], *До свидания, Рим* Н. Пелегрино [2015]. В *ИЛ* публикуется впервые.

[11] 2015

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР
“СЕРБИЯ И СЕРБЫ”

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. “Третьяковская”, “Новокузнецкая”);
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске “Москва” (ул. Арбат, д. 20);
в киоске “Лингвистика” (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине “Русское зарубежье” (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске “Книжные мастерские” (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине “Книжные мастерские” (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине “Все свободны” (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине “Мы” (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине “В переплете” (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.09.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1039.
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в ОАО “Можайский полиграфический комбинат”.
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.
Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

В оформлении обложки использован фрагмент картины французского художника Жана Кузена Старшего [1500–1589] *Похищение Европы* [1550]

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

denkmal, Москва

Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия

www.denkmal-moscow.com

14 - 16 октября 2015 г.

ВДНХ, павильон №75. Москва, Проспект Мира, 119

Основные разделы выставки:

- реставрация, консервация памятников истории и культуры;
- государственная и общественная деятельность по сохранению культурного наследия;
- материалы, оборудование, технологии и инструменты для реставрации, археологии, строительства;
- реставрация предметов искусства и дизайна;
- образование в сфере сохранения, реставрации и использования объектов культурного наследия;
- популяризация исторического и культурного наследия (издательская деятельность, музейная и выставочная техника и технология, пр.);
- развитие туризма.

Выставка «denkmal, Москва» проводится под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке и участии Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы.

Партнеры выставки:
ВООПИиК, Союз московских архитекторов, компания Remmers

Организаторы выставки «denkmal, Москва»:
Leipziger Messe International GmbH,
АНО «Национальная Гильдия Хранителей Наследия»

Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству.
Контакты: denkmalmoscow@gmail.com, +7 966 157 61 11
Дополнительная информация: http://www.denkmal-moscow.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

denkmal, Москва

Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия

www.denkmal-moscow.com

14 - 16 октября 2015 г.

ВДНХ, павильон №75. Москва, Проспект Мира, 119

Основные разделы выставки:

- реставрация, консервация памятников истории и культуры;
- государственная и общественная деятельность по сохранению культурного наследия;
- материалы, оборудование, технологии и инструменты для реставрации, археологии, строительства;
- реставрация предметов искусства и дизайна;
- образование в сфере сохранения, реставрации и использования объектов культурного наследия;
- популяризация исторического и культурного наследия (издательская деятельность, музейная и выставочная техника и технология, пр.);
- развитие туризма.

Выставка «denkmal, Москва» проводится под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке и участии Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы.

Партнеры выставки:
ВООПИиК, Союз московских архитекторов, компания Remmers

Организаторы выставки «denkmal, Москва»:
Leipziger Messe International GmbH,
АНО «Национальная Гильдия Хранителей Наследия»

Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству.
Контакты: denkmalmoscow@gmail.com, +7 966 157 61 11
Дополнительная информация: http://www.denkmal-moscow.ru

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 15010 9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2015, №10, 1–288